

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РАН
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ И СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ

Сборник научных трудов
под редакцией А. И. Миллера и Д. В. Ефременко



Нестор-История
Москва • Санкт-Петербург
2018

УДК 32.019.51
ББК 66.3

Институт научной информации по общественным наукам РАН

**Центр по изучению культурной памяти и символической политики
Европейского университета в Санкт-Петербурге**

В сборнике представлены предварительные результаты исследовательского проекта, реализуемого при финансовой поддержке Российского научного фонда в Институте научной информации по общественным наукам РАН (проект № 17-18-01589)

Методологические вопросы изучения политики памяти: Сб. научн. тр. / Отв. ред. Миллер А. И., Ефременко Д. В. — М.-СПб: Нестор-История, 2018. — 224 с.

ISBN 978-5-4469-1459-3

Анализируются вопросы теории и методологии исследования политики памяти как функционирующей системы взаимодействий и коммуникаций различных акторов относительно политического использования прошлого. Рассматриваются эволюция memory studies, проблематика и институциональное развитие этого научного направления.

Для научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

**УДК 32.019.51
ББК 66.3**

ISBN 978-5-4469-1459-3



© А. И. Миллер, Д. В. Ефременко, 2018
© Издательство «Нестор-История», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

- А. И. Миллер. Введение. Методологические проблемы изучения политики памяти —
решенные, нерешенные и неразрешимые 4

СТАТЬИ

- Ю. А. Сафронова. Memory studies: эволюция, проблематика и институциональное
развитие 11
- О. Ю. Малинова. Политика памяти как область символической политики 27
- Е. Ю. Мелешкина. Возможности качественного сравнительного анализа для иссле-
дования политики памяти и ее проявлений 54
- Е. И. Махотина. Нарративы музеелизации, политика воспоминания, память как шоу:
Новые направления memory studies в Германии 75
- А. В. Фелькер. «Непростое» наследие: проблематика мест памяти о массовом насилии
Западной и Восточной Европы 93
- Д. В. Ефременко. Историческая память и наднациональная идентичность. Случай
Европейского союза 110
- А. А. Воронович. Интернационалистский сепаратизм и историческая политика в не-
признанных республиках Приднестровья и Донбасса 127

ДИСКУССИИ И ОБЗОРЫ

- Столетний юбилей революций 1917 года и российская политика памяти. *Коммемора-
ции столетия революции в России: от памяти к политикам памяти* (Стенограмма
дискуссии) 144
- Политика памяти в России, странах ЕС и государствах постсоветского пространства:
типология, конфликтный потенциал, динамика трансформации* (Стенограмма
дискуссии) 167
- А. М. Понамарева. Политика памяти на страницах журнала Foreign Affairs: методо-
логические установки (Аналитический обзор) 196
- Сведения об авторах 222

А. И. Миллер

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ — РЕШЕННЫЕ, НЕРЕШЕННЫЕ И НЕРАЗРЕШИМЫЕ¹

Этот сборник подготовлен участниками проекта «Комплексное сравнительное исследование политики памяти в России и на международной арене: акторы, стратегии, инструментарий», которые занимаются изучением культурной памяти и политики памяти, используя политологические, социологические, антропологические, исторические подходы. Участники проекта имеют богатый опыт преподавания курсов по этой проблематике в ведущих университетах, включая ВШЭ, РАНХиГС, Шанинку, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центрально-Европейский университет в Будапеште, Боннский и Мюнхенский университеты в Германии. Задача этой книги, которая является одним из «промежуточных» продуктов нашей работы, состоит в том, что познакомить читателя с наиболее актуальными методологическими тенденциями и высказаться по важным вопросам в этой сфере исследований. Конечно, наш небольшой коллектив неизбежно избирателен в отношении тематики и не может предложить полной картины. Однако мы надеемся, что данный сборник будет интересен всем, кто занимается исследованиями в этой сфере. И, прежде всего, мы уверены, что сборник окажется полезен преподавателям и слушателям курсов по культурной памяти, политике памяти, символической политике. В 2019 г. в рамках нашего проекта и в сотрудничестве с недавно созданным Центром по изучению культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге мы подготовим большой коллективный сборник исследований, в котором будет уже участвовать широкий круг авторов и тематический охват которого будет намного шире.

Есть два общих места в рассуждениях об исследованиях культурной памяти и политики памяти. Во-первых, это подчеркивание междисциплинарного характера этих исследований. Во-вторых, это сожаление по поводу того, что подлинного методологического синтеза подходов разных дисциплин к этой проблематике пока не произошло, и констатация некоторой (предполагается, что временной) нечеткости методологических подходов. **Юлия Сафронова** в своей обзорной статье об исследованиях коллективной памяти, эволюции проблематики и институциональном развитии в этой области дает широкий обзор процессов за последние десятилетия, и показывает, что существенного прогресса

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

в кристаллизации методологических подходов вообще, и в достижении методологического синтеза мы не наблюдаем.

Мы исходим из необходимости скептического пересмотра упомянутых общих мест и ожиданий. Во-первых, надежда на широко понятый междисциплинарный методологический синтез представляется утопической. Конечно, есть сферы, где междисциплинарное сотрудничество, в том числе и предполагающее предметное расширение поля исследований, может дать и уже дает положительные результаты. Об этом пишет, например, **Анастасия Фелькер** в своей статье об исследованиях управления культурным наследием и о сопряжении этой проблематики с проблематикой политики памяти. Наряду с А. Фелькер и **Екатерина Махотина** показывает в своей статье, что музеализация представляет собой сферу, где сходятся интересы разных дисциплин — собственно музеологии, различных подходов к менеджменту культурного наследия, исследований нарративных стратегий и политики памяти.

Однако там, где в основе дисциплинарных различий лежит разница в методах познания, которая хорошо отражена в англоязычном противопоставлении *social sciences* и *humanities*, трудно рассчитывать на успешный методологический синтез. Задача в отношениях между *social sciences* и *humanities* — взаимно информированное и осознанное в своих ограничениях сосуществование представителей разных дисциплин и методологических подходов. Исследования политики памяти — частный случай этого правила. **Науки об обществе**, в особенности политология и социология, стремятся к изучению общества с помощью верифицируемых, даже калькулируемых данных. В этих исследованиях сравнение служит заменой эксперимента, который, в отличие от точных наук, недоступен. Исследователи стремятся к выделению ограниченного числа ключевых параметров, которые можно сравнить и исчислить. В своей статье **Елена Мелешкина** рассказывает об опыте применения качественного сравнительного анализа (QCA) к изучению политики памяти, прежде всего к ответу на вопрос, как учесть влияние условий на принятие решений в области политики памяти и в целом на формирование и существование разных типов политики памяти. Она уделяет особое внимание анализу коллективной монографии «Двадцать лет после коммунизма: Политика памяти и коммеморации», в которой представлены результаты проекта по изучению «режимов памяти», сложившихся в связи с двадцатилетием падения коммунистических режимов, и опиравшегося именно на QCA [Bernhard, Kubik 2014]. Мелешкина также демонстрирует результаты своего собственного опыта применения QCA для исследования условий, влиявших на законодательную деятельность в посткоммунистических странах, а именно на принятие законов о запрете коммунистической символики.

Ольга Малинова предлагает убедительный способ упорядочить и соотнести основные понятия, используемые при обсуждении этого проблемного поля — символическая политика, политическое использование прошлого, политика

памяти, историческая политика. Она анализирует подходы к изучению политики памяти как части символической политики в духе социологии П. Бурдьё и формулирует ряд важных теоретических презумпций для анализа политики памяти как системы взаимодействия различных мнемонических акторов.

В статье Малиновой рассмотрена также концепция Дэвида Арта об общественных дебатах как механизме изменений в политике памяти (и политике вообще). Сформулированная в начале 2000-х, концепция Арта должна быть переосмыслена заново в контексте разворачивающихся сейчас дебатов о столкновении различных культур памяти. В последние годы целый ряд исследователей, в том числе и автор этой статьи, говорили о конфликте западноевропейской космополитической культуры памяти и националистической культуры памяти в посткоммунистических восточноевропейских государствах. Культура памяти, доминировавшая в ЕС, была основана на идейной установке, что по мере развития сотрудничества и интеграции ЕС межнациональные противоречия будут преодолены и в сфере политики памяти. Во многом страны ЕС к концу прошлого века преуспели в выработке общего подхода к прошлому, в котором ключевую роль играло представление о холокосте как ключевом преступлении в истории Европы XX века. Это предполагало отказ от национальных претензий на роль жертвы и открытость к обсуждению темных сторон собственной истории, прежде всего, соучастия представителей собственной нации в холокосте. Это хорошо сочеталось с общей установкой, что демократия и интеграция ЕС предполагает ослабление, угасание национализма. Безусловно, самым радикальным образцом такой политики была ФРГ, а затем объединенная Германия, в которой наследие политики памяти ГДР было решительно подавлено.

Частью космополитической культуры памяти было представление о межнациональном диалоге как способе выработки неконфликтного и согласованного подхода к трудным, травматическим темам прошлого. Примером такого подхода были совместные учебники истории, прежде всего франко-немецкий учебник.

Западноевропейская космополитическая культура памяти рассматривалась как нормативная [Was hält Europa ... 2005] и до определенной степени имитировалась аспирантами в новые члены ЕС. Однако столкновение с подлинной восточноевропейской культурой памяти разрушило и проблематизировало прежний консенсус [Миллер 2016]. Дело в том, что восточноевропейская культура памяти опиралась на принципиально иные основания — в роли главной, если не единственной, жертвы выступала именно своя нация, и национализм был стержнем этой политики памяти. Поэтому было бы странно всерьез ожидать, что восточноевропейские страны будут искренне воспроизводить немецкий образец политики памяти, основанной на убеждении, что национализм неизбежно ведет к нацизму, и на культуре проработки прошлого как покаяния [Krastev, Holmes 2018]. При более пристальном анализе нетрудно заметить, что космополитическая культура памяти доминировала до определенного момента

в рамках ЕС благодаря тому, что на национальном уровне альтернативные подходы к памяти жестко цензурировались и подавлялись, особенно в Германии².

Немецкому опыту исследований и обсуждения политики памяти посвящена статья **Екатерины Махотиной**. Для Восточной Европы немецкий опыт важен как минимум в двух измерениях. Во-первых, он считался, как уже было отмечено, «образцовым». Махотина показывает, почему это представление о немецком опыте как минимум упрощенное. Во-вторых, в своих исследованиях и обсуждении проблематики памяти немцы выковали целый набор понятий и концепций, которые активно используются и исследователями, и «практиками» политики памяти в пост-коммунистических странах.

Махотина пишет о том, что виктимологическая парадигма культурной памяти, т. е. парадигма памяти, в центре которой находятся жертвы, претерпевает удивительные метаморфозы. В Германии эти жертвы не являются частью нации, а в Восточной Европе именно члены собственной нации выступают как главные жертвы. Впрочем, Махотина отмечает, вслед за Ульрике Юрайт, что память о жертвах холокоста в немецком историческом воспоминании привела к субъективизации роли жертвы, то есть «концепт жертвы был перенесен с “чужих евреев” на самих себя, т. е. в немецком обществе преобладает практика самоидентификации с еврейскими жертвами. Фигура “чувствование себя жертвой” стала структурообразующей, а желание самоидентификации с жертвами превратилось в политическую норму» [Jureit, Schneider 2010].

Подавляемые в рамках космополитической культуры памяти тенденции можно описать как антагонистический подход к памяти. В ставшей уже знаменитой статье польских авторов «Историческая политика», опубликованной в 2004 г., идейные основания этого подхода были изложены со всей откровенностью [Миллер 2012; Траба 2012]. Политика памяти понималась как всякая другая политическая деятельность, то есть как соревнование, в котором политические силы борются за установление контроля и доминирования. В этом случае на место идеи, согласно которой обсуждение конфликтного прошлого ведет к взаимопониманию и примирению, приходит понимание политики памяти как конфликта с нулевой суммой, в котором важно не добиться взаимопонимания, а обеспечить преобладание собственной позиции в пространстве своего политического контроля — то есть в своем национальном государстве, а в идеале — и на международной арене.

Осознание того факта, что прежний консенсус необратимо подорван, привело к попыткам в Западной Европе сформулировать «третий путь», то есть постулат о необходимости агонистской культуры памяти. Агонизм в этом случае противопоставлен антагонистическому подходу и настаивает на том, что конфликт

² См. Миллер А., Липман М. Политика памяти в 21 веке. НЛО, 2012. Прежде всего, статьи Ютты Шерер («Германия и Франция: проработка прошлого», с. 473–505) и Штефана Бергера («Историческая политика и национал-социалистическое прошлое Германии, 1949–1982 гг.», с. 33–64).

остаётся объектом взаимоуважительного диалога, который уже необязательно должен вести к согласию и примирению по поводу прошлого, но все же к пониманию оппонента, а не антагонистической конфронтации. Дискуссия, начатая Шанталь Муфф практически в то же время, когда сторонники антагонистического подхода к политике памяти публиковали свой манифест «Историческая политика», была продолжена целым рядом авторов. Очевидно, что агонистский подход к политике памяти скорее постулируется как должное, но не анализируется как реально существующее или, по крайней мере, широко распространенное явление [Mouffe 2005; Mouffe 2012; Bull, Hansen 2012; Erll 2011; Todorov 2009].

Таким образом, мы видим эволюцию использования понятия «культура памяти» и его проблематизацию. Если изначально космополитическая культура памяти рассматривалась как безраздельно доминирующая и нормативная, то затем были постепенно осознаны и артикулированы, во-первых, конфликт между космополитической культурой памяти и антагонистической, националистической культурой памяти Восточной Европы; во-вторых, конфликт внутри каждого национального сообщества в ЕС, определенная конфигурация которого обеспечивала до определенного момента доминирование космополитической культуры памяти в масштабе ЕС. Отчетливее проявился конфликт ценностей, стоящий за различными подходами к политике памяти. Яснее стала видна и важная роль ценностных установок в стратегиях индивидуальных исследователей и в определенных методологических подходах к проблематике памяти. Концепция (или постулат) агонистской памяти служит ярким, но не единственным примером значения таких ценностных установок.

Возвращаясь к статье Ольги Малиновой, отметим, что она описывает также ряд важных исследовательских стратегий анализа нарративов и коммеморативных практик. Существенная лакуна в этих подходах, логично возникающая в политологической оптике, — невозможность анализа художественной мощи образов и произведений искусства, связанных с этими нарративами. Ярким примером может служить использование в литовском музее геноцида и латвийском музее оккупации фрагмента из фильма Анджея Вайды «Катынь», в котором показан расстрел польских офицеров сотрудниками НКВД.

Историкам свойственно подчеркивать многофакторность общественных процессов и невозможность вычленив 1–2 составляющие как решающие. В изучении общественных процессов мы всегда имеем дело с недостаточностью данных, и с невозможностью формализации и исчисления определенных факторов, например — художественной ценности и эмоционального воздействия произведений литературы, живописи и, особенно, художественного и документального кино, играющих важную роль в политике памяти. Humanities иначе, чем политическая наука, видят, например, роль сравнения, которое не может быть полноценной заменой эксперимента как из-за сложности сравниваемых объектов, так и из-за существующего между ними взаимовлияния. (Характер-

но, что в книге о коммеморации падения коммунистических режимов в 1989 г., о которой говорят и Мелешкина, и Малинова, фактор взаимовлияния и имитации не учтен.) Поэтому сегодня историки скорее видят в сравнении способ сформулировать новые исследовательские задачи, часто используя для этого «асимметричное» сравнение, в котором казусы получают качественно разное внимание. При этом сами принципы и задачи сравнения и классификации становятся в последнее время предметом активного обсуждения. Чаще историки уделяют внимание «взаимосвязанной истории» (entangled history, histoire croisée).

Важный вопрос в исследованиях политики памяти это их масштаб. Больше всего внимания, особенно в Восточной Европе, достается национальным нарративам, институтам и политике в масштабе государства. **Дмитрий Ефременко** посвящает свою статью наднациональному измерению — Европейскому Союзу и показывает «еврократические» структуры как важного наднационального игрока в сфере политики памяти. Роль этой наднациональной элиты и Брюссельских структур ЕС в формировании европейской политики памяти весьма велика. Однако эффективность «еврократии» как мнемонического актора существенно уменьшилась с ширящимся отказом от восприятия космополитической культуры памяти как нормативной.

Александр Воронович, напротив, посвящает статью субнациональным игрокам — а именно непризнанным республикам Приднестровья и Донбасса. Для описания политики памяти непризнанных республик Воронович вводит понятие «интернационалистского сепаратизма». Есть несколько важных резонансов для использования этого понятия: во-первых, сами власти непризнанных республик его используют, во-вторых, в нем содержится четкая апелляция к советской традиции интернационализма, в-третьих, с помощью этого понятия артикулируется протест против той политики национализирующегося государства, которую проводят власти в Кишиневе и Киеве. Отчасти по политическим причинам, отчасти из-за технической сложности для сбора материала изучение политики памяти в непризнанных республиках почти не проводилось. Работа Вороновича носит пионерский, новаторский характер и в теоретическом плане, и как case-study.

Вообще, тема регионального и локального измерения политики памяти в Восточной Европе исследована существенно хуже, чем в Западной Европе. Вероятно, это связано с тем, что внимание исследователей в основном сосредоточено на столицах, властных структурах, национальных нарративах и местах памяти. Напряжения и конфликты между национальными и локальными процессами скорее подавляются, чем артикулируются и исследуются. Этот аспект, безусловно, заслуживает систематического исследования, что и будет сделано в книге 2019 г. о политике памяти в России и Восточной Европе. Непризнанные республики это, своего рода, пограничный случай, где граница между региональным / локальным и государственным очень зыбка. Но для России палитра

казусов, обладающих региональной и групповой спецификой очень богата. В ряде случаев локальные (или групповые) нарративы находятся в очевидном противоречии с большим общегосударственным нарративом. Например, память о Кавказской войне у кавказских народов, о депортациях в среде депортированных групп существенно отличается. Многие этнические группы в России вообще имеют существенно отличающийся от общегосударственного большой исторический нарратив. Вопрос о том, как регулируется напряжение между общегосударственными и групповыми нарративами, имеет весьма актуальное политическое значение.

В целом сборник отражает несколько важных направлений в исследованиях политики памяти. Они различны, и трудно представить себе возникновение в этой сфере единой междисциплинарной методологии. Однако нужно стремиться к систематическому междисциплинарному диалогу и взаимному обогащению в этой сфере. Заключительные материалы этого сборника — стенограммы заседаний семинара, на котором участники проекта в самом прямом смысле слова осуществляют такой диалог. Первая из них посвящена анализу коммеморации столетия революции 1917 г., вторая — проблемам классификации и сравнения в исследованиях политики памяти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Миллер А.* Введение. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI в. // Миллер А., Липман М. Политика памяти в 21 веке. — Новое литературное обозрение, 2012, с. 7–33.
2. *Миллер А.* Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // *Полития*, № 1, 2016, с. 111–121.
3. *Граба Р.* Польские споры об истории в XXI в. // Миллер А., Липман М. Политика памяти в 21 веке. — Новое литературное обозрение, 2012, с. 65–103.
4. *Bernhard M., Kubik J.* (eds.). *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration.* — N.Y., 2014.
5. *Bull A., Hansen H.* On Agonistic Memory // *Memory Studies.* — 2016, Vol. 9(4), pp. 390–404.
6. *Errl A.* *Memory in Culture.* — Basingstoke, 2011.
7. *Jureit U., Schneider Ch.* (Hg.). *Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung.* — Bonn, 2010.
8. *Krastev I., Holmes S.* Imitation and its Discontents // *Journal of Democracy.* — V. 29, No. 3, July 2018, pp. 117–128.
9. *Mouffe C.* *On the Political.* — London, 2005.
10. *Mouffe C.* An Agonistic Approach to the Future of Europe // *New Literary History.* — V. 43(4), 2012, pp. 629–640.
11. *Todorov T.* 'Memory as a Remedy for Evil' // *Journal of International Criminal Justice.* V. 7 (3), 2009, pp. 447–462.
12. Was hält Europa zusammen? // *Transit: Europäische Revue.* Nr. 28. 2005.

СТАТЬИ

© Ю. А. Сафронова, 2018

Ю. А. Сафронова

MEMORY STUDIES: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ¹

В статье представлен обзор основных тенденций в исследованиях коллективной памяти (memory studies). Проанализирована эволюция проблематики и институциональное развитие этого исследовательского направления. Показано, что вплоть до настоящего времени сохраняется дивергенция методологических подходов в изучении коллективной памяти и политики памяти.

Ключевые слова: коллективная память, политика памяти, теоретические и методологические проблемы исследований памяти.

В исследованиях памяти принято выделять три волны. *Первая* из них относится к 1920–1940-м гг. и связана с именами Мориса Хальбвакса, Аби Варбурга, Вальтера Беньямина и Фредерика Бартлетта, а также немногих их последователей [Erl1 2011: 4]. Начало *второй волне* исследований в этой сфере положили два литературных события: книга американского историка Йозефа Йерушалми «Захор: еврейская память и еврейская история» (1982) и предисловие французского историка Пьера Нора «Между памятью и историей» к антологии «Места памяти» (1984) [Ерушалми 1999; Нора 1999]. Оба автора противопоставляли память истории в качестве принципиально иного способа обращения с прошлым.

Важным знаком становления memory studies как отдельной дисциплины в это время стало основание в 1989 г. журнала «History and memory» Тель-Авивского университета. Показательно, что в первой статье первого номера «Коллективная память и историческое сознание» ее автор Амос Функенштайн считал необходимым доказывать, что «коллективная память» — это не «ошибка» и не «неправильный термин», хотя «нация не ест и не танцует, так же как она не может говорить или вспоминать» [Funkenstein 1989: 6]. В 1992 г. немецкий культуролог Ян Ассман в книге «Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности», уверенно утверждал: «По всем признакам похоже, что вокруг понятия “вспоминания” складывается

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

новая парадигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие феномены и области культуры — искусство, литература, политика и общество, религия и право — предстают в новом контексте» [Ассман Я., 2004: 1].

Выйдя за пределы академического мира, память превратилась в повод и орудие для конфликтов, как в рамках локальных сообществ, так и за их пределами — внутри обществ, государств, на арене международной политики и т. д. В 2002 г. Пьер Нора, один из интеллектуалов, несущих ответственность за «мемориальный бум» в гуманитарных науках, констатировал наступление эпохи «всемирного торжества памяти». Приметами времени стали для него: критика официальных версий истории и возвращение на поверхность вытесненных составляющих исторического процесса; возвращение репрессированной памяти сообществ, народов и отдельных индивидов, чья история игнорировалась, скрывалась или уничтожалась; развитие генеалогических изысканий и семейных историй; бурное развитие всяческих мемориальных мероприятий; юридическое сведение счетов с прошлым; рост числа разнообразнейших музеев; бурное развитие индустрии «наследия»; повышенная чувствительность к сбору архивов и к открытию доступа к ним; повышенное внимание к темам травмы, горя, эмоций, аффектов, терапии и т. д. [Нора 2005].

Размышляя о причинах популярности исследований памяти, ученые предлагают очень разные, иногда диаметрально противоположные объяснения. Как правило, говорят не об одном каком-то факторе, а о сочетании причин как минимум трех уровней:

- **дисциплинарных**, относящихся к ситуации внутри академического мира, общему состоянию гуманитарных наук и вызовам постмодерна;
- **социальных**, связанных с радикальными изменениями структуры общества эпохи глобализации и постколониализма;
- **медийных**, коль скоро технический прогресс создал иллюзию всеобщего доступа к памяти и опростестовал положение историков как единственных экспертов по прошлому.

Дисциплинарные объяснения популярности *memory studies*, исходящие из развития гуманитарного знания, связаны с основными вызовами и кризисами второй половины XX в. Появление понятия «память» в повестке гуманитарных дисциплин можно рассматривать в качестве реакции на разрушительную критику истории как способа постижения прошлого со стороны структурализма, постструктурализма, постмодернизма, деконструктивизма и постистории. Возникновение памяти как одного из ключевых концептов нового историцизма совпадает со становлением новой культурной истории, ставшей ответом на разнообразные вызовы постмодерна [Klein 2000]. Алон Конфино в 1997 г. в статье «Коллективная память и культурная история: проблемы метода» прямо утверждал, что «Понятие “память” заняло место главного термина, в последнее время, возможно, самого важного термина в культурной истории» [Confino 1997: 1386]. Размышляя об истоках такого поворота, он сравни-

вал интеллектуальную моду на «память» с модой 1970-х на исследования «ментальностей», находя между ними много общего.

Американский историк Патрик Хаттон видел эту взаимосвязь еще более определенной. С его точки зрения, интерес к проблеме памяти берет свое начало именно в работах по истории коллективных ментальностей. Занимаясь исследованиями народной культуры, местных нравов и обычаев, структурой мышления и повседневности, историки вследствие связи всех этих тем «с инертной силой прошлого», так или иначе подходили к «вопросу о характере и ресурсах коллективной памяти» [Хаттон 2004: 34].

Немецкая исследовательница Алейда Ассман предлагает другую генеалогию *memory studies*. Возникновение и быстрый рост популярности категории «коллективной памяти» она интерпретирует в качестве ответа на критику идеологий 1960–1970-х гг., рассматривавшую использование образов и репрезентаций (в том числе образов прошлого) исключительно в негативном ключе в качестве средства внушения «ложного сознания». Смена парадигм, связанная с новыми категориями, такими как «социальное воображаемое» (Жак Лакан), «воображаемое сообщество» (Бенедикт Андерсон) и «коллективная память», привела к нормализации этих явлений. «Вместо критического отношения к образам как преимущественно средствам манипуляции, — пишет А. Ассман, — пришло сознание необходимости для человека обращаться к образам и коллективной символике. Ментальные, материальные и медиальные образы выполняют важную функцию, когда сообщество хочет выработать некое представление о самом себе». Для исследовательницы отнюдь не постмодернистский релятивизм с его «отказом от презумпции рациональности и моральной ответственности» был предпосылкой для смены парадигм [Ассман А., 2014: 27–28].

Американский историк Вульф Канстайнер, напротив, утверждает, что концепция памяти стала ответом немногим оставшимся постмодернистским критикам, поскольку на конкретных примерах показывала, как именно работают репрезентации и чем может быть объяснена их власть. Его собственное объяснение популярности понятия «память» среди исследователей включает также социальную значимость этой сферы: выступая в качестве «экспертов по памяти» ученые наконец-то могут ощутить себя гражданами, разделяющими с другими ношу современного кризиса коллективной памяти [Kansteiner 2002].

«Решающей причиной» популярности *memory studies* **социального** порядка, Ян Ассман назвал уход поколения очевидцев «тяжелейших в анналах истории человеческой преступлений и катастроф». «Экзистенциальная суть» повального увлечения темой памяти и воспоминания, с его точки зрения, заключается в том, что, переходя естественный рубеж, когда живое воспоминание свидетеля оказывается под угрозой исчезновения, общество сталкивается с потребностью выработки «культурных форм памяти о прошлом» [Ассман Я., 2004: 11–12].

О социальных причинах «мемориального бума» рубежа 1980–1990-х гг. размышлял также П. Нора, связывая его с двумя общемировыми процессами — «ускорением истории» (Даниэл Галеви) и деколонизацией. Потеряв представления о телеологии истории, о будущем, понимавшемся как реставрация прошлого, как прогресс или как революция, эпоха постмодерна, по мнению П. Нора, потеряла знание о том, что из прошлого должно сохраняться в настоящем. Результатом этой неопределенности стало навязчивое желание «благоговейно и неразборчиво» сохранять «любые видимые знаки и материальные следы, которым предстоит (может быть) стать свидетельствами того, что мы есть или чем мы были» [Нора 2005]. Именно ощущение утраты, с точки зрения французского историка, приводит к доминированию памяти над историей, экстенсивному расширению смысла самого понятия памяти при параллельном практически неконтролируемом увеличении количества институтов, отвечающих за нее — музеев, архивов, библиотек, коллекций и банков данных.

Перечисляя приметы утраты (послевоенная индустриализация и урбанизация «смели в ураганном порыве целый набор традиций, пейзажей, ремесел, обычаев, жизненных укладов») П. Нора, однако, не переходил к обобщениям. Его объяснения остаются галлоцентричны и вращаются вокруг переживаемых Францией с 1975 г. последствий «экономического кризиса, постголлизма и исчерпанности революционной идеи» [Нора 2005]. Между тем другие исследователи говорят о популярности памяти в связи с концом культурной традиции модерна. Ян Ассман писал в связи с этим: «На нашу собственную культурную традицию нередко смотрят теперь с позиций “посткультуры” (Джорж Стайнер), где нечто завершившееся — это то, что Никлас Луман называет “старой Европой” — продолжает жить лишь как предмет воспоминания и комментирующей обработки» [Ассман Я., 2004: 11].

Деколонизация, выразившаяся в освобождении народов, этносов, групп и отдельного человека, вызвала к жизни потребность в утверждении собственной идентичности через обращение к прошлому. Возникающая в самых разных формах память меньшинств приходит в противоречие с памятью наций и даже ставит под сомнение возможность «коллективной памяти». Память, в отличие от истории, всегда принадлежавшая власть имущим, по мнению П. Нора, «обладает новым престижем демократичности и протеста» [Нора 2005]. Социолог Барри Шварц также объяснял интерес к социальному конструированию прошлого кризисом историописания, спровоцированным мультикультурализмом, который идентифицировал историю в качестве средства доминирования и поставил под сомнения во имя репрессированных групп [Schwartz 1996].

Наконец, исследователи говорят о влиянии **технической революции**, связанной с появлением новых средств электронной фиксации, хранения и производства информации, а следовательно, искусственной памяти, на «мемориальный бум». Любое событие в настоящем сегодня оценивается как «будущее прошлое», достойное фиксации, точно так же как история жизни любого чело-

века. Все это сопровождается развитием массмедиа, электронных медиа и социальных сетей. Уже в 1988 г. французский историк Жак Ле Гофф в книге «История и память» писал о «революции памяти», произошедшей после 1950-х гг., в которой появление компьютера и электронной памяти лишь одно из явлений, хотя и «наиболее впечатляющее» [Ле Гофф 2013: 124]. Сдержанный оптимизм Ле Гоффа по поводу того, что современные медиа способствуют демократизации коллективной памяти, разделяется отнюдь не всеми его коллегами. Процессы развития современных медиа, такие как бум электронной памяти или дигитализация, очень часто описываются в мрачных тонах: по мнению многих, они ответственны за исчезновение памяти и наступление «эпохи забвения» [Zierold 2010].

Огромное количество публикаций под знаменем *memory studies*, авторы которых обращались к самым разным предметам, используя всевозможные подходы и методы, не спасло это направление от нарастающей волны критики, вылившейся в начале 2000-х гг. в признание кризисного состояния дисциплины, а также стимулировавшей поиск возможных путей выхода из него. Именно этот «критический» период, начавшийся в конце 1990-х гг. и продолжающийся до сих пор принято рассматривать в качестве *третьей волны memory studies* [Feindt, Krawatzek, Mehler, Pestel, Trimcev 2014].

Диагностированный многими исследователями кризис связывался с неопределенностью самого понятия «память» и отсутствием ясных критериев, позволяющих идентифицировать, что именно можно рассматривать в качестве предмета исследования *memory studies*. Количество понятий, связанных с памятью, как в естественных науках, так и в гуманитарных, исчисляется сотнями. Эндель Тулвинг, канадский экспериментальный психолог и нейрофизиолог, специализирующийся на исследованиях памяти, в 2007 г. составил список из 256 типов, включив туда и созданные историками понятия культурной памяти, политической памяти, архивной памяти и т. д. В его работе содержалось немало иронических замечаний по этому поводу [Tulving 2007].

Понятие «память» исторично, а разные способы обращения с нею далеко не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Современному человеку проще всего вообразить память как документальный фильм, в котором пережитые события вчерашнего дня или раннего детства запечатлены с разной степенью подробности и достоверности. Между тем в средние века под «памятью» понимали то, что сегодня принято называть воображением или творчеством [Carruthers 2008]. Френсис Йейтс, обращаясь к искусству памяти эпохи Возрождения, обнаружила, что в некоторых философских системах того времени память рассматривалась как магический метод раскрытия тайной гармонии земной и трансцендентальной сфер [Йейтс 1997].

Различные дисциплины помещают память индивида то в человеческом мозге, то в психике. С первым имеют дело нейрология и нейробиология, со вторым — психология, когнитивная психология и т. д. Индивидуальная память

не локализуется только «в голове»: к процессу воспоминаний причастны телесность и органы чувств, а также находящиеся вне тела человека триггеры, способные запускать процесс воспоминания, — звуки, запахи, изображения и слова, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни [Garde-Hansen 2011: 14–15]. Именно в последней точке понимание феномена памяти естественными науками сближается с тем, что интересует гуманитарное знание.

Во всем многообразии социальных и гуманитарных исследований, авторы которых работают с понятием «память», подразумевая при этом совершенно разные вещи, можно обнаружить нечто общее. Память — это способ конструирования людьми своего прошлого. С одной стороны, она может изучаться как память-свидетельство людей, переживших некий опыт, например, выживших в холокосте. С другой стороны, это понятие используют для анализа репрезентаций прошлого и его конструирования через медиа памяти — книги, фильмы, монументы, церемонии и т. д.

Когда в 1920-х гг. французский социолог Морис Хальбвакс, к идеям которого многие из современных ученых возводят генеалогию *memory studies*, впервые предложил понятие «коллективной памяти», другой отец-основатель (на этот раз школы «Анналов») Марк Блок указал ему, что это понятие метафорично, а потому бессмысленно. В самом себе оно содержит допущение, что коллектив обладает памятью подобно тому, как ею обладает отдельный человек [Ассман А., 2016: 15]. Алейда Ассман в книге «Новое недовольство мемориальной культурой» цитирует страстную речь немецкого историка Райнхарда Козеллека, семьдесят восемь лет спустя вторившего аргументам Марка Блока: «У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже сказал, что каждый человек имеет право на собственные воспоминания. Это право на собственную биографию и собственное прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное, нежели то, что является частью официальной коммеморации немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица советскими войсками» [Ассман А., 2016: 16:17].

М. Хальбвакс, вопреки распространенному мнению, никогда не утверждал, что коллектив обладает собственной памятью. Социолог Сара Гинсбургер настаивает даже, что, хотя множество текстов, посвященных памяти, сегодня начинается с упоминания Хальбвакса, эти ссылки остаются формальными. «Едва ли какая-нибудь современная работа, отдающая свой долг Хальбваксу, в действительности цитирует его или эффективно использует его тексты для дальнейшего эмпирического исследования. Этот формализм чистой воды можно обнаружить по всему миру и во всех дисциплинах, обращающихся к исследованиям памяти» [Gensburger 2016: 399].

Определяющей для размышлений М. Хальбвакса стала статья Э. Дюркгейма 1898 г. «Индивидуальные и коллективные представления». В ней основатель

французской социологической школы обращался к феномену памяти, само существование которой было для него доказательством существования «коллективных представлений». Отвергая исключительно физиологическую природу памяти как «органического факта», он относил ее к области психической жизни. Собственно, вопрос о «психической памяти» занимал его не сам по себе, но как свидетельство существования индивидуальных представлений. Для Дюркгейма важно было доказать, что представления способны сохраняться в сознании, а не возникают каждый раз заново, но при этом в определенной мере независимы от него, поскольку зачастую остаются в области бессознательного. Перенеся свои рассуждения об индивидуальных представлениях в социальную сферу, Дюркгейм смог постулировать существование коллективных представлений. «...коллективные представления, порожденные действиями и противодействиями между элементарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не вытекают из последних и, следовательно, выходят за их пределы», — писал она. Эта статья заканчивалась призывом создать новую отрасль социологии, изучающую «законы коллективного существования идей» — коллективную психологию [Дюркгейм 1995].

Ответом на него стала работа М. Хальбвакса 1918 г. «Доктрина Эмиля Дюркгейма», где он, реагируя на научный проект Дюркгейма, продолжил развивать идею коллективной психологии, основанной на изучении коллективного сознания. С его точки зрения, коллективная психология способна объяснить, как мотивы, стремления и эмоции соединяются в коллективные представления, хранящиеся в памяти, которая является центральной точкой высших способностей разума. В отличие от Дюркгейма, относившего социальную память к области бессознательного, Хальбвакс постулировал три основных тезиса:

- индивидуальная память социально сконструирована;
- существование коллективной памяти опосредовано группами (семьей и социальными классами);
- существование «большой» коллективной памяти на уровне обществ и цивилизаций.

Одна из самых известных работ М. Хальбвакса «Социальные рамки памяти» была начата им в 1921 г. и опубликована в 1925 г. Для анализа социально обусловленной памяти Хальбвакс предложил понятие «рамка» (*cadre*). Нигде не давая определения «рамке», он использует это понятие в двух разных смыслах. Более просто для понимания его описание рамки как комплекса пространственно-временных и социальных представлений, опосредованных языком, позволяющего вспоминать по желанию основные события прошлого [Хальбвакс 2007: 138]. Более сложным, но при этом более важным для самого Хальбвакса, является его рассуждение о соотношении рамки и содержимого, повторяющее с новыми аргументами размышления Э. Дюркгейма. Отрицая существование «чистых» воспоминаний, Хальбвакс писал, что «рамка и события тождественны по природе: события суть воспоминания, но и сама рамка состоит

из воспоминаний. Эти два рода воспоминаний различаются тем, что вторые более устойчивы, всегда заметны нам, и мы пользуемся ими для припоминания и реконструкции первых» [Хальбвакс 2007: 135–136]. Таким образом, основная мысль французского социолога заключается в том, что нет воспоминаний, не обусловленных социальными рамками. Каждый раз, обращаясь к своему прошлому, человек смотрит на него из дня сегодняшнего и пользуется ориентирами, которые предлагает ему его социальная группа. Прошлое недоступно нам таким, каким оно было, но только как «реконструкция», правила которой заданы днем сегодняшним, «...общество обязывает людей время от времени не просто мысленно воспроизводить прежние события своей жизни, но также и ретушировать их, подчищать и дополнять, с тем чтобы мы, оставаясь убежденными в точности своих воспоминаний, приписывали им обаяние, каким не обладала реальность» [Хальбвакс 2007: 151].

В критике М. Блока, однако, есть своя доля истины: понятие «память» действительно метафорично, а потому обладает всеми достоинствами и недостатками, свойственными метафорам. С одной стороны, оно будит воображение, позволяет дать имя многообразию сложно сопоставимых, а иногда и сложно уловимых процессов, и, таким образом, дает исследователям новые предметы познания или новые инструменты для работы со старыми. С другой стороны, любая метафора ничем не ограничена в производстве смыслов. Вооружившись ею, как знаменем, можно изучать практически все что угодно, а на любую критику отвечать, что автор использует понятие метафорически.

Важный ответ на эту проблему дает немецкий культуролог Ян Ассман. В поздней работе 2010 г. он пишет, что в его собственном понимании память является не метафорой, а «метонимией, основанной на материальном контакте между вспоминающим разумом и напоминающим объектом. Вещи не “имеют” собственной памяти, но способны напоминать нам о чем-то, быть триггерами для памяти, потому что они сохраняют воспоминания, которые мы сами помещаем в них» [Assmann 2010: 111]. При этом в основных своих построениях он во многом опирается на идеи М. Хальбакса, заимствуя из концепции «коллективной памяти» тезис о коммуникации как об основном механизме социального конструирования прошлого. В то же время он критически относится ко многим постулатам Хальбакса, а также сетует на его методологию: социолог «не в силах стряхнуть чары бергсоновских магических слов, таких как “жизнь” и “действительность”» [Ассман 2004: 47].

Метафоричность основного понятия *memory studies* создает особое поле напряжения, поскольку содержит в себе искушение психологией и психоанализом. Между тем признанный представителями естественных наук факт, что изучение индивидуальной памяти невозможно без рассмотрения социального контекста ее бытования, вовсе не означает обратного. Не обязательно разбираться в том, какие именно зоны головного мозга отвечают за процесс воспоминания, чтобы изучать память о Первой мировой войне в Великобритании

или Жанну Д'Арк как французское «место памяти». Наоборот, экскурсии в нейробиологию или психоанализ скорее осложняют процесс познания, затемняя его предмет. Специалист по памяти о холокосте в послевоенной Европе Вульф Канстайнер, выступая в 2002 г. с методологической критикой *memory studies*, настаивал на необходимости разделять различные типы «социальной» памяти: автобиографической памяти, с одной стороны, и коллективной памяти, с другой. «Из-за отсутствия такого различия, многие исследователи коллективной памяти совершают заманчивую, но потенциально смертельную ошибку, воспринимая и концептуализируя коллективную память в терминах психологии и эмоциональной динамики индивидуального воспоминания» [Kanstainer 2002: 185].

Проведение аналогий между индивидуальной памятью как свойством человеческой психики и памятью коллективной способны завести исследователей на зыбкую почву: переход от «коллективной памяти» к «коллективной психике» совершается довольно легко, но его результаты всегда сомнительны. С другой стороны, нельзя утверждать, что обращение историков к работам нейробиологов или психологов одинаково бесполезно во всех случаях. Напротив, в рамках *memory studies* историки регулярно сталкиваются с необходимостью интерпретации автобиографической памяти, памяти-свидетельства.

Примером работы, где результаты исследований когнитивных психологов служат для объяснения основных трендов памяти о холокосте в послевоенной Германии, является статья немецкого историка Харальда Вельцера «История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы». Статья начинается с впечатляющего примера конфликта между историком и свидетелем. Дрезденцы, пережившие разрушительные бомбардировки города союзнической авиацией 13–14 февраля 1945 г., твердо убеждены, что после самой бомбежки самолеты летали над улицами Дрездена и охотились на людей. В 2000 г. историк Хельмут Шнатц сделал доклад, в котором на основании полетных заданий и бортжурналов британских военно-воздушных подразделений, а также анализа технологических особенностей американских самолетов (они не могли низко летать над горящим после бомбардировки городом из-за высокой температуры) доказал, что история про охоту на людей — миф. Его выступление вызвало скандал: присутствовавшие на докладе свидетели восприняли слова историка как посягательства на их личные воспоминания. Они точно помнили летящие на бреющем полете самолеты и спасавшихся бегством людей, которых видели собственными глазами.

Объяснения этому, а также многим другим случаям aberrаций памяти, Вельцер находит у неврологов и когнитивных психологов, работающих с феноменом «забвения источника», когда человек помнит само событие правильно, но путает источник, из которого получено воспоминание о нем. Одно из основных посланий статьи Х. Вельцера заключается в том, что память и история имеют мало отношения друг к другу, поскольку «автобиографическая память

представляет собой функциональную систему, задача которой — помогать человеку справляться с жизнью в настоящем» [Вельцер 2005].

Статья Х. Вельцера служит удачным примером работы, где выводы коллег из другого цеха, изложенные к тому же доступным языком, помогают автору прояснить его основной тезис. В то же время историку вовсе не обязательно цитировать нейробиологов во всех случаях, когда он работает с автобиографической памятью. Итальянский устный историк Алессандро Портелли, изучивший не менее впечатляющий пример ложных воспоминаний у жителей Рима в связи с массовыми казнями в Ардеатинских пещерах в 1944 г., к когнитивной психологии не обращался вовсе. В его работе анализируется очередной конфликт между свидетелем, убежденным, что он знает причины массовых казней, и историком. Портелли не ищет объяснений в процессах, протекающих в коре головного мозга свидетеля. Его интерпретация ложных воспоминаний строится на изучении четырех взаимосвязанных составляющих памяти об Ардеатинских пещерах: истории, мифа, ритуала и символа. Мифологическая версия этого события, с точки зрения Портелли, столь сильна именно потому, что связана с множеством до сих пор неразрешенных вопросов о прошлом: «Италия — единственная страна, где через полвека после трагедии все еще не утихают споры о том, кем же были борцы за свободу — героями или преступниками; единственная страна, где обсуждается вопрос, преступление это или нет — бросать бомбу в марширующую колонну связанных с СС полицейских войск вражеской оккупационной армии», — пишет Портелли [Портелли 2005].

На примере работ Вельцера и Портелли хорошо видно, как авторы, работающие со схожими сюжетами, включающими в себя феномен ложного воспоминания, с одним и тем же видом источников — интервью свидетелей, по-разному решают вопрос, нуждается ли функционирование автобиографической памяти в объяснениях нейробиологов, или историку достаточно тех инструментов, которые способна предложить ему его собственная дисциплина. Этот выбор двух исследователей возвращает нас к вопросу о том, в какой мере понятие «память» является для историка «просто метафорой». Ответ на него не может быть однозначным или данным раз и навсегда. Выносить суждение о пользе или вреде нейробиологии, психологии и т. п. дисциплин для исторической работы можно только исходя из поставленного в каждом конкретном случае исследовательского вопроса. Например, известная немецкая исследовательница А. Ассман активно включает нейробиологические, психологические и даже психоаналитические объяснения в свои теоретические построения. Порой ее экскурсы простираются в далекие от биологии *homo sapiens'* области. Так, в книге «Новое недовольство мемориальной культурой» она цитирует исследователя мозга Эрика Канделя, изучавшего улиток *Aplysia*: и улитки, и люди используют память ради «ориентации в настоящем ради будущих действий» [Ассман А., 2016: 25].

Понятие «коллективная память», переоткрытое вместе с работами М. Хальбвакса в 1980-х, довольно быстро перестало устраивать большинство исследо-

вателей вследствие своего антииндивидуализма. Как последовательный дюркгеймианец, М. Хальбвакс понимал под «коллективной памятью» коллективно разделяемые репрезентации прошлого, но при этом настаивал, что индивидуальная память полностью социально детерминирована, а потому отдельный человек не имеет значения для истории «коллективной памяти». Другим объектом критики является «презентизм»: поскольку, согласно Хальбваксу, прошлое постоянно подвергается перекодировке ради потребностей настоящего, непрерывная история оказывается невозможной. Льюис Козер, переводчик «Социальных рамок памяти» на английский язык, писал, что при таком подходе история оказалась бы: «...серией аннотаций, взятых из различных времен и выражающих различные точки зрения» [Coser 1992: 370]. Исследователи, обращающиеся к эмпирической части работ Хальбвакса, регулярно делают оговорки, что современные потребности социальных групп не могут полностью навязывать свои реконструкции прошлому: коллективная память может переформатироваться лишь частично и зависит от предыдущих коммеморативных традиций [Armstrong 2006].

Пытаясь преодолеть крайний социологизм Хальбвакса, историки принялись изобретать собственные альтернативные понятия: культурная память, социальная память, публичная память, историческая память и даже постпамять. Такая неопределенность основного понятия, а также многообразие конкурирующих интерпретаций при отсутствии собственного метода служат одним из главных оснований критики *memory studies*. С другой стороны, раздаются голоса, утверждающие, что понятие «память» не способно добавить в исторические исследования ничего нового по сравнению с такими классическими понятиями, как миф, обычай, традиция и историческое сознание [Gedi, Yigal 1996].

Уже в 1995 г. исследовательница современной американской памяти Барби Зелизер в статье с характерным названием «Читая прошлое против шерсти: положение исследований памяти» задавалась вопросом о будущем концепции коллективной памяти. С ее точки зрения, это исследовательское поле выросло слишком быстро и стало слишком большим, включив в себя «все мысли, чувства и действия по поводу прошлого, которые не изучает традиционная история». Она писала о «трудностях» двух видов: неопределенности предмета и отсутствии ясной концепции («многие исследования памяти до сих пор страдают от отсутствия определения, что *есть* коллективная память, за пределами признания, что она *не* индивидуальна») [Zeliezer 1995].

Одним из наиболее часто цитируемых критических текстов рубежа 1990-х — 2000-х гг. стала опубликованная два года спустя статья Алона Конфино «Коллективная память и культурная история: проблемы метода». Американский историк перечислял темы недавних исследований своих коллег («...Монументы. Фильмы. Музеи. Микки Маус. Память американского Юга, Холокоста. Французская революция. Память о недавних событиях. Память о текущих происшествиях. Непосредственное воспоминание о вчерашних новостях»), чтобы

констатировать фрагментарность исследовательского поля, не имеющего «ни центра, ни связи между темами» [Confino 1997: 1388]. Отсутствие скольконибудь общего понимания, что следует подразумевать под понятием «память», а также отсутствие собственной методологии, с его точки зрения, делают результаты исследований этой области описательными и предсказуемыми. Историки, увлекаясь описанием процесса конструирования памяти, упускают из виду общество, в котором эта память существует. Они либо описывают многообразие конкурирующих версий одного и того же события, не объясняя того, каким образом конфликт репрезентаций пошлого не раскалывает общество, либо, напротив, рассматривают память как нечто гомогенное, игнорируя составляющие ее противоречивые суждения о прошлом.

Д. Олик и Д. Роббинс в статье «Социальные исследования памяти: от “коллективной памяти” к исторической социологии мнемоники» не менее критично утверждали, что эта область исследований непарадигматична, междисциплинарна (что в данном случае не было комплиментом) и к тому же не имеет центра. В статье под сомнение было поставлено само существование *memory studies* как специфического исследовательского поля [Olick, Robbins 1998]. Одиннадцать лет спустя, повторяя свои аргументы в статье с симптоматичным названием «Между хаосом и разнообразием: являются ли исследования памяти полем?», Джеффри Олик сформулировал ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, исходя из понимания исследовательского поля. С его точки зрения, исследовательское поле включает в себя такие сложные составляющие, как уровень, метод, объект анализа, так же как институциональная структура, способная этот анализ организовать, и критерии оценки результатов. Оценивая уровень развития *memory studies*, Олик справедливо удивлялся тому факту, что исследователи-гуманитарии по-прежнему считают необходимым доказывать свое право на изучение памяти, апеллируя к трудам Хальбвакса. В отличие от этого кажущегося методологического единства, множество объектов исследования, а также применение большого числа самых разных концепций, подходов, многообразие вопросов, которые можно изучать под лейблом «память» являются для Олика «сигналами неустойчивости поля». Особенно это заметно, когда предметы и практики, формы и функции памяти изучаются изолированно друг от друга, без попыток понять их взаимосвязи.

Размышления Д. Олика по поводу институционального уровня развития *memory studies* приводят его к закономерному вопросу о том, почему вообще необходимо объявлять какую-то интересную тему исследования или слабо связанные между собой вопросы «направлением». В его интерпретации, это желание в той же мере связано с устройством академии, сколько с потребностями самих исследователей. Направление нуждается в институциональной и организационной структуре для своего развития. За пределами конференций, симпозиумов и социальных связей, на уровне университета ученые все еще нуждаются в «более значительных интеллектуальных основаниях, чем простое желание

воображаемого сообщества», чтобы «отважиться» просить декана факультета об отдельной программе или «набраться наглости» на «факультет исследованной памяти» [Olick 2009].

Вульф Канстайнер, пытаясь найти «смысл» в исследованиях памяти, обратил внимание на игнорирование многими исследователями медийной составляющей этого феномена. Поскольку речь идет о поиске смысла прошлого, помещенного в определенный культурный контекст, коллективная память по природе своей всегда опосредована, она представляет собой «мультимедийный коллаж». Историки, обращаясь к изучению монументов, текстов, изображений, коммеморативных практик или ландшафтов, фокусируются, как правило, на одной медийной составляющей процесса воспоминания, игнорируя другие. Другая проблема заключается, с его точки зрения, в том, что, сосредоточившись на репрезентациях прошлого, исследователи упускают из вида центральную роль человека в истории как создателя репрезентаций. «Формальные и семантические качества исторических репрезентаций могут иметь мало общего с намерениями их авторов, и ни предмет исследования, ни его автор не могут быть хорошими индикаторами последующего процесса рецепции», — пишет он [Kanstainer 2002: 185].

Ответом на сомнения в существовании *memory studies* как самостоятельного исследовательского поля, а также на явно обозначившийся методологический кризис, стало основание в 2008 г. журнала «*Memory studies*». В его редакционный совет вошли многие из тех, кто высказывал свое недовольство состоянием исследований: Эндрю Хоскинс, Вульф Канстайнер, Джон Саттон и др. В редакционной статье первого номера журнала они подчеркнули, что главной своей задачей видят облегчение «диалога или дебатов о теоретических, эмпирических и методологических задачах, центральных для совместного понимания памяти сегодня» [Hoskins, Barnier, Kanstainer, Sutton 2008].

Продолжением процесса институционализации *memory studies* является учреждение в декабре 2016 г. Ассоциации исследований памяти (The Memory Studies Association). В статье, посвященной этому событию, Д. Олик, А. Сирп и Д. Вюстенберг напомнили читателям о том, что при создании журнала «*Memory studies*» в 2008 г. эта область исследований все еще была новой, тогда как сегодня она «больше не начинающая, но, к счастью, пока еще не довольная собой». С их точки зрения, давние обвинения в «непарадигматичности» сегодня едва ли справедливы с интеллектуальной точки зрения, но все еще основательны, если говорить об институциональном аспекте существования *memory studies* как самостоятельного поля. Хотя за последние двадцать лет неоднократно предпринимались попытки создания различных ассоциаций и сетей, все они были фрагментарны, замкнуты на отдельных регионах, к тому же многие из них прекратили свое существование, продержавшись несколько лет. Новая ассоциация ставит своей целью объединить существующие сети и группы, а также создать площадку для практически-ориентированных исследователей и политиков.

Достижение этой цели включает в себя следующие задачи:

- Выход за рамки евро- и американоцентризма, расширение географии исследований памяти, для чего предполагается проводить конференции в разных частях мира, а также обеспечить открытый он-лайн доступ к ресурсам ассоциации.

- Выход за рамки академии, привлечение политиков, художников и практиков.

- Выход за дисциплинарные границы, взаимодействие с представителями естественных наук.

- Привлечение ученых из «родственных» полей, таких как исследования исторического наследия, устная история, транснациональная юстиция, архивоведение и т. д.

- Представление интересов *memory studies* как профессионального сообщества, включая создание возможностей для карьерного продвижения и поддержку начинающих исследователей.

- Увеличение видимости исследовательского поля для спонсоров, как государственных, так и частных.

- Участие в качестве экспертов в политических дискуссиях сегодняшнего дня [Olick, Sier, Wuestenberg 2017].

Сегодня, вопреки давним опасениям Джеффри Олика, многие университеты не расценивают претензии на создание специальных программ по *memory studies* как «наглость». Простой поиск в Google по запросу «*memory studies program*» дает несколько сотен результатов, правда, в названиях программ «культурная память» соседствует с «социальной памятью» и т. д. Вопрос о том, преодолен ли кризис дисциплины, по-прежнему остается открытым. *Memory studies* продолжают являть собою удивительное по степени диверсификации исследовательское поле, не имеющее общего понятийного аппарата, методологии или признанных всеми предметов исследования. В то же время этот затянувшийся кризис сопоставим с кризисами исторических исследований или гуманитарных дисциплин вообще, констатация которых отнюдь не мешает их процветанию, появлению прорывных исследований и широко цитируемых книг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. — М., 2014.
2. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. — М., 2016.
3. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. — М., 2004.
4. Вельцер Х. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // *Неприкосновенный запас*. 2005. № 2–3 (40–41).
5. Дюркгейм Э. Индивидуальные и коллективные представления // Дюркгейм Э. Социология, ее предмет, метод и назначение. — М., 1995.
6. Ерушалми Й. Захор: еврейская история и еврейская память. — М., 2004.

7. *Йейтс Ф.* Искусство памяти. — СПб., 1997.
8. *Ле Гофф Ж.* История и память. — М., 2013.
9. *Нора П.* Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память. — СПб., 1999. С. 17–65.
10. *Нора П.* Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
11. *Портелли А.* Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история, миф, ритуал, символ // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
12. *Хальбвакс М.* Социальные рамки памяти. — М., 2007.
13. *Хаттон П. Х.* История как искусство памяти. — СПб., 2004.
14. *Armstrong E. A., Crage S.* Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth // *American Sociological Review*. 2006. Vol. 71, pp. 724–751.
15. *Assmann J.* Communicative and Cultural Memory // // *Erl A., Nünning A. (eds.). Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook.* — Berlin — New York, 2010.
16. *Carruthers M.* The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture. — Cambridge, 2008.
17. *Confino A.* Collective Memory and Cultural History: Problems of Method // *The American Historical Review*. Vol. 102, No. 5. — Dec., 1997.
18. *Coser L. A.* The Revival of the Sociology of Culture: The Case of Collective Memory // *Sociological Forum*. 1992. Vol. 7. No. 2.
19. *Erl A.* Travelling Memory // *Parallax.* — L., 2011. — Vol. 17, No. 4.
20. *Feindt G., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimcev R.* Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies // *History and Theory.* — Vol. 53. 2014. No. 1, pp. 24–44.
21. *Funkenstein A.* Collective Memory and Historical Consciousness // *History and Memory.* — Bloomington, 1989. — Vol. 1. No. 1.
22. *Garde-Hansen J.* Media and Memory. — Edinburg, 2011.
23. *Gedi N., Elam Y.* Collective Memory -What is it? // *History and Memory.* — Vol. 8. 1996. No. 1, pp. 30–50.
24. *Gensburger S.* Halbwachs' Studies in Collective Memory: A Founding Text for Contemporary 'Memory Studies'? // *Journal of Classical Sociology.* — Vol. 16, 2016, No. 4.
25. *Hoskins A., Barnier A., Kanstainer W., Sutton J.* Editorial // *Memory Studies.* — Vol. 1, Jan. 2008, pp. 5–7.
26. *Hoskins A., Barnier A., Kanstainer W., Sutton J.* Editorial // *Memory Studies.* — Vol. 1, Jan. 2008.
27. *Kansteiner W.* Finding Meaning in Memory. A Methodological Critique of Collective Memory Studies. // *History and Theory.* V. 41, 2002.
28. *Klein K. L.* On the Emergence of Memory in Historical Discourse // *Representations.* — No. 69, Special Issue: Grounds for Remembering. — Winter, 2000, pp. 127–150.
29. *Olick J., Robbins J.* Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic // *Annual Review of Sociology.* — Vol. 24 (1998), pp. 105–140.
30. *Olick J.* Between Chaos and Diversity: Is Social Memory Studies a Field? // *International Journal of Politics, Culture and Society.* — Vol. 22, 2009, No. 2, pp. 249–252.
31. *Olick J., Sier A., Wuestenberg J.* The Memory Studies Association: Ambitions and an invitation // *Memory Studies.* — Vol. 10, 2017, No. 4.

32. *Schwartz B.* Introduction: the Expanding Past // *Qualitative Sociology*. – Vol. 9, No. 3. – Fall 1996, pp. 275–282.
33. *Tulving E.* Are There 256 Different Kinds of Memory? // *J. S. Nairne (ed.) The Foundations of Remembering. Essays in Honor of Henry L. Roedinger, III.* – New York, 2007.
34. *Zelizer B.* Reading the Past Against the Grain: The Shape of Memory Studies // *Critical Studies in Mass Communication*. – Vol. 12, 1995, No. 213, pp. 234–235.
35. *Zierold M.* Memory and Media Cultures // *Erl A., Nünning A. (eds.) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook.* – Berlin – New York, 2010.

О. Ю. Малинова

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ КАК ОБЛАСТЬ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В статье анализируются различные способы концептуализации символической политики, в том числе особенности подхода, при котором политика памяти рассматривается в качестве области символической политики. Представлен обзор основных методологических инструментов, разработанных политологами, рассматривающими политику памяти как совокупность публичных взаимодействий акторов, заинтересованных в особом понимании прошлого, и анализирующими эти взаимодействия сквозь призму отношений власти и доминирования. Несмотря на очевидные различия терминологии и методик, работы по данной проблематике объединяет стремление понять механизмы трансформации коллективной памяти, связанные с конкуренцией ее интерпретаций и борьбой за гегемонию.

Ключевые слова: символическая политика, политика памяти, общественные дебаты, нарративы, коммеморации.

Современные исследования социальной памяти (*memory studies*) — междисциплинарное исследовательское поле, в разработке которого представители политической науки (*political science*)¹ участвуют с конца 1990-х гг. При этом они не всегда используют понятие «память», считая его недостаточно точным для эмпирического анализа политических явлений и процессов. Нельзя сказать, что данная проблематика относится к мейнстриму политической науки. Посвященные ей статьи чаще публикуются в междисциплинарных изданиях, фокусирующихся на конкретных регионах или предметных областях, нежели в ведущих политологических журналах. Канадские политологи Бенджамин Форест и Джулиет Джонсон справедливо усматривают причину такого положения вещей в том, что «в исследованиях памяти доминируют дисциплины и субдисциплины, которые отдают предпочтение интерпретирующим исследованиям, подчеркивающим уникальность или особенность случаев, тогда как в политической науке ценятся систематические сравнения и установление поддающихся обобщению причин» [Forest, Johnson 2011: 272]. Среди политологических исследований, относящихся к данной проблематике, есть и интерпретирующие *case*

¹ Слово «политолог», используемое в качестве русского эквивалента “*political scientist*”, имеет более широкое значение — его относят к различным видам деятельности, связанной с анализом политики. Политологами могут называть журналистов, пишущих на политические темы, или историков, обращающихся к современной проблематике. Мы будем использовать этот термин применительно к профессиональным исследователям, работающим в рамках методологических правил, сформировавшихся в политической науке.

studies, и сравнительные межстрановые исследования, следующие стандартным методологическим канонам. Однако позицию политической науки в этом междисциплинарном поле определяет не столько метод, сколько предмет. Внимание политологов сосредоточено на проблемах власти и доминирования: их интересует структура властных отношений, которая, с одной стороны, определяет возможности мнемонических акторов, а с другой — трансформируется их взаимодействиями, а также использование символических ресурсов для достижения различных политических целей — легитимации власти, конструирования идентичностей, мобилизации поддержки и т. п.

Все это часто описывается с помощью более привычного для политической науки термина «символическая политика». В этой статье мы охарактеризуем разные способы концептуализации символической политики, обсудим особенности подхода, при котором политика памяти рассматривается в качестве области символической политики, и проанализируем некоторые методологические инструменты, предложенные в рамках такого подхода.

Концепт символической политики: история и современные интерпретации

Отцом-основателем изучения символических аспектов политики по праву считается американский политолог Мюррей Эдельман. В книгах «Символическое использование политики» (1964 г.) и «Политика как символическое действие» (1971 г.) он попытался объяснить разрыв между теоретическими предположениями относительно функционирования политических институтов и тем, как они работают в действительности, анализируя смыслы, транслируемые политическими институтами и носителями политических ролей. Эдельман доказывал, что оптика доминирующей теории рационального выбора искажает реальные политические связи, ибо на практике действия правительства не столько удовлетворяют или не удовлетворяют запросы граждан, сколько влияют на их восприятие реальности, меняя их потребности и ожидания [Edelman 1971: 7–8]. По мысли Эдельмана, политическая наука должна исследовать не только «то, как люди получают от правительства то, чего они хотят» (отсылка к заглавию известной работы Г. Ласуэлла «Политика: Кто получает что, когда и как»), но и «механизмы, посредством которых политика влияет на то, чего они хотят, чего боятся, что считают возможным и даже кто они есть» [Edelman 1972 [1964]: 20].

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы. Тем не менее к настоящему времени существует солидное количество исследований, посвященных изучению символической составляющей политики, понятийный аппарат и методологический арсенал которых весьма разнообразен. Прилагательное «символический» широко применяется для описания политических явлений: исследователи рассуждают о «символическом использовании политики» и «политике как символическом действии» [Edelman 1971;

Edelman 1972 [1964]; Alexander, Mast 2006], «символической власти» и «символическом капитале» [Бурдые 2007], «символической политике» [Brysk 1995; Поцелуев 1999; Поцелуев 2012; Малинова 2010а; Малинова 2012], «символической деятельности как основе авторитета» [Smith 2002], «символическом оспаривании» [Gamson, Stuart 1992], «символических конфликтах» [Harrison 1995], а также о «символизме политики» [Gill 2013] и «символах в политике» [Мисюров 2004; Gill 2011; Fornäs 2012]. В большинстве этих словосочетаний прилагательное «символический» используется в расширительной трактовке: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических отношений. Вместе с ним некоторые авторы предпочитают говорить о «символах» в более строгом смысле — как о конвенциональных знаках, выражающих насыщенное и многомерное содержание; при этом нередко данное понятие понимается совсем узко (например, дело сводится к изучению государственной символики).

Концепт символической политики используется в конфликтологии, исследованиях публичной политики, политических коммуникаций, а также в работах, посвященных изучению коллективных действий. С ним давно работают и некоторые российские авторы [Поцелуев 1999; Мисюров 2004; Киселев 2006; Малинова 2013; Пушкарева 2015; обзор см: Ефремова 2015]. При этом предлагаются различные определения ключевого термина.

На наш взгляд, наиболее существенный концептуальный водораздел связан с пониманием символической политики в качестве противоположности «реальной» или в качестве ее специфического, но неотъемлемого аспекта.

Противопоставление «символических» и «материальных» аспектов политики связано с ее медиатизацией. В условиях, когда оценки публики зависят от репрезентации в СМИ, коммуникация становится относительно автономным видом политической деятельности. Это побуждает рассматривать манипулирование символическими ресурсами как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации рассматриваемое понятие было впервые введено в российский научный оборот С. П. Поцелуевым. Согласно его определению, символическая политика — это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов» [Поцелуев 1999: 62]. Так понимаемая символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений [там же]. Таким образом, данный подход сфокусирован на публичной репрезентации политического процесса, которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматриваются идеологические конструкции, которые создаются элитами для манипуляции сознанием масс.

Данный подход полезен, поскольку концептуализирует широко распространенное явление. Однако, будучи сосредоточен на целенаправленных действиях элит, он не учитывает некоторые важные аспекты политической коммуникации.

Во-первых, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, подчиняются их логике. Символическая составляющая политики не рефлексируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдьё называл «символической властью»² не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Как точно заметил Эдельман, «наиболее глубоко укорененные политические убеждения не формируются открытыми призывами принять их и не дебатуются в тех субкультурах, где их разделяют. Они создаются формой политического действия, гораздо более мощной, чем риторические разъяснения, и слишком значимы для людей, чтобы подвергать их сомнению в публичных дебатах» [Edelman 1971: 45]. Символическая политика не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реальности, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман [Бергер, Лукман: 1995].

Во-вторых, в поле символической политики действуют специфические механизмы, изучение которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются влиятельнее других, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как справедливо заметил Бурдьё, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства» [Бурдьё 2007: 93]. Постижение этой логики — едва ли не самая интересная задача для исследователей символической политики.

В-третьих, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты — он ориентирует и на изучение деятельности акторов, включенных в символическую борьбу за изменения снизу. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т. п. Однако, несмотря на эти эксклюзивные возможности, доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешиено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления» и «двоемыслия». Оспаривание существующего социального порядка — не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

² По Бурдьё, символическая власть — это «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и тем самым воздействовать на мир, а значит, сам мир...» [Бурдьё 2007: 95].

С учетом этого нам представляется продуктивным рассматривать *символическую политику* более широко — как *публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее, специфическим аспектом «реальной» политики.

Борьба за смыслы в современном мире не сводится к традиционной идеологической борьбе. Она выражается не только в словах, но и в делах (властных решениях, нормативных актах, протестных акциях и т. п.). В качестве ее инструментов выступают и вербально оформленные «идеи» (принципы, концепции, доктрины, программы и т. п.), и невербальные способы означивания (образы, жесты, графические изображения и др.). Поэтому при изучении символической политики требуется сочетать приемы анализа дискурсов, политических стратегий и технологий.

Теоретическая рамка, заданная широким пониманием символической политики, ориентирует на исследование *взаимодействий широкого круга акторов*, продвигающих различные интерпретации социальной реальности, которые могут конкурировать, сопрягаться или поддерживать друг друга. В логике различения, имеющего место в английском языке, такой фокус анализа можно обозначить как *symbolic politics*. В качестве акторов символической политики-*politics* могут выступать как группы, так и отдельные индивиды, если они способны производить интерпретации реальности, вызывающие общественный резонанс, и располагают ресурсами для их продвижения. С развитием информационных технологий доступ к таким ресурсам расширяется. Тем не менее ресурсы участников символической борьбы очевидно неравны. В силу этого особый интерес представляет поведение *институциональных акторов* — государства, Церкви, в некоторых случаях политических партий, — которые располагают существенными властными, экономическими и организационными ресурсами для продвижения собственного видения социальной реальности. Изучения *логики их символических действий* такой ракурс анализа можно было бы назвать *symbolic policy*.

Концепт символической политики может служить теоретической рамкой для анализа широкого спектра политических явлений и процессов. Он полезен для изучения легитимации и делегитимации власти, мобилизации поддержки, политики идентичности, протестных социальных движений и др. Однако особенно важной областью его применения является политика памяти.

Политика памяти как символическая политика

Политику памяти по праву можно считать одной из основных областей символической политики, ибо, как точно заметил П. Бурдье, для внедрения новых представлений о строении социальной реальности «самыми типичными

стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное «ограничить всегда открытый смысл настоящего» [Бурдые 2007: 79]. Неудивительно, что исследования символической политики часто фокусируются на работе с прошлым и будущим³.

Даже при беглом знакомстве с литературой по *memory studies* становится очевидно, что в ней есть много конкурирующих понятий для обозначения если не идентичных, то весьма сходных явлений и процессов: «историческая политика» [Heisler 2008; Torsti 2008; Миллер 2012], «политика прошлого» [Art 2006], «политика памяти» [Копосов 2012; Ачкасов 2013], «коллективная / общественная память» [Smith K., 2002; Müller 2004; Wertsch 2008; Mäliksoo 2009 и др.], «историческая память» [Boyd 2008; Winter 2008], «политическое использование истории» [Kangaspuro 2011], «режима памяти» [Langenbacher 2010; Onken 2007; Twenty years..., 2014], «культуры памяти» [Никжентайтис 2012; Журженко 2013], «игры памяти» [Mink 2008; Mink, Neumayer 2014] и др. Причем конвенции относительно содержания вышеперечисленных терминов отсутствуют. Поэтому прежде чем перейти к обсуждению методологии исследования политики памяти в качестве символической политики необходимо выстроить систему смежных понятий.

Политика работает не с прошлым (ибо это то, чего больше нет), а с *социальными представлениями о прошлом*. При этом она имеет дело не столько с *историей* — систематической реконструкцией прошлого, основанной на критическом отборе, — сколько с тем, что принято называть *коллективной памятью*, т. е. с социально разделяемым культурным знанием о прошлом, которое опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой и избирательностью. Нередко утверждают, что коллективная память оперирует *мифами* — упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым схемам и воспринимаются членами группы как нечто «очевидное». На наш взгляд, правильнее говорить об *актуализированном прошлом* (по-английски — *usable past*) как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик. Ядро этого репертуара образовано уже состоявшимися мифами, периферия же представляет собой пестрый набор не столь «самоочевидных», но узнаваемых смысловых конструкций.

³ Примечательно, что из пяти выпусков тематического сборника «Символическая политика», опубликованных ИНИОН РАН, три посвящены темпоральному измерению символической политики; при этом статьи о политике памяти имеются во всех пяти [Символическая политика 2012; Символическая политика 2014; Символическая политика 2015; Символическая политика 2016; Символическая политика 2017].

Продвигая или поддерживая определенные интерпретации коллективного прошлого, мнемонические акторы далеко не всегда ставят во главу угла формирование определенной концепции прошлого: они стремятся легитимировать собственную власть, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, укрепить солидарность группы, продемонстрировать несостоятельность оппонентов, приобрести материальные и организационные ресурсы и проч. В силу этого не все случаи *политического использования прошлого* могут быть описаны в терминах «исторической политики» или «политики памяти». Таким образом, политическое использование прошлого — наиболее широкая категория; она описывает любые практики обращения к историческому прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. Склонные к эмпирической точности политологи часто отдают предпочтение именно этому понятию, тем более что не включает проблематичного слова «память».

Термин «историческая политика» возник как категория политической практики — сначала в 1980-х гг. в ФРГ, затем в 2000-х гг. в Польше; он обозначает определенный тип политики, использующей прошлое. По определению А. Миллера, *историческая политика* — это особая конфигурация методов, предполагающая «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [Миллер 2012: 19].

Интерпретируемая таким образом историческая политика оказывается частным случаем *политики памяти*, которую мы предлагаем понимать как деятельность государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях — еще и законодательного регулирования.

Все три понятия — политическое использование прошлого, политика памяти и историческая политика — могут рассматриваться как проявления *символической политики*, т. е. публичной деятельности, связанной с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве (см. рис. 1).

На основе предложенной выше интерпретации символической политики можно сформулировать ряд теоретических презумпций для анализа коллективной памяти:

1. В современных, сложных по составу обществах память об исторических событиях гетерогенна: идентичности составляющих ее групп опираются на разные исторические мифы, что потенциально является основанием для конфликтов.

2. Коллективная память требует «опоры в виде символов, которые закрепляют воспоминания для будущего» и обеспечивают их «императивную общность» для следующих поколений [Ассман 2014: 32]. В формировании символического репертуара памяти — нарративов, образов, знаков, закрепленных



Рис. 1. Соотношение основных понятий.

в социально-культурной инфраструктуре — участвуют политики, писатели, кинематографисты, художники, журналисты и др. профессиональные группы, располагающие ресурсами для публичной артикуляции идей.

3. Политика памяти рассматривается как совокупность публичных взаимодействий мнемонических акторов, т. е. «политических сил, заинтересованных в особом понимании прошлого» [Twenty years... 2014: 4].

4. Ресурсы мнемонических акторов неравны; их распределение отражает структуру отношений власти и доминирования.

5. Гегемония тех или иных версий памяти о давнем или недавнем прошлом является динамическим результатом взаимодействия (конкуренции или конвергенции) разных нарративов.

Эти презумпции составляют теоретическую рамку, которая позволяет исследовать различные аспекты политики памяти — публичные споры об историческом прошлом, эволюцию позиций влиятельных акторов, формирование социально-культурной инфраструктуры памяти об исторических событиях, политику в области образования и многое другое. Ниже на примерах отдельных исследований мы проиллюстрируем возможности данного подхода и рассмотрим связанные с ним дополнительные методологические инструменты.

***Теория общественных дебатов (public debates)
как механизма политических изменений (Д. Арт)***

Для объяснения различий политики в отношении нацистского прошлого в ФРГ и Австрии Дэвид Арт сформулировал основы теории, которая представляет общественные дебаты (public debates) о прошлом как механизм изменения политики [Art 2006]. Споры об уроках прошлого распространены повсеместно. И это неудивительно, поскольку драматический двадцатый век оставил многим странам трудное наследие революций, гражданских войн, массового насилия и этнических чисток. Однако они имеют разные политические последствия. Это наблюдение послужило отправной точкой для поисков механизма, способного объяснить связь между спорами о прошлом и современными политическими процессами. Согласно теории Арта, общественные дебаты являются важным инструментом политических изменений, ибо они «формируют новые фреймы для интерпретации политических проблем, меняют идеи и интересы политических акторов, трансформируют структуру отношений между ними и переопределяют границы легитимного политического пространства» [Art 2006: 14].

Общественные дебаты Арт определяет как «совокупность интеллектуальных обменов между представителями политической элиты, о которых сообщают СМИ» [Art 2006: 30]. При этом он уточняет, что в качестве механизма политических изменений способны выступать не любые дискуссии, а те, которые отвечают критериям *широты, продолжительности и интенсивности*. *Широта* определяется составом участников (в действительно широкие общественные дебаты включаются все сегменты политического спектра), характером обсуждения (позиции не просто единожды высказываются, но повторяются, истолковываются и иногда модифицируются в ходе дискуссии) и характером освещения в СМИ (чтобы стать фактором политических изменений, дискуссии должны отражаться в общенациональных СМИ с разными идеологическими позициями и разной аудиторией, т. е. как в массовых, так и в интеллектуальных изданиях). *Интенсивность* указывает на частоту интеллектуальных обменов в ходе дискуссии (измеряется количеством текстов, отражающих разные мнения — редакционных статей, колонок комментаторов, писем читателей — в определенный период времени). Кроме того, чтобы стать фактором политических перемен, общественные дебаты должны быть достаточно *продолжительными*. Арт исследовал дебаты, которые длились по крайней мере год [Art 2006: 30–33].

Споры об уроках прошлого часто соответствуют перечисленным выше критериям. Для этого есть по крайней мере две причины. С одной стороны, прошлое — это «легкая» тема для дискуссии, ибо благодаря массовому школьному образованию и культурной инфраструктуре памяти многие считают себя достаточно компетентными, чтобы иметь собственное мнение об исторических событиях и фигурах [Art 2006: 3]. С другой стороны, особая значимость интерпретаций

прошлого определяется тем, что они содержат причинные утверждения о политике вообще. Обсуждая уроки истории, политические элиты фактически спорят о том, какие идеи и ценности должны направлять современное политическое сообщество [Art 2006: 15].

Арт выделяет три последовательных шага, описывающих механизм влияния общественных дискуссий на политическую среду:

1. Общественные дебаты формируют и консолидируют *фреймы* (упорядоченные наборы сообщений относительно определенного аспекта политического мира), которые, в свою очередь, влияют на политическое поведение и могут стать устойчивыми элементами политической культуры.

2. Общественные дебаты провоцируют сдвиги в мнениях элит: способствуют сближению их позиций или, напротив, разводят их по разные стороны баррикад. Крайние варианты их исходов — конвергенция и поляризация. Предсказывать такого рода исходы трудно; однако они весьма значимы для будущих конфликтов и для формирования массовых ориентаций.

Общественные дебаты меняют границы легитимного в представлении более широкого политического сообщества, причем делают это тремя способами: а) они формируют нечто вроде «политкорректности», определяя область приемлемых понятий и санкции в отношении нарушителей конвенций; б) вводят в политический дискурс прежде табуированные проблемы, тем самым расширяя границы приемлемого; в) могут создавать новые кодовые слова для старых идей, в результате чего меняется язык, на котором элиты, а затем и простые граждане обсуждают проблемы Art 2006: 1–2].

В качестве участников общественных дебатов Арт рассматривает политические элиты. При этом он подчеркивает, что элитам не всегда удается манипулировать массовыми ориентациями: публичные выступления политиков нередко приводят не к тем результатам, на которые они рассчитывали. Общественные дебаты открывают окна возможностей и для акторов с относительно слабыми ресурсами, например — гражданских активистов, давая им возможность усилить свое публичное присутствие и мобилизовать часть общества. В свою очередь, СМИ не только распространяют послания политических элит, они модифицируют их, вбрасывая в дискуссию новые темы [Art 2006: 2].

По Арту, «общественные дебаты запускают процессы, которые меняют политическую среду, в которой они происходят» [Art 2006: 3]. Таким образом, они могут рассматриваться в качестве механизма политических изменений. Теория Арта ориентирует на изучение того, как идеи создаются и изменяются в процессе общественных дебатов. Хотя стратегические расчеты здесь значимы, идеи, высказываемые в ходе обсуждения, также играют свою роль. При этом не обязательно побеждает сила аргументов: нередко популярность приобретают логически противоречивые интерпретации. Поэтому главным инструментом исследования идеационных изменений должен быть анализ самих дебатов: ни моделирование стратегических расчетов, ни логическая проработка аргументов

в жанре нормативной политической теории не объясняют политические исходы общественных споров.

Предложенная Артом теория *общественных дебатов как механизма политических изменений* является важным аргументом в методологической дискуссии о роли идеационных факторов в политике [подробнее см. Малинова 2010б]. Арт протестировал ее на примерах дискуссий о нацистском прошлом в Германии и Австрии в 1980-х — 2000-х гг. Он продемонстрировал связь между исходами этих дебатов и судьбой правых партий в этих странах. Разумеется, этого недостаточно для полноценного подтверждения теории. Однако мы имеем частично проверенную модель объяснения, которая может служить основой для последующих исследований.

Исследования нарративов

Главным форматом репрезентации прошлого как в историографии, так и в политическом дискурсе является *нарратив* — сюжетно оформленное повествование, предлагающие связную картину цепи исторических событий. Связность достигается за счет генеалогического принципа изложения, благодаря чему «событие отсылает к каким-то своим будущим последствиям (именно к последствиям, а не к причинам)» [Зенкин 2003]. Тем самым нарратив «объясняет», апеллируя к связям, которые предположительно прослеживаются «в самой истории». Отбор, в результате которого формируется смысловая схема нарратива, происходит имплицитно. Это делает нарратив особенно удобным для трансляции неявных идеологических сообщений [Зенкин 2003; Gill 2011; Gill 2013 и др.].

Исторические нарративы имеют сложно-составную структуру: они складываются из событий-фрагментов, которые могут быть развернуты в самостоятельные сюжетные повествования. «Объяснение» отдельных фрагментов определяется общей сюжетной линией (при этом одни и те же события могут встраиваться в разные нарративы). Согласно концепции польского социолога Ежи Топольски, связывание отдельных эпизодов (*narrative wholes*), образующих горизонтальную проекцию нарратива, происходит на трех уровнях: 1) информации, опосредованной воображением историка, 2) риторики, т. е. средств убеждения аудитории в правдоподобности смысловой схемы и 3) «политики», или «теоретико-идеологических оснований», включающих ценностно-мировоззренческие установки авторов нарратива [Topolski 1999: 202]. В отличие от профессиональной историографии, «политика памяти» работает с упрощенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия эмоционально окрашенным схемам. В той мере, в какой такие схемы принимаются в качестве «истинных» и служат основаниями групповых идентичностей, их можно считать мифами [Bottici, Challand 2006].

Политологи, исследующие политику памяти, не раз обращались к анализу нарративов, развиваемых разными мнемоническими акторами. Благодаря этому мы имеем широкий набор инструментов для работы с данным форматом репрезентации прошлого. Ниже мы рассмотрим методологический инструментарий трех исследований: анализ советского метанарратива в работах Грэма Гилла; понятие нарративного шаблона, использованное Джеймсом Верчем для анализа школьных учебников; и методику сравнения нарративов разных мнемонических акторов, разработанную Ольгой Малиновой для исследования коммеморации столетия революций 1917 г, в России.

Профессор Сиднейского университета Г. Гилл в двух последовательно изданных монографиях [Gill 2011; Gill 2013] исследовал формирование и распад того, что он называет «советским метанарративом» — «совокупности дискурсов, в упрощенной форме представляющих идеологию» [Gill 2011: 3]. Метанарратив — это средство трансформации идеологических принципов в практику повседневной реальности граждан; это символическая конструкция общества и объяснение его прошлого (почему оно стало тем, чем является) и будущего (куда оно стремится). Именно смыслы, содержащиеся в дискурсах метанарратива, придают содержание ритуалам режима. Метанарратив уже идеологии, но больше связан с жизнью людей.

По мысли австралийского политолога, «все режимы вырабатывают символические программы, которые стремятся зафиксировать существующие символические матрицы и артикулировать, что представляют собой и общество, и режим» [Gill 2011: 2]. Но распавшийся в 1991 г. СССР был необычным режимом: по степени проникновения идеологических способов мышления в разные сферы жизни он не имел равных среди идеократических режимов. В этом смысле российский случай не типичный, а скорее экстраординарный. Формирование нового видения общества, способного заменить разложившийся еще в позднесоветский период *метанарратив*, оказалось сложнейшей задачей, с которой, по мнению автора, постсоветской политической элите так и не удалось справиться [Gill 2011: 266].

Поскольку метанарратив сфокусирован на темпоральных связях между прошлым, настоящим и будущим, он конституирован *мифами*. Под этим термином Гилл понимает «социально сконструированные истории об обществе и его происхождении, которые обеспечивают членов сообщества смыслами, позволяющими объяснять важные аспекты жизни этого сообщества и его развитие» [Gill 2013: 4]. Миф социально сконструирован и является средством определения и объяснения социальной реальности для тех, кто в него верит. Другими словами, важно не то, каковы эмпирические основания мифа, а то, что он принят членами сообщества. Гилл выделяет шесть мифов, служивших основными элементами советского метанарратива; они связаны с Октябрьской революцией, строительством социализма, природой лидерства, внутренней и внешней оппо-

зицией курсу партии и победой в Великой Отечественной войне [Gill 2011: 4–5]. Следует отметить, что понятие мифа играет заметно бóльшую роль в первой книге, посвященной советской политике; во второй книге, посвященной изменениям постсоветского режима Гилл почти не пользуется этим инструментом. Описывая структуру «видения новой России», артикулируемого ее президентами, он говорит не о «мифах», но о «темах». Соотношение этих терминов не поясняется; можно, однако, предположить, что «темы» не стали «мифами», поскольку в силу разных причин общество не приняло предложенные ему истории прошлого — настоящего — будущего.

В своем исследовании Гилл сочетает анализ текстов и институциональных практик. Последний представляет для нас особый интерес ввиду того, что, признавая важность символических аспектов деятельности институтов [Edelman 1972 [1964], гл. 3], политологи не так уж часто исследуют его систематически. По мысли Гилла, в складывании системы символов, подкрепляющих новый порядок, большую роль играют не только идеи, артикулируемые заметными политическими фигурами, но и институциональные сигналы, посылаемые политической системой: последняя «порождает собственную институциональную культуру и набор символов и образов... Символизм такого рода играет решающую роль для понимания природы политической системы» [Gill 2013: 79–80]. Гилл справедливо отмечает, что в случае советского режима символическая репрезентация политической системы противоречила официальной риторике: несмотря на все заявления о демократии и народовластии, она больше напоминала «усталый авторитаризм» [Gill 2013: 80]. Следовательно, если бы 1991 г. действительно знаменовал решительный разрыв с прошлым, он должен был воплотиться в более открытой и партисипаторной политической системе. Однако этого не произошло. Гилл показывает это, анализируя символизм институтов президентства, Конституции, выборов, парламентаризма и партий, а также гражданского общества.

Институт президентства, созданный в 1991 г., в результате политических битв начала 1990-х обрел независимость от законодательной власти и стал «иерархическим центром» системы. Однако идея самостоятельной легитимности президента, избираемого народом, оказалась выхолощена: президентство превратилось в дар инкумбента наследнику. Вместе с тем выстраивавшаяся система символических репрезентаций настойчиво подчеркивала, с одной стороны, психологическое единство лидера и народа, способность лидера «понимать чаяния» людей и обращаться к ним напрямую, а с другой — разделяющую их дистанцию. Гилл показывает это, анализируя эволюцию имиджей трех глав российского государства. Прочность символизма этого института подтверждается тем, что и при «слабом» Медведеве в рамках сложившейся институциональной культуры президент оставался ключевым звеном политической системы. Вместе с тем сохранение сильного влияния Путина в период «тандема» лишь подкрепляло представление о том, что страну направляют не институциональные правила, а воля сильного лидера.

Весьма противоречивым оказался символизм такого элемента, как правила игры, воплощенные в Конституции: по некоторым важным вопросам авторитет Основного закона неукоснительно признавался политическими акторами, однако в повседневном функционировании политической системы предписания Конституции не играли большой роли, поскольку *modus operandi* определялся практиками, не соответствующими ее духу. В результате символизм Основного закона «не способствовал возникновению нарратива, подчеркивающего образ общества, основанного на институциональных правилах» [Gill 2013: 109].

То же можно сказать и о символических эффектах основных каналов народного влияния — выборов, партий и законодательной власти. В постсоветский период упрочилась символическая связь выборов и демократии, присутствовавшая и в советском метанарративе. Правда, в 2000-е гг. произошло смещение акцентов: если в 1990-х гг. народное голосование представлялось как выбор пути развития, то теперь оно трансформировалось в поддержку лидера и того, что он символизирует. Образ выборов как центрального элемента демократии подрывали и фальсификации, масштаб которых последовательно нарастал. Противоречивый символизм этого элемента институциональной культуры политической системы усугублялся очевидным разрывом между демократической риторикой и реальными практиками функционирования законодательной власти и партий. «Вместо того чтобы составлять нарратив развития стабильных демократических институтов, функционирование соответствующих частей политической системы упрочивало образ персонализированной политики, сосредоточенной на президенте» [Gill 2013: 122]. К тому же выводу автора приводит анализ институциональной культуры гражданского общества (последнее интерпретируется как совокупность автономных групп, способных отстаивать свои интересы в публичной сфере).

Результаты исследования показывают, что символический образ политической системы постсоветской России отличается преемственностью; однако векторы его развития отнюдь не соответствуют идеалу открытой и партиципаторной политической системы, заявленному в начале 1990-х гг. Центральным символом политической системы и ее центральным институтом является президент, который существенно дистанцирован от простых людей. С передачей власти от Ельцина Путину, от Путина Медведеву и обратно нарастает впечатление перехода от беспорядочности к стабильности и системности, укрепляется «образ нарастающей регулярности». Однако «отсутствие соответствия между символизмом демократии и символизмом, проистекающим из *modus operandi* системы, порождает символическую непоследовательность (incoherence)», которая оказывается одним из препятствий для создания цельного метанарратива, способного стать полноценной заменой советскому [Gill 2013: 127].

Американский политический антрополог Дж. Верч предложил методологию анализа *нарративных шаблонов* (schematic narrative templates). Стремясь выйти за рамки узко понимаемых категорий индивидуальной и коллективной памяти, он предпочитает говорить о *коллективном припоминании* (collective remembering). Согласно его концепции, то, что обычно описывается как коллективная память, в действительности представляет собой процесс, складывающийся из речевых и неречевых действий, опосредованных текстами (mediated actions). Коллективное припоминание опирается на *культурно опосредованное действие и текстовые ресурсы*. Оно становится коллективным благодаря тому, что индивиды принадлежат к особому рода группам, объединенным опорой на примерно одни и те же тексты. Вслед за медиевистом Брайаном Стоком Верч называет их *сообществами текстов* (textual communities) — «коллективами, чье мышление и действие укоренено в писанных текстах» [Wertsch 2002: 28]. При этом укорененность не обязательно предполагает чтение — индивиды могут не читать конкретный текст, но участвовать в деятельности сообщества и иметь доступ к текстовому материалу, вокруг которого организована группа. Признавая существенные различия контекста, Верч считает понятие сообщества текста применимым и для современных государств, которые стремятся конструировать нации с помощью производимых ими официальных исторических нарративов, подобно тому как средневековая церковь формировала христиан в качестве общества, основанного на Библии [Wertsch 2002: 29]. Заметим, однако, что очевидная гетерогенность современных сообществ, опирающихся на множество *разных* текстов, может оказаться существенным препятствием для эмпирического анализа. Верч берет в качестве «официальных текстов», производимых государством, школьные учебники. На наш взгляд, не очевидно ни то, что школьные учебники 1990-х гг. могут рассматриваться в качестве «официальных текстов» (ибо они были разными и писались отнюдь не «государством»), ни то, что они действительно образовывали сообщества текстов (практики преподавания истории в рассматриваемый период варьировались от школы к школе).

Пытаясь обнаружить специфические формы, опосредующие связи между нарративами, которые производят государства, и потребляющими их индивидами и группами, Верч вводит понятие нарративного шаблона (schematic narrative templates), которое позволяет сосредоточить внимание не на свойствах конкретных нарративов, а на паттерне, который в них воплощен. Одним из источников вдохновения послужила работа Владимира Проппа о морфологии волшебной сказки. Однако, в отличие от своего предшественника, Верч предпочитает классифицировать «общую линию рассуждений», а не функции персонажей. Он рассматривает нарративные шаблоны как обобщенные абстрактные формы, которые лежат в основе разных нарративов, производимых в рамках одной и той же культурной традиции [Wertsch 2002: 60–61]. Коллективное припоминание опирается на специфический набор нарративных шаблонов, которые образуют «наследие прошлого» в том смысле, в каком о нем говорит

Д. Лоуэнталь [Лоуэнталь 2004]. Верч видит в нарративных шаблонах «уникально национальные способы объяснения» [Wertch 2002: 62; ср. Верч 2017], которые воспроизводятся в сообществах, объединенных текстами. Заметим, что такой механизм воспроизводства коллективного припоминания требует эмпирической проверки.

Верч протестировал его на примере российских школьных учебников 1990-х гг., продемонстрировав, что при всем многообразии подходов все они воспроизводят для описания ключевых исторических событий традиционный нарративный шаблон «победы-над-враждебными-силами». Американский антрополог видит в этом один из факторов «преемственности в разгар великих перемен» [Wertsch 2008: 88]. Следует, однако, отметить, что эмпирическое подтверждение воспроизводства нарративного шаблона само по себе не может служить надежным доказательством причинной связи в логике тропы зависимости (которую пытается продемонстрировать Верч). Примененный им метод позволял выделить фрагменты текстов, отвечавшие гипотетической модели нарративного шаблона. Однако он не был нацелен на выявление конкурирующих смысловых конструкций. Впрочем, этот недостаток можно минимизировать, если не ограничиваться работой с единственным нарративным шаблоном.

Иной подход к работе с нарративами был предложен автором этих строк для изучения коммеморации столетия революций 1917 г. в России. Мы попытались найти способ сравнения нарративов, развиваемых разными мнемоническими акторами. Эта задача затрудняется тем, что композиция каждого такого рассказа (и пересказа) индивидуальна. Предложенный нами подход опирается на принцип, согласно которому нарративы, описывающие «один и тот же» исторический процесс, должны иметь общие структурные характеристики, связанные как с общей логикой мнемонического дискурса, так и с фактологией описываемых событий. Для сравнения юбилейных нарративов о революциях 1917 г. были использованы следующие основания:

1) *основная идея*, выступающая стержнем повествования и, как правило, связанная с миссией / политической программой / идентичностью соответствующего мнемонического актора;

2) *сюжетная линия*: в большинстве рассматриваемых нарративов она сосредоточена на истории трагедии и травмы, пережитой Россией в XX в.; при этом момент травмы и ее причины видятся по-разному;

3) *элементы-события*, между которыми выстраиваются перспективные связи (то, о чем «забывают», не менее важно, чем то, о чем «вспоминают»);

4) *основные действующие лица*: протагонисты / герои / делатели и антагонисты / враги / вредители; нередко подразумевается связь между действующими лицами исторических нарративов и современными *мнемоническими антагонистами* акторами;

5) *уроки*, которые предлагается вынести из исторического опыта.

Применение этих критериев позволило выявить сходства, различия и пересечения в нарративах ключевых мнемонических акторов.

Во-первых, оказалось, что хотя рассказы всех мнемонических акторов сосредоточены на трагедии, пережитой Россией в XX в., они по-разному ее атрибутируют: для одних (РПЦ, «Яблоко», «СР») главная трагедия — последствия революции(й) 1917 г., для других (властвующая элита, КПРФ, «консерваторы») — распад СССР и поражение в «холодной» войне.

Во-вторых, примечательны различия в интерпретации событий 1917 г.: для кого-то важно различать Февраль и Октябрь, ибо перспективы двух революций оцениваются диаметрально противоположно (для КПРФ и «консерваторов» либеральный Февраль — катастрофа, великий Октябрь — путь к спасению; для «Яблока» — наоборот), для кого-то (властвующая элита, РПЦ) это единый «круговорот», имевший общие негативные последствия.

В-третьих, «сворачивание» нарративов в политических текстах предполагает селекцию значимых эпизодов. Нарративы, которые более или менее апологетически описывают советский режим, «забывают» про политические репрессии и другие его «издержки» (КПРФ). Следуя обратной логике, «яблочный нарратив» не поднимает темы Великой Отечественной и «холодной» войн. Вместе с тем все мнемонические акторы в юбилейном контексте избегают говорить о периоде «застоя» и единодушно негативно рассматривают опыт 1990-х гг. Сравнительный анализ особенно наглядно демонстрирует мифологизирующий подход, характерный для политического использования прошлого: каждая из конкурирующих историй «вспоминает» и «забывает» то, что отвечает целям мнемонического актора.

В-четвертых, большинство акторов отрицательно относятся к революции как способу социальных изменений.

Таким образом, сравнительный анализ нарративов позволяет сделать вывод о конфликтном, фрагментированном режиме памяти о событиях 1917 г. Вместе с тем он демонстрирует наличие важных пересечений между нарративами властвующей элиты и коммунистов, выступавших главными оппонентами по данному вопросу, что помогает объяснить относительный успех официальной линии на «примирение и согласие» [Малинова 2018б].

Коммеморации исторических событий как символическая политика

Важным элементом символической политики является публичная *коммеморация* исторических фигур или событий — совокупность публичных актов их «вспоминания» и (пере)осмысления в современном контексте. Коммеморация может иметь разную смысловую модальность: она не обязательно является актом торжества, предполагающим отмечание / празднование — она также может служить актом скорби / почитания памяти мертвых. Этим обусловлено

заимствование иноязычного термина: в русском языке нет общего понятия для обозначения разных модальностей коллективного «вспоминания» прошлого. Во всех случаях публичное напоминание вписывает прошлое в контекст настоящего (актуализирует его) и тем самым подтверждает «преемственность» группы во времени.

Как верно заметили Бернхард и Кубик, «вспоминание прошлого, особенно коллективное — это всегда политический процесс» [Twenty Years... 2014: 3]. Коммеморация — это всегда процесс отбора того, что подлежит вспоминанию и забвению. «Вспоминается» то, что кажется важным с позиций настоящего. «Забывается» то, что представляется «детальями» или «случайностями». Логика «вспоминания» и «забвения» учитывает не только «правду» исторических фактов, но и связанные с ними эмоции. Как справедливо заметили Т. Энсинк и К. Соэр, «забвению, в частности, подлежат тогдашние чувства — ненависть, resentment, вина, триумф или реванш, наполняющие индивидуальную или коллективную память сильными эмоциями и не оставляющие места для других тем памяти», если они «в настоящее время более не представляются полезными» [The Art of Commemoration... 2003: 7]. Однако установки мнемонических акторов на этот счет могут не совпадать, что является дополнительным основанием для конфликтов «памятей».

Коммеморация исторического события опирается на сложившуюся *социально-культурную инфраструктуру памяти* и вместе с тем предполагает ее достраивание. Элементами такой инфраструктуры являются памятники, музеи и мемориальные комплексы, государственные праздники, публичные ритуалы, топонимия пространства, произведения литературы и искусства, знаки, символизирующие солидарность (ленты, цветы и проч.). Все это служит для мнемонических акторов символическими ресурсами, но одновременно может создавать ограничения, особенно если предлагаемая ими интерпретация события существенно отличается от устоявшейся.

Публичное «вспоминание» прошлого в значительной мере подчинено календарной логике. Это особенно очевидно в случае таких его форм, как праздники и юбилеи. *Праздники*, учреждаемые в честь наиболее важных исторических событий, служат ежегодными публичными напоминаниями о них. Они способствуют формированию особых практик празднования, публичных и приватных [Ефремова 2014]. Наиболее устойчивые из них становятся *ритуалами* (по определению Д. Кертцера, таковыми следует считать социально стандартизированные и повторяющиеся символические действия [Kertzer 1988: 9]⁴). Существует определенный набор ритуалов памяти, используемых в разных кон-

⁴ С точки зрения исследователя символической политики, интерес представляют не только состоявшиеся праздники, но и неудавшиеся попытки закрепления памяти об исторических событиях. В этом смысле весьма интересен анализ попыток коммеморации победы демократических сил в августе 1991 г. в России, представленный в фундаментальной работе Кэтлин Смит [Smith 2002: 30–56].

текстах (возложение цветов и венков, вынос / поднятие флага, зажжение огня, факельные шествия, салюты и фейерверки, публичное чтение списков погибших и т. п.). Наличие привычных ритуалов в какой-то мере можно считать показателем укорененности праздника. Включая индивидов в коллективное действие, ритуалы способны оказывать на них сильное эмоциональное воздействие [Kertzer 1988: 10–11]. Благодаря своей стандартизированной и повторяемости они служат надежным инструментом социализации. С течением времени праздничный репертуар требует обновления.

Наиболее важными поводами для коммеморации считаются «*круглые даты*» — десятилетия, фазы, кратные четверти/половине века, столетия. Символизируя дистанцию, отделяющую нас от исторического события, юбилеи «приглашают» к подтверждению его связи с настоящим.

Однако не все формы коммеморации привязаны к календарному циклу. Учреждение мемориалов и музеев, установка и демонтаж памятников, выбор названий / переименование улиц и площадей, предложения об учреждении новых праздников и памятных дней и т. п. не только способствуют трансформации социально-культурной инфраструктуры памяти, но и стимулируют коллективное «вспоминание» и (пере)оценку исторических событий. Инициативы такого рода могут быть обусловлены и сугубо прагматическими соображениями. К примеру, нередки случаи, когда депутаты Государственной думы вносят предложения об изменениях в Федеральном Законе «О днях воинской славы и памятных датах России», дабы напомнить о себе СМИ. Вместе с тем изменение инфраструктуры памяти — едва ли не самый важный инструмент политики памяти. Неудивительно, что перенос памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне (Бронзового Солдата) в Таллине, решения о создании и закрытии Музея Второй мировой войны в Гданьске, недавняя установка памятников князю Владимиру в Москве и Ивану Грозному в Орле, свержение памятников Ленину в Украине и героям-конфедератам в США вызывает столь бурные споры.

В том же смысле роль публичного напоминания могут играть и культурные события — появление фильма или книги, открытие выставки произведений искусства, посвященных исторической теме. А. Эткинд проводит различие между «твердыми» (памятники) и «мягкими» (тексты) формами памяти [Эткинд 2016: 228]. Это наблюдение весьма полезно в качестве отправной точки для понимания особенностей различных коммеморативных практик. Однако в качестве основания для классификации таких практик оно представляется нам недостаточным, поскольку не учитывает роль деятельностных компонентов инфраструктуры памяти — праздников, политических ритуалов, юбилейных мероприятий, памятных речей и т. п., которые играют существенную роль в символической политике.

С учетом вышесказанного очевидно, что коммеморации исторических событий — один из удобных для анализа моментов политики памяти. Неудивительно, что этой теме посвящено немало исследований, в том числе — сравнительных.

Больше всего внимания уделяется *памятным (commemorative) речам*, для анализа которых предложены разнообразные методики. Памятные речи относятся к классу эпидейктической риторики, основной функцией которой является восхваление или порицание (в данном случае — деяний прошлых поколений). Считается, что эпидейктическая риторика служит средством самопрезентации спикеров: она демонстрирует их ораторские таланты и способность эмоционально воздействовать на слушателей. По мнению Водак и Де Чиллиа, она «также имеет «воспитывающую» функцию, т. е. стремится передать определенные политические ценности и убеждения, дабы создать общие характеристики и идентичности, сформировать консенсус и дух сообщества, который, в свою очередь, должен служить моделью для будущих политических действий адресатов» [Wodak, De Cillia 2007: 346–347]. В отличие от программных выступлений, памятные речи не ставят непосредственной целью легитимацию действий власти; их функции — скорее представительские: официальное лицо от имени государства воздает хвалу (или порицание) группе / сообществу, соответствующим образом оценивая ее деяния и качества. Данный формат оставляет спикеру достаточно большой простор для творчества: ведь единственное, что предопределено, — это событие, которое оказывается темой речи [The art of commemoration... 2003: 29]. Его оценка, выбор того, что надлежит вспоминать и о чем умалчивать, как выстраивать его связи с настоящим — остаются за теми, кто готовит речь.

Памятные речи можно исследовать под разными углами. Например, исследование речей участников коммеморации 50-летия варшавского восстания в 1994 г., проведенное под руководством Т. Энсинка и К. Соьера, зафиксировало важный поворотный момент в восточноевропейской политике памяти, когда ялтинские границы оказались в прошлом, и начался процесс переопределения недавнего прошлого. Сравнительный дискурсивный анализ опирался на методику, которая предполагала учет позиции спикера (кто и каким образом представлял ту или иную страну), выявление риторических особенностей речи и описание коммуникативной процедуры. Столь подробная схема позволила зафиксировать мельчайшие особенности позиций спикеров, определявших, что и как надлежит помнить в новом контексте [The art of commemoration... 2003: 21–34].

В методике Р. Водак и Р. Де Чиллиа, предназначенной для изучения эволюции официальных нарративов о «возрождении Второй Австрийской Республики», особое внимание уделяется использованию метафор, включению / исключению в нарратив социальных акторов, дискурсивным стратегиям и их лингвистической реализации [Wodak, De Cillia 2007].

В нашем собственном исследовании основной упор был сделан на выявлении тематического репертуара памятных речей президентов РФ, эволюция которого отражает изменение представлений властвующей элиты о том, какие эпизоды отечественной истории следует «актуализировать» для политического использования [Малинова 2015].

Изучение речей дает возможность выявлять особенности артикулируемых в них нарративов и видеть их эволюцию, а также сравнивать дискурсы мнемонических акторов, однако оно не позволяет проследивать их взаимодействие и фиксировать их влияние на представления сограждан.

Принципиально иной, акторно-ориентированный подход был предложен в сравнительном исследовании коммемораций 20-летних годовщин падения коммунистических режимов в Восточной Европе под руководством М. Бернхарда и Я. Кубика. Участники данного проекта сосредоточились на выявлении типов мнемонических режимов, складывавшихся по поводу коммеморируемого события. Согласно их теории, *мнемонический режим*, т. е. «доминирующая модель политики памяти, которая существует в данном обществе в данный момент в отношении конкретного исторического события или процесса, имеющего важные последствия (highly consequential)» определяется конфигурацией мнемонических акторов [Twenty Years... 2014: 4, 17]. В ходе сравнительного исследования были определены мнемонические режимы, в рамках которых происходила коммеморация 20-летия падения коммунистических правительств в Восточной Европе. После чего участники проекта попытались выявить факторы, обусловившие формирование разных мнемонических режимов с помощью качественного сравнительного анализа. Результат оказался достаточно предсказуемым: общие паттерны удалось обнаружить в отношении политической формы мнемонических режимов, но не в отношении культурного содержания коммемораций. Оказалось, что «каждая страна праздновала на свой лад», поскольку решающее значение имели «главные размежевания» ее национальной культуры [The art of commemoration... 2003: 285].

Представляется, что проблема анализа культурного содержания коммемораций является узким местом данной методики. Между тем она важна, поскольку эффективность усилий мнемонических акторов в немалой степени определяется качествами предлагаемого ими «символического продукта» — его семантическим и культурным соответствием представлениям и потребностям адресных групп, его «правдоподобностью» и привлекательностью «художественного исполнения».

Для более комплексного изучения коммеморации как результата взаимодействия мнемонических акторов представляется целесообразным дополнить анализ стратегий, играющий центральную роль в методике Бернхарда и Кубика, сравнением конкурирующих нарративов (см. выше), а также оценкой их последствий для трансформации социально-культурной инфраструктуры памяти. Для решения третьей задачи может использоваться анализ инициатив по дополнению / изменению инфраструктуры памяти, а также изучение символического контекста церемоний (место их проведения, символическое оформление, конструирование/воспроизводство ритуалов и т. п.). Эти три элемента включены в предлагаемую нами модель анализа коммеморации (см. рис. 2) [Малинова 2017].



Рис. 2. Три составляющих анализа коммеморации исторического события.

Данная методология достаточно трудоемка. Поэтому ее целесообразно использовать для изучения коммеморативных актов, которые могут существенно трансформировать мнемонический ландшафт.

«Монументальная» политика: исследования памятников

Завершая этот обзор, следует упомянуть о еще одном направлении исследований, возникшем на стыке политической науки и географии — изучении символических трансформаций публичного пространства. Политические перемены часто отражаются в символической структуре городской среды — установке и демонтаже памятников, переименовании улиц и площадей, архитектурных решениях, которые вносят новую смысловую логику в уже сложившиеся пространства. Подобные действия существенным образом меняют культурную инфраструктуру коллективной памяти, поскольку они имеют относительно долговременные последствия. Вместе с тем в случаях трансформации общественного пространства отчетливо проступает властная основа символической политики: изменения такого рода наглядно отражают распределение власти и специфику процедуры принятия решений. Нельзя сказать, что этот аспект символической

политики часто пользуется вниманием политологов⁵ — им гораздо больше занимаются урбанисты [Huyssen 2003] и историки [Nora 1996]. Однако именно здесь мы имеем попытку применить классический инструментарий сравнительной политологии к «монументальной политике».

Речь идет об исследовательском проекте канадских исследователей Бенджамин Форе́ста и Джулиет Джонсон, посвященном сравнительному анализу случаев установки / демонтажа / трансформации памятников в столицах посткоммунистических стран Восточной Европы и новых независимых государств, возникших после распада СССР. Форест и Джонсон рассматривают памятники и как символический капитал, за который ведут борьбу акторы, и как общественное благо, которое индивиды могут беспрепятственно потреблять. Таким образом, «создавая, изменяя, оспаривая, игнорируя или перенося те или иные памятники, политические акторы включаются в символический диалог друг с другом и с публикой; тем самым они стремятся приобрести символический капитал — престиж, легитимность и влияние, которые сулит им связь со статусными идеями или фигурами» [Forest, Johnson 2011: 273].

Особенностью данного исследовательского проекта является то, что его авторы выбрали хрестоматийный для политической науки, но нетипичный для символической политики метод сравнения с большим количеством случаев. Исследования такого рода не позволяют углубляться в детали, зато дают возможность зафиксировать закономерности связей между заранее выбранными переменными. В рамках проекта Фореста и Джонсон была создана база данных, каталогизирующая случаи создания, изменения, перемещения или разрушения памятников с 1985 по 2010 г. Анализируя ее, Форест и Джонсон попытались найти закономерности «монументальной» политики в посткоммунистическом контексте. Их исследование выявило один интуитивно очевидный и один интуитивно неочевидный паттерн. Во-первых, оказалось, что соотношение частных (т. е. исходящих от общественности) и официальных (т. е. исходящих от должностных лиц государства) инициатив в области установки / демонтажа / изменения памятников зависит от политического режима: если в демократиях соотношение первых и вторых 1 : 1, то в автократиях — 1 : 3. Во-вторых, соотношение (материальных) дел и (дискурсивных) намерений также оказалось зависимым от типа режима. Однако здесь паттерн оказался сложнее: и в демократических, и в авторитарных режимах намерения чаще воплощаются в действие, а вот в гибридных режимах слова превалируют над делами. Форест и Джонсон объясняют эту закономерность, с одной стороны, относительной слабостью государства, в силу которой и официальным, и частным группам оказывается сложнее манипулировать символическим ландшафтом; а с другой

⁵ В качестве одного из немногих примеров можно привести главу из книги Кэтлин Смит, анализирующую «лужковские» преобразования в Москве как отражение символической политики постсоветского режима [Smith 2002: 102–130].

стороны — неустойчивой идентичностью, которая легко становится предметом оспаривания [Forest, Johnson 2011: 280–282].

Обнаруженные в этом исследовании закономерности, несомненно, любопытны. Однако их интерпретация сталкивается с проблемой неоднозначности контекста. Так, сами авторы признают, что частная инициатива не всегда «лучше» официальной: «...напротив, во многих случаях частные попытки изменения или создания памятников... либо не способствуют укреплению гражданского видения государства и нации, либо активно утверждают нетерпимость» [Forest, Johnson 2011: 282]. В конечном счете Форест и Джонсон признают, что «для более полного понимания кросс-национальных паттернов действий в отношении памятников нужен интерпретативный анализ конкретных случаев и качественные кейс-стади» [Forest, Johnson 2011: 284]. Однако нельзя не отдать должного их попытке применить к изучению данной области типичный для мейнстрима политической науки сравнительный и количественный подход.

Заключение

Представленный обзор методологических инструментов, разработанных политологами, исследовавшими формирование коллективной памяти как область символической политики, не является исчерпывающим. Однако он дает некоторое представление о возможностях подхода, рассматривающего политику памяти как совокупность публичных взаимодействий акторов, заинтересованных в особом понимании прошлого, и анализирующего эти взаимодействия сквозь призму отношений власти и доминирования. Несмотря на очевидные различия терминологии и методик, эти работы объединяет стремление понять механизмы трансформации коллективной памяти, связанные с конкуренцией ее интерпретаций и борьбой за гегемонию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. — М., 2014.
2. Ачкасов В. А. «Политика памяти» как инструмент конструирования постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2013. Т. XVI. № 4 (69). С. 106–123.
3. Верч Джеймс. Нарративные инструменты, истина и быстрое мышление в национальной памяти: мнемоническое противостояние между Россией и Западом по поводу Украины. URL: Режим доступа: http://istorex.ru/page/verch_d_narrativnie_instrumenti_istina_i_bistroe_mishlenie_v_natsionalnoy_pamyati_mnemonicheskoe_protivostoyanie_mezhdu_rossiy_i_zapadom_po_povodu_ukraini
4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.
5. Бурдые П. Социология социального пространства. — М.-СПб., 2007.
6. Ефремова В. Н. Государственные праздники как инструменты символической политики: возможности теоретического описания // Символическая политика.

- Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. — М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 66–79.
7. *Ефремова В. Н.* О некоторых теоретических особенностях исследования символической политики // Символическая политика. Вып. 3: Политические функции мифов. — М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 50–65.
 8. *Журженко Т.* «Общая победа»? «Чужая война»? Национализация памяти о Второй мировой войне в украинско-российском приграничье // Пути России. Историзация социального опыта / Т. XVIII. — М., 2013. С. 93–125.
 9. *Зенкин С.* Критика нарративного разума // Новое литературное обозрение. — 2003. № 59.
 10. *Киселев К. В.* Символическая политика: власть vs. общество. — Екатеринбург, 2006.
 11. *Копосов Н. Е.* Память строгого режима. История и политика в России. — М., 2011.
 12. *Лоуэнталь Д.* Прошлое — чужая страна. — СПб., 2004.
 13. *Малинова О. Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. — 2010а. № 2. С. 90–105.
 14. *Малинова О. Ю.* Идеи как независимые переменные в политических исследованиях: в поисках адекватной методологии // Полис. Политические исследования. — 2010б. № 3. С. 90–99.
 15. *Малинова О. Ю.* Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. — М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 5–16.
 16. *Малинова О. Ю.* Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России. — М., 2013.
 17. *Малинова О. Ю.* Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М., 2015.
 18. *Малинова О. Ю.* Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа // Полития. — 2017, № 4. С. 6–22.
 19. *Малинова О. Ю.* Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: анализ стратегий ключевых мнемонических акторов // Полис. Политические исследования. — 2018а. № 1. С. 9–25.
 20. *Малинова О. Ю.* Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: сравнительный анализ соперничающих нарративов // Полис. Политические исследования. — 2018б. № 2. С. 37–56.
 21. *Миллер А. И.* Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. — М., 2012. С. 7–32.
 22. *Никжентайтис А.* Модели памяти и культурных воспоминаний: Польша, Литва, Россия, Германия // Слово.ру: Балтийский акцент. — 2012. № 3. С. 17–32.
 23. *Поцелуев С. П.* Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. Политические исследования. — 1999. № 5. С. 62–76.
 24. *Поцелуев С. П.* «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. — М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 17–53.
 25. *Пушкарева Г. В.* Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. Политические исследования. — 2015. № 1. С. 55–70.

26. Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. — М.: ИНИОН РАН, 2012.
27. Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. — М.: ИНИОН РАН, 2014.
28. Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 3: Политические функции мифов. — М.: ИНИОН РАН, 2015.
29. Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 4: Социальное конструирование пространства. — М.: ИНИОН РАН, 2016.
30. Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 5: Политика идентичности. — М.: ИНИОН РАН, 2017.
31. *Эткинд А.* Кривое горе: Память о непогребенных. — М., 2016.
32. *Alexander J. C., Mast J. L.* Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice // *The Cultural Pragmatics of Symbolic Action*. — Cambridge, 2006. P. 1–28.
33. *Bottici Ch., Challand B.* Rethinking Political Myth: The Clash of Civilizations as a Self-Fulfilling Prophecy // *European Journal of Social Theory*. — 2006. Vol. 9. No. 3. P. 315–336.
34. *Boyd C. P.* The Politics of History and Memory in Democratic Spain // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. — 2008. No. 617. P. 133–148.
35. *Brysk A.* “Hearts and Minds”: Bringing Symbolic Politics Back in // *Polity*. — 1995. Vol. 27. No. 4. P. 559–585.
36. *Edelman M.* Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence. — Chicago, 1971.
37. *Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics. 5th ed. — Urbana, 1972 [1964].
38. *Forest B., Johnson J.* Monumental Politics: Regime Type and Public Memory in Post-Communist States // *Post-Soviet Affairs*. — 2011. Vol. 27. No. 3. P. 269–288.
39. *Fornäs J.* Signifying Europe. — Chicago, 2012.
40. *Gamson W. A., Stuart D.* Media Discourse as a Symbolic Contest: the Bomb in Political Cartoons // *Sociological forum*. — 1992. Vol. 7. No. 1. P. 55–86.
41. *Gill G.* Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. — Cambridge, 2011.
42. *Gill G.* Symbolism and Regime Change in Russia. — Cambridge, 2013.
43. *Harrison S.* Four Types of Symbolic Conflict // *The Journal of Royal Anthropological Institute*. — 1995. Vol. 1. No. 2. P. 255–272.
44. *Heisler M. O.* The Political Currency of the Past: History, Memory, and Identity // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. — 2008. Vol. 617. No. 1. P. 14–24.
45. *Huyssen A.* Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory. — Stanford, Ca., 2003.
46. *Kangaspuro M.* The Victory Day in History Politics // *Between Utopia and Apocalypse. Essays on Social Theory and Russia* / Ed. by E. Kahla. — Jyvaskyla, 2011. P. 292–304.
47. *Kertzer D. I.* Ritual, Politics, and Power. — New Haven, etc., 1988.
48. *Langenbacher E.* Collective Memory as a Factor in Political Culture and International Relations // *Power and the Past. Collective Memory and International Relations* / Ed. by E. Langenbacher, Y. Shain. — Washington, 2010. P. 13–49.
49. *Mälksoo M.* The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // *European Journal of International Relations*. — 2009. Vol. 15. No. 4. P. 653–680.
50. *Mink G.* Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms // *Czech Sociological Review*. — 2008. Vol. 44. No. 3. P. 469–490.

51. *Mink G., Neumayer L.* Introduction // History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games / Ed. by G. Mink, L. Neumayer. — Basingstoke, 2013. P. 1–20.
52. *Müller J.-W.* Introduction: the power of memory, the memory of power and the power over memory // Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past / Ed. by J.-W. Müller. 2nd ed. — Cambridge, 2004. P. 1–35.
53. *Nora P.* General Introduction: Between Memory and History // Realms of Memory. Rethinking the French Past. Vol. 1. Conflicts and Divisions / under the direction of P. Nora; transl. by A. Goldhammer. — New York, 1996. P. 1–23.
54. *Onken E.-C.* The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration: Analyzing Memory Politics in Europe // Europe-Asia Studies. — 2007. Vol. 59. № 1. P. 23–46.
55. *Smith K. E.* Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era. — Ithaca, 2002.
56. The Art of Commemoration: Fifty years after the Warsaw Uprising / ed. by Titus Ensink and Christoph Sauer. — Amsterdam, 2003.
57. *Topolski J.* The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. — 1999. Vol. 38. No. 2. P. 198–210.
58. *Torsti P.* Why do history politics matter? The case of the Estonian Bronze Soldier // The Cold War and Politics of History / Ed. by J. Aunesluoma, P. Kettunen. — Helsinki, 2008. P. 19–35.
59. Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration / Ed. by M. Bernhard, J. Kubik. — Oxford, 2014.
60. *Wertsch J. V.* Voices of Collective Remembering. — Cambridge, 2002.
61. *Wertsch J. V.* Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. — 2008. No. 617. P. 58–71.
62. *Winter J.* Historical Remembrance in the Twenty-First Century // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. — 2008. No. 617. P. 6–13.
63. *Wodak R., De Cillia R.* Commemorating the Past: the Discursive Construction of Official Narratives about 'Rebirth of Second Austrian Republic' // Discourse & Communication. — 2007. Vol. 1. No. 3. P. 337–363.

Е. Ю. Мелешкина

**ВОЗМОЖНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ
И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЙ¹**

Статья посвящена возможностям использования одной из инновационных исследовательских стратегий — качественного сравнительного анализа (QCA) — для изучения политики памяти. Показаны сильные и слабые стороны QCA, потенциал сравнения казусов в малых выборках. Обсуждаются вопросы применения качественного сравнительного анализа для изучения типов политики памяти, показываются возможности этой стратегии на примере запрета коммунистической символики в посткоммунистических странах.

Ключевые слова: типы политики памяти, качественный сравнительный анализ, мнемонические лидеры, законы памяти, коммунистическая символика.

Исследование политики памяти — популярное тематическое направление в современных общественных науках. Сложность объекта и предмета исследования ставит перед ученым множество методологических проблем. Один из важных вопросов в этой связи — выбор релевантной для исследовательских задач стратегии. Применительно к задачам сравнительного исследования политики памяти его можно сформулировать следующим образом: какая исследовательская стратегия наиболее адекватна в случае изучения сложных символических объектов и предмета исследования и как в рамках одной стратегии учесть особенности индивидуальных казусов, многообразие контекста и решить задачу сравнения? Актуальным является и другой, тесно связанный с предыдущими вопрос: как учесть влияние условий на принятие того или иного решения в области политики памяти или, шире, на формирование и существование разных типов политики памяти?

В данной статье показываются возможности во многом инновационного исследовательского подхода — качественного сравнительного анализа (QCA) — в ответе на эти вопросы.

***Специфика качественного сравнительного анализа
и опыт его использования для изучения политики памяти***

В политической и смежных общественных науках существует ряд существенных размежеваний между сторонниками различных методологических подходов и методов исследования. Одним из них являются разногласия между иссле-

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

дователями, использующими количественные и качественные методы и стратегии исследования. Эти разногласия касаются не только технических вопросов, но и сущностных, содержательных моментов, например, природы и проявлений причинно-следственной связи, наших возможностей в плане ее познания [Mahoney, Goertz 2006: 227–249].

Сторонники количественной стратегии часто рассматривают систематический статистический анализ как единственно верный способ установления причинно-следственной связи и осуществления генерализации. Для них важно выявление общей для изучаемой совокупности тенденции и незначимо — разворачивание механизма связи в определенном контексте. При этом сложность и индивидуальность казусов часто не учитываются. Значение имеют отдельные характеристики-переменные, извлеченные из контекста, между которыми устанавливается связь. Сторонники качественных методов обращают внимание на сложность изучаемых явлений, на существенное влияние контекста. Поэтому они делают вывод о неприменимости или ограниченности количественных методов, об излишней механистичности выводов сторонников количественных методов, о неспособности последних прояснить функционирование механизма того или иного явления.

Сторонники качественных методов выступают за использование методик, позволяющих учитывать контекст (например, казусно-ориентированное сравнение), справедливо полагая, что контекст влияет на политические и другие общественные явления. Это согласуется с общим трендом в развитии политической науки и иных смежных дисциплин, в которых контексту в настоящее время придается все большее значение [Tilly, Goodin 2006]. Такой подход, несмотря на важность выдвигаемых аргументов, зачастую демонстрирует слабость в решении задач анализа и типологизации ряда казусов, так как он предполагает отсутствие или недостаточную строгость инструментов сравнения.

Признание важности контекста и различий между казусами стало причиной растущей популярности казусно-ориентированных исследований. В последние десятилетия увеличивается число работ, в которых используется стратегия множественных case-studies. Наряду с более глубоким исследованием отдельных казусов, в них предпринимается попытка обобщения результатов исследования. Эта тенденция согласуется и с возродившимся интересом к подходам, ориентированным на наблюдение [Blatter, Haverland 2012; The SAGE Handbook 2009; Gerring 2004, 2007; George, Bennett 2005; Comparative Historical Analysis 2003; Schneider, Rohlfing 2013]

Для решения обозначенных проблем ряд исследователей предпринимают попытки наладить диалог между количественной и качественной традицией, разработать методологически смешанные варианты исследовательского дизайна [Brady, Collier 2004; Models, Numbers 2004; Moses et al. 2005]. Среди них — качественный сравнительный анализ (QCA). В политической науке он стал применяться сравнительно недавно, однако уже получил широкое распространение,

в том числе в разных тематических областях политической науки². С 1987 г., то есть с момента появления, примерно до 2013 г. эта стратегия использовалась более чем в 750 исследованиях [Rihoux, Marx 2013].

В основе качественного сравнительного анализа лежит булева алгебра, которая предполагает анализ эмпирических данных путем формализации качеств («причин» и «следствий») с помощью высказываний, оцениваемых как истинные (наличие качества) или ложные (отсутствие качества), их сведение в таблицы истин, а также анализ таблиц истин путем различных процедур, в частности, минимизации логических выражений.

В отличие от основных установок сторонников применения количественных методов, качественный сравнительный анализ предполагает несколько иное понимание причинности. Можно, пожалуй, говорить о том, что сторонникам QCA близка неоньютоновская трактовка причинности, учитывающая необходимые и достаточные условия, возможность наличия множества причин, их взаимодействие, сложность однозначного вычленения причины и следствия. Согласно этой логике, результат не всегда является следствием одной и той же причины (условия). Для того чтобы какое-то условие было достаточным для результата, может потребоваться взаимодействие между причинами. Причинность носит вероятностный характер, утверждения относительно законов не являются безусловными, а относятся к особым случаям.

Подобное понимание причинности обуславливает особенности качественного сравнительного анализа. QCA — это стратегия, направленная не на выявление «главных», универсальных или общезначимых тенденций и исключений, а на поиск различий между казусами (*diversity-oriented analysis*), сходства между ними в этих различиях. Целью QCA является нахождение достаточно простых сочетаний небольшого количества характеристик, включенных в анализ. При этом «причина» понимается как ситуация одновременного присутствия «условий» и «отклика» (*outcome*)³. То есть «причины» представляют собой сочетания отдельных условий. Иными словами, QCA предполагает обнаружение связи не между отдельными характеристиками, а между их сочетаниями. При этом важным является не количество казусов — примеров таких сочетаний, а количество самих сочетаний, типов ситуаций (*diversity-oriented analysis*).

Таким образом, преимущество QCA по сравнению с количественными методами заключается в том, что он позволяет сохранить ориентацию на понимание уникальности казусов при решении задач сравнения и типологизации. Однако, в отличие от качественных стратегий, здесь имеются более широкие возможности для осуществления сравнения в силу того, что качественный срав-

² Метод использовался для изучения политической культуры, смены режимов, революций и переворотов, мобилизации национальных меньшинств, классовых конфликтов, политики государства всеобщего благоденствия и т. д.

³ Такая терминология используется сторонниками качественного сравнительного анализа вместо более привычных «причины» и «результата».

нительный анализ позволяет: 1) исследовать явления с учетом их сложности, многообразия и многоаспектности; 2) осуществить переход от описания отдельных случаев к более систематическому описанию объектов в малых и средних выборках; 3) расширить возможности качественного анализа данных и «примирить» качественное описание объекта с формальным анализом; 4) сохранить баланс между казуальной ориентированностью исследования, учитывающего сложный индивидуальный контекст, и поиском обобщений; 5) выявить различия между случаями и их типами и создать типологию.

За годы, прошедшие с момента появления качественного сравнительного анализа, он неоднократно подвергался критике как со стороны сторонников других методов и стратегий, так и со стороны использующих его исследователей. В частности, одно из критических замечаний заключалось в сложности отбора релевантных условий, поскольку логика булевой алгебры ограничивает их число. Например, если в исследовании используется 5 условий, то возникают 32 возможные комбинации в таблице истинности. При восьми условиях получается 512 возможных конфигураций. И так далее. Таким образом, чем больше условий мы используем, тем сложнее задача аналитического упрощения. Возможна ситуация, когда при большом количестве условий невозможно будет сделать обобщение и исследование будет заключаться просто в описании [Scharpf 1997].

Благодаря критике качественный сравнительный анализ развивается. В его рамках возникают новые методики и техники исследования, в частности, метод нечетких множеств (fuzzy set), позволяющий учитывать сложность и недихотомический характер множества условий. Среди других новаций можно отметить методики, позволяющие учесть влияние последовательности событий и (или) фактор времени. Здесь стоит упомянуть работу Шнайдера и Вагеманна [Schneider, Wagemann 2006], внимание в которой уделяется двухшаговому протоколу QCA, основанному на различии между «близкими» (proximate) и «отдаленными» (remote) условиями⁴. Последовательность условий учитывали также Карен и Панофски, разработавшие технику временного (temporal) QCA [Caren, Panofsky 2005; см. также: Ragin, Strand 2005].

На сегодняшний день качественный сравнительный анализ является одной из перспективных стратегий исследования сложных явлений в малых и средних выборках. Отмеченные возможности качественного сравнительного анализа делают его привлекательным для выявления типов сочетаний причин и следствий (точнее, условий и откликов) в политике памяти посткоммунистических стран.

В политической науке есть примеры использования качественного сравнительного анализа для исследования символических актов и даже типов политики, связанной с отношением к прошлому. В частности, таково коллективное

⁴ Применение подхода см., например, в: [Maggetti 2009; Sager, Anderegg 2011].

исследование «режимов памяти», сложившихся в канун двадцатилетия падения коммунистических режимов. Результаты проекта нашли отражение в коллективной монографии «Двадцать лет после коммунизма: Политика памяти и коммеморации» под редакцией М. Бернхарда и Я. Кубика. Помимо фокусированных казусно-ориентированных исследований, в ней с помощью качественного сравнительного анализа (QCA) анализируется влияние различных факторов на типы «режимов памяти» [Twenty years ... 2014]. При выделении отдельных типов таких режимов авторы учитывали соотношение политических акторов и проводимой политикой в связи с двадцатой годовщиной падения коммунистических режимов, полагая, что систематическое сравнение практик коммеморации падения коммунистически режимов позволяет по-новому взглянуть на политику памяти и посткоммунистическую политику в целом.

В монографии используются два основных понятия: «режим памяти» и «мнемонические акторы». Под «официальным режимом памяти» авторы понимают такой, который предполагает активное участие государства и политического сообщества в его формировании и функционировании. К «мнемоническим акторам» они относят те политические силы, которые организуются для соревнования за государственную власть и удержания ее в своих руках. Учитывая занимаемую политическими силами позицию по отношению к определенному историческому периоду или событию, авторы выделяют типы «мнемонических акторов», три из которых встречаются в посткоммунистических странах. «Воинственные акторы» — те, которые признают только свое право на толкование исторических событий. «Плюралисты» — те, кто допускает возможность существования альтернативного видения. «Абнегаторы» — политические силы, которые намеренно или ненамеренно не участвуют в дискуссиях на историческую тематику. В зависимости от конфигурации «мнемонических акторов» выделяются типы режимов памяти: раздробленный, сегментированный или консолидированный.

В работе выявляются структурные (институциональные) и культурные (исторические) условия, влияющие на выбор акторов. Среди них типы коммунистического режима, его трансформации и складывающейся партийной системы, вовлеченность акторов в структуры старого режима, этнокультурные и лингвистические различия, выбор самих политических акторов. Во многих посткоммунистических странах авторы обнаружили раздробленный режим памяти, в котором существенную роль играли «воинственные акторы». Исследователи приходят к выводу, что этот режим опасен для демократии, поскольку способствует возрастанию политической поляризации и дестабилизации.

Качественный сравнительный анализ «режимов памяти», осуществленный с помощью стратегии четких множеств (crisp set), позволяет авторам выявить различные совокупности условий и результатов. Результаты исследования интересны как в плане получившейся типологии режимов, так и в части выводов. Однако они не беспорны. Основные сомнения связаны с концептуальными по-

зициями авторов, а также с набором условий, ими используемых при проведении качественного сравнительного анализа.

В первую очередь не совсем корректным представляется узкое понимание «режимов памяти» как явления, выстраивающегося вокруг какого-либо события. Понятие «режим» включает в себя принципы, нормы, правила и практики, регулирующие взаимодействие акторов в определенной сфере. Соответственно, режим предполагает определенную степень институционализации и длительности. Используемое в работе узкое понимание режима памяти сводит многообразие отношений между акторами только к одному событию. В то же время значимых событий, в которых проявляется суть режима памяти, может быть достаточно много, а отношения между акторами вокруг них могут отличаться и изменяться с течением времени. Более продуктивным, по нашему мнению, было бы рассмотрение «режима памяти» в темпоральной перспективе с учетом тех наработок временного фактора среди условий, которые имеются в рамках QCA [Caren, Panofsky 2005; Ragin, Strand 2005; Schneider, Wagemann 2012].

Второе сомнение вызывают принципы типологизации самих режимов на основе преобладания «мнемонических акторов» того или иного типа. Несомненно, характер основных акторов — важный фактор, однако взаимоотношения между ними определяются не только их характером, но и теми условиями, в которых они действуют, в частности, наличием согласия по основным, базовым принципам функционирования политики.

Задача типологии режимов памяти в более широком понимании, их операционализация, формализация признаков и сведение их в группы со значениями, которые могут использоваться для QCA, — довольно сложна и требует не только большой концептуальной работы, но и, вероятно, более углубленных казусно-ориентированных исследований. Принимая во внимание это обстоятельство, следует, вероятно, признать описанный опыт проведения качественного сравнительного анализа успешным, открывающим перспективы дальнейших сравнительных исследований в этой области.

Целью настоящей статьи не является решение всех тех задач, которые не удалось решить авторам монографии при проведении QCA. Однако опыт этих исследователей, сильные и спорные моменты их работы были учтены нами при проведении небольшого конкретного эмпирического исследования, способного продемонстрировать возможности качественного сравнительного анализа для изучения политики памяти на конкретном примере запрещения коммунистической символики.

Использование QCA в изучении процесса запрета символики прошлого

Принятие решений относительно запрета коммунистической символики — многоаспектный процесс, имеющий не только функциональное, но и большое символическое значение. В силу сложности объекта исследования просто

выделить причины рассматриваемого явления и их иерархию. Логика качественного сравнительного анализа, предполагающая исследование казуса в его целостности и совокупности, без однозначного разделения на зависимые и независимые переменные, и учитывающая возможность сочетания условий, в которых изучаемое явление наблюдается в разных казусах представляется наиболее адекватной исследовательским задачам. Применяя QCA в нашем исследовании, мы учитывали обозначенные особенности этой стратегии. В частности, мы надеялись получить данные не об общих тенденциях, а выявить различия между странами на основе сходных для небольших групп совокупностей условий, в которых произошло исследуемое событие.

В работе используется *crisp set QCA*, который основан на бинарном оценивании признаков на основе истинности или ложности высказывания относительно них. Как показали Кольер и Адкок, в зависимости от цели исследования ученый, работая с дихотомическими переменными, может также добиваться существенной объяснительной силы [Collier, Adcock 1999].

В нашей работе в качестве результата (или «отклика» — в терминах QCA) рассматривается не тип режима памяти, а факт принятия или непринятия запретительных норм относительно коммунистической символики, который лишь косвенно может характеризовать «режим памяти».

В фокусе внимания статьи находятся посткоммунистические государства. В выборке — 25 стран: были включены не все посткоммунистические страны, а только те, по которым имелись данные по всем используемым в исследовании переменным-условиям. В частности, в выборку не включены государства, в отношении которых отсутствуют данные индекса институциональных и экономических реформ (об использовании индекса в исследовании см. ниже). Это некоторые страны постюгославского пространства и Монголия. Не была включена бывшая ГДР по причине ее объединения с ФРГ.

Запрет на коммунистическую символику был введен в семи посткоммунистических странах (Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Молдова, Грузия и Украина) и в одной (Эстония), соответствующие законодательные нормы были одобрены в первом чтении в парламенте⁵. В некоторых других странах (например, в Албании, Чехии и Словакии) были приняты законы, запрещающие тоталитарную идеологию и ее символы, однако специального упоминания коммунистической идеологии и ее символов в этих документах нет, поэтому мы не относим эти страны к группе, где был введен специальный запрет на коммунистические символы. В 2005 г. и 2007 г. соответственно в Чехии было выдвинуто предложение дополнить законодательство запретом пропаганды коммунизма

⁵ По причине успешного прохождения законодательных норм в парламенте в первом чтении мы условно включили Эстонию в группу стран, запретивших коммунистическую символику. Бывшую ГДР, где был введен запрет на коммунистическую символику мы, напротив, не рассматриваем по причине объединения с ФРГ в единое государство.

и коммунистических символов, однако эти попытки не имели успеха. Возможный запрет красной звезды как символа Югославской народной армии во время гражданской войны обсуждается в настоящее время в Хорватии, однако пока это не привело к появлению законодательного запрета на коммунистические символы.

Из тех стран, которые ввели запрет на коммунистическую символику, только в двух (в Венгрии и Латвии) соответствующие законы были приняты сразу после свержения коммунистического режима. В остальных государствах этот запрет ввели позже. Это было связано с изменением характера политики памяти, который произошел во многих посткоммунистических странах в середине — второй половине 2000-х гг.

Как отмечает Н. Копосов, ситуация с политикой памяти в Восточной Европе существенно изменилась в 2004–2008 гг. Н. Копосов связывает это с рядом факторов, среди которых — усиление популярности крайне правых политических сил в Европе, вступление некоторых посткоммунистических стран в Европейский союз, консолидация политического режима в России, изменения российской внутренней (включая политику памяти) и внешней политики (в том числе усиление вмешательства во внутренние процессы соседних стран, в первую очередь Украины) [Korosov 2017: 170]. И действительно, в новых условиях в середине 2000-х гг. активизировались споры о прошлом между Россией, Украиной, странами Балтии и Польшей. Эти «войны памяти» способствовали формированию нового климата отношений внутри стран в Восточной Европе, между государствами и в регионе в целом.

Симптоматично, что характер принимаемых законов относительно запрета коммунистической символики во второй половине 2000-х гг. и в последующее десятилетие был строже. Новые законы или поправки включали в себя больше ограничений или санкции за нарушение норм. Это согласуется с выводами Н. Копосова об общем характере эволюции в отношении к «законам памяти» как инструменту политики памяти в середине — второй половине 2000-х гг. Изменения касались не только географического распространения этих законов (в основном в странах, граничащих с Россией), но и их модели. В них более отчетливо прослеживались идеи виктимизации соответствующих стран и их населения, а также криминализации отрицания преступлений не только фашистского режима, но и коммунистического [Korosov 2017: 173–176].

Нами был выделен ряд факторов-условий, потенциально способных, как мы предполагали, повлиять на принятие законов о запрете коммунистической символики.

Первый фактор-условие — опыт существования в качестве составной части Российской империи и / или СССР, унаследовавшего многие черты имперской организации [см., например, Мелешкина 2013 а, 2013 б] (условие С). Это отразилось не только на специфике институциональных традиций: в рассматриваемых государствах сохраняется потенциальная открытость и несогласованность

границ различного рода (территориальных, политических, культурных, экономических), сопровождающаяся рассеиванием контроля центра и отсутствием согласия населения по устанавливающим вопросам [см., например, Мелешкина, 2012; Мелешкина, 2013 а, 2013 б]. Нерешенные проблемы национального и государственного строительства обуславливают использование при формировании идентичности «негативной» аргументации: отвержение символов, традиций, норм, носителем которых выступает или выступал бывший имперский центр.

Второй фактор-условие — наличие традиций собственной государственности в XX в., которая имеет особое значение по следующей причине. Именно в XX в. международное сообщество стало позиционировать себя как мировое; были выработаны во многом евроцентричные требования и нормы в отношении новых государств и разработаны основные механизмы контроля за реализацией этих норм. Помимо этого, в XX в. европейские страны наиболее отчетливо столкнулись с одновременным соревнованием между различными моделями организации власти (между имперской формой и современным государством, между автократическими формами и демократией), и это соревнование распространилось на весь мир.

Посткоммунистические страны, имевшие опыт самостоятельной государственности, формирования нации и демократизации в XX в., демонстрируют склонность к воспроизводству некоторых институтов управления, правовых норм и в целом некоторые черты организации власти межвоенного периода [Stark, Brust 1998; Grzymala-Busse 2002 и др.]. У них имеются более развитые основания для общегосударственной идентичности граждан. Отсылка к этому опыту, его противопоставление более позднему периоду существования в составе СССР или даже в рамках Варшавского договора может использоваться в качестве важного элемента преодоления институционального и символического наследия. Поэтому в качестве одного из гипотетических условий, способных в совокупности с другими повлиять на принятие законов о запрете коммунистической символики, мы использовали в нашем исследовании оценку истинности высказывания относительно наличия опыта самостоятельной государственности (условие А). Истинным это выражение считалось только в том случае, если независимая государственность существовала такое количество времени, которое позволило наработать собственный опыт институционального строительства в области государственного управления, формирования нации и т. п. На постсоветском пространстве только страны Балтии обладали соответствующим опытом в межвоенный период.

Кодируя данное условие для России, мы учитывали, что в XX в. Россия выступала преимущественно как центр СССР — государственного образования, обладавшего многими чертами имперской организации власти. Опыт строительства институтов современного государства и нации в нынешних границах у России был крайне ограниченным и сопоставимым с некоторыми другими

республиками будущего СССР, соответствующее высказывание в отношении которых оценивалось как ложное. Поэтому и в отношении России мы оценили это высказывание как ложное.

Третий фактор-условие — характер переходного периода, точнее, соотношение сил между режимом и оппозицией в этот период. Как отмечал еще С. Хантингтон, реакция нового режима на прошлое и соответствующие варианты развития событий зависят от модели трансформации старого режима и роли взаимодействий между основными политическими силами (например, переговоров) [Хантингтон 2003].

Эту идею довольно плодотворно, на наш взгляд, развивает Х. Вэлш. Она отмечает значимость такого фактора, как смена элит и расстановка политических сил в начале процесса демократизации и на всем его протяжении. В частности, особое значение, по ее мнению, имеют отказ сторонников старого режима от внутренних изменений и переговоров с другими политическими силами, а также потеря их влияния на политические события после поражения на учредительных выборах. Вэлш также обращает внимание на важный фактор времени, отмечая, что со временем отношение к прошлому режиму может стать инструментом в борьбе за власть, используемым для ослабления политических соперников. Этот фактор играет особую роль, если сторонникам старого режима удастся внутренняя трансформация и они остаются популярной политической силой [Welsh 1996].

При отборе факторов-условий, которые возможно учесть при проведении качественного сравнительного анализа в нашем случае, мы остановились на соотношении сил в период смены режима. Эта характеристика носит универсальный характер в силу ясности временного отрезка и может быть применена ко всем странам выборки, как принявшим запретительные нормы, так и не сделавшим этого. В отличие от нее, внутренняя трансформация сторонников старого режима и их популярность сложнее поддается формализации в первую очередь в силу неопределенности временного промежутка: в одних странах выборы запреты были введены в определенное время, в других — не были. Однако Х. Вэлш, несомненно, права в утверждении, что, когда сторонники старого режима эволюционируют и остаются влиятельной политической силой, отношение к прошлому режиму может выступать инструментом в борьбе за власть. Однако мы использовали этот фактор только при анализе группы стран, введших запреты на использование коммунистической символики.

При формализации соотношения сил в период смены режима мы опирались на анализ, проведенный М. Макфолом, который показывает, как тип возникающего режима во многом определяется тем, откуда шел импульс политических преобразований. М. Макфол выделяет три варианта соотношения политических сил, повлиявших на «выбор» различных траекторий режимных преобразований: перевес в политическом противоборстве на стороне радикальных реформаторов, опиравшихся на поддержку «снизу» и действовавших «извне»

властвующей элиты, сила на стороне представителей старого режима, которые «сверху» навязывали новые правила игры, относительно длительный период баланса сил [McFaul 2002]. По мнению М. Макфола, только первый вариант создает наиболее благоприятные условия для демократизации. Поэтому в нашем исследовании разнообразие вариантов расстановки политических сил в период режимных перемен сведено к двум вариантам: доминирование реформаторов и остальные типы (фактор-условие D). Оценки по странам были выставлены с учетом данных М. Макфола.

Четвертый фактор-условие — отсутствие конкуренции внутриэлитных групп и возможность ресурсного обеспечения доминирования одной группы (концентрации ресурсов в руках одной элитной группы вне зависимости от их количества) (E). Этот фактор имеет особое значение для определения природы конкурентной среды и необходимости использования символических действий в конъюнктурных целях для борьбы с соперниками. Кроме того, как показал М. Макфол, переход к авторитарному режиму обычно осуществляется при доминировании сторонников старого режима. Логично предположить, что эти силы вряд ли будут использовать запрет символов прошлого как инструмент политической борьбы.

Данный фактор-условие кодировался на основе экспертной оценки. При этом истинным высказывание считалось тогда, когда в той или иной стране одна политическая группа доминирует в течение длительного времени. Так, для России данное выражение оценивалось как истинное (при этом мы учитывали, что в 1999–2000 гг. не произошло смены власти), в то время как для Грузии и Украины, например, как ложное, несмотря на доминирование отдельных политических сил в тот или иной период времени (в обеих странах власть менялась неоднократно, доминирующим акторам не удавалось сосредоточить в своих руках ресурсы, необходимые для сохранения власти). Относительно Беларуси данное высказывание оценивалось как истинное, при этом мы учитывали длительность периода существования режима А. Лукашенко.

Пятый фактор-условие — это характер осуществляемых в переходный период после падения коммунистического режима реформ (F и G). В отношении некоторых других процессов, например, институционального развития и преодоления институционального наследия прошлого, данный фактор играет важную функциональную роль. В частности, для трансформации политических институтов существенное значение имеют периоды «критических развилок», во время которых наиболее явно проявляется влияние агентивных факторов. В эти моменты политического развития возрастает неопределенность и акторы побуждаются к выбору альтернативных институциональных решений. В то же время решения, принятые в период «критических развилок» и их последовательность формируют паттерны последующего институционального развития той или иной страны, задают последующую логику воспроизводства институтов. Поэтому этот фактор приобретает самостоятельное значение для опреде-

ления характера и результатов институциональных изменений. В нашем же случае (принятие запретительных норм) данный фактор имеет скорее символическое значение, косвенно указывая на намерение акторов преодолеть институциональное и, возможно, символическое наследие прошлого режима или сохранить его.

Опираясь на наши предыдущие исследования [Мелешкина 2012; Мелешкина 2016], мы выделили три варианта осуществления институциональных реформ:

1) радикальная смена старых (в том числе имперских по сути) институтов, полный слом старой структуры управления и правил и попытка их замещения новыми (или/и, применительно к некоторым посткоммунистическим странам, заимствованными из прошлого довоенного опыта);

2) сохранение преемственности между старыми и новыми институтами;

3) непоследовательное осуществление институциональных реформ.

Последний вариант предполагает сосуществование старых и новых норм, правил и механизмов, часто противоречащих друг другу, усиление ситуации неопределенности, обострение противоречий между формальными и неформальными нормами и процедурами.

Для учета типа стратегии реформ мы обратились к подсчетам Т. Фрая, используя исчисленный им на основе данных ЕБРР за период с 1990 по 2004 г. с помощью метода главных компонент индекс институциональных и экономических реформ [Frye 2010: 75]. При этом все страны разбиты нами на три группы. В первую группу попали страны, индекс которых не превышал значения 5,5 (государства, сохранившие высокую институциональную преемственность). Во вторую группу вошли страны со значением индекса в промежутке от 5,51 до 8. Третья группа включала те страны, значения индекса у которых превышали 8 (условно государства с радикальной стратегией реформ).

Поскольку таблицы истинности требуют бинарных категорий анализа, переменная, отражающая стратегии реформ, была разбита на две (стратегия реформ 1 — F, стратегия реформ 2 — G). Что касается первой переменной (F), то высказывание оценивалось как истинное, если страна относилась к группе государств с высокой степенью институциональной преемственности. В остальных случаях высказывание оценивалось как ложное. По переменной G высказывание оценивалось как истинное относительно стран, где осуществлялась радикальная стратегия реформ (страны третьей группы). У остальных оно оценивалось как ложное.

Шестой фактор-условие — это люстрация (H). Учитывая, что серьезная люстрация была проведена лишь в некоторых посткоммунистических странах («пионером» является Чехия), а в остальных она носила скорее символический характер, ее нельзя рассматривать как мощный инструмент смены элит. Скорее этот фактор, как и предыдущий, имеет больше символическое значение, обозначая стремление правящих кругов к отказу от наследия прошлого режима.

И наконец, седьмой фактор — это вхождение в Европейский союз (условие В). В данном случае факт вхождения в Евросоюз интересует нас не столько с точки зрения того, какие рамки это накладывает на страны-члены и какие возможности предоставляет, сколько как свидетельство геополитического выбора государств. В 2004 г. в ЕС вступили Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения, Чехия. В 2007 г. к ним присоединились Болгария и Румыния, в 2013 г. — Хорватия, Молдавия, Украина и Грузия не стали членами ЕС, однако имеют с ним соглашения об ассоциации, как и не входящие в ЕС страны, возникшие на руинах бывшей СФРЮ, и Албания.

Результаты эмпирического анализа и их интерпретация

Для выявления совокупности условий принятия законов, запрещающих коммунистическую символику, в соответствующих странах и выявления отличий между ними был проведен качественный сравнительный анализ.

Результаты классификации стран на основе выделенных выше условий и результатов (запрещение коммунистической символики) представлены в таблице 1. Прописной буквой обозначены положительные ответы на вопросы об истинности высказываний относительно определенного условия, строчной буквой — отрицательные.

Логическое уравнение для стран, где были приняты законы о запрете коммунистических символов, выглядит следующим образом:

$$J = A + aB + bC + cD + defG + gH.$$

Как следует из уравнения, законодательство о запрете коммунистических символов принималось под влиянием совокупности разных условий в разных странах. Однако можно выделить ряд общих характеристик, отличающих государства, где были приняты законы о запрете коммунистической символики.

Во-первых, почти все эти страны ранее входили в состав СССР или были частью Российской империи. Исключение составляет Венгрия. Вместе с тем Венгрия во второй половине XX в. входила в Организацию Варшавского договора и находилась в зоне влияния СССР. Кроме того, в 1956 г. в страну были введены советские войска для подавления выступлений против коммунистического режима.

Во-вторых, все эти страны отличаются определенной степенью радикализма реформ, осуществленных после падения коммунистического режима. Реформы здесь носили радикальный либо непоследовательный характер. Ни в одной из этих стран не реализовывался курс на сохранение старых институтов, пусть и в измененном виде.

Все эти страны объединяет также отсутствие доминирования одной политической силы на основе концентрации в ее руках ресурсов, позволяющих

Таблица 1

Таблица истин

Количество казусов	А Традиции независимой государственности в XX в.	В Внешняя рамка (членство в ЕС)	С Вхождение в состав Российской империи или СССР	Д Характер переходного периода (соотношение сил)	Е Доминирование одной элитной группы	Ф, G Радикализм реформ	Н Принятие законов о люстрации	Ж «Выход»
4	A	B	C	D	e	f, G	H	J
3	a	B	C	D, d	e	f, G	H, h	J
1	A	B	C	D	e	f, G	H	J
7 ¹	a	B	C	D	E	F, f, g	h	J
3 ²	a	B	C	D	e	f, G, g	h	J
3 ³	A	B, b	C	D	e	f, g	H, h	J
2 ⁴	a	B	C	D, d	e	f, g	h	J
1 ⁵	a	B	C	D	e	f, g	h	J

¹ Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Туркмения.

² Словакия, Словения, Хорватия.

³ Албания, Болгария, Румыния.

⁴ Армения, Киргизия.

⁵ Македония.

поддерживать такое доминирование длительное время. Все эти страны имеют конкурентные режимы, что предполагает возможность использования политики памяти как одного из действенных инструментов политической борьбы.

Еще одна объединяющая эти государства характеристика — это принятие законодательных норм, предусматривающих люстрацию. Исключение составляет Молдавия, где с 1999 г. было несколько предложений принять соответствующий закон, но парламент не поддержал их. Важно отметить, что люстрация в большинстве посткоммунистических стран нашей выборки (кроме Чехии) носила сравнительно мягкий характер и имела скорее символическое значение.

Еще одна объединяющая эти страны характеристика — членство в Европейском союзе или договор об ассоциации с ним. Членами ЕС с 2004 г. являются Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Эстония. Грузия, Молдавия и Украина заключили с ЕС договоры об ассоциации. Эти документы вступили в силу позже принятия законодательства о запрете коммунистических символов, однако их подписанию предшествовал подготовительный этап. Сам факт их заключения свидетельствует об определенном геополитическом выборе этих стран.

Показательно, что такие характеристики, как тип коммунистического режима и характер переходного периода в период смены старого режима не являются объединяющими для этих стран условиями. Отчасти это можно объяснить тем, что в большинстве этих государств соответствующие запретительные меры принимались, начиная со второй половины 2000-х гг., когда политическая ситуация в значительной степени поменялась, некоторые страны пережили гражданские войны и цветные революции, а на повестку дня вышли другие, более значимые проблемы.

Внутри группы стран, принявших запретительные нормы относительно коммунистических символов (как оговаривалось выше, мы условно относим сюда и Эстонию), можно выделить три подгруппы.

Первая подгруппа — это страны Балтии и Польша.

Логическое уравнение применительно к этим странам с использованием характеристик, указанных в таблице, выглядит следующим образом:

$$J = ABCDefGH.$$

Как следует из этого уравнения, это наиболее гомогенная группа: для них характерно наибольшее количество общих условий. Помимо отмеченных в уравнении, можно выделить еще ряд характеристик, объединяющих эти страны. Это немалый опыт самостоятельной государственности в XX в. и менее длительный период коммунистического правления. Вероятно, обе эти характеристики также способствовали формированию благоприятных условий для принятия норм, запрещающих коммунистические символы. В этих странах еще и сейчас есть живые носители опыта политического развития докоммунистического периода. Для политической риторики этих стран характерна апелляция к опыту самостоятельного государственного и национального строительства.

Вторая группа стран — это Украина, Молдавия и Грузия. Она также отличается относительной компактностью в плане сходства характеристик. Однако в этих странах несколько больше внутренних различий, а также есть особенности, отличающие их от стран первой группы.

Логическое уравнение для этой группы стран выглядит следующим образом:

$$J = abCefg.$$

Для этих стран также характерна объединяющая черта — наличие сецессий и, соответственно, нерешенный вопрос консолидации территориальных, национальных и политических границ. В отличие от Азербайджана, речь идет об отделившихся территориях, официально признанных или получивших поддержку Российской Федерации. Вторая общая особенность — произошедшие цветные революции, которые фактически можно рассматривать как вторую попытку смены режима.

Наконец еще одна группа представлена всего одной страной — Венгрией. Здесь логическая формула выглядит следующим образом:

$$O = ABcDefGH.$$

Отличия Венгрии от других стран, введших запрет на использование коммунистической символики, были описаны выше. По выделенным нами характеристикам Венгрия демонстрирует некоторое сходство с Чехией, в которой законодательство прямо не запрещает коммунистическую символику. Однако в Венгрии и Чехии были применены разные модели смены политического режима. Если в Венгрии принимали активное участие левые силы и «партия-наследница», сохранившая свое влияние в дальнейшем, большое значение имели круглые столы, то в Чехии смена осуществлялась более радикально. После «бархатной революции» была осуществлена люстрация. Эти события, а также проведение достаточно радикальных реформ и маргинализация коммунистической партии в Чехии отчасти сняли вопрос об институциональном и символическом коммунистическом наследии.

Пример Венгрии показывает, какое большое значение для принятия законодательства о запрете коммунистических символов имело обострение политической конкуренции. Во всех отобранных нами странах принятие соответствующих норм служило одним из инструментов политической борьбы и усиления влияния отдельных политических сил.

Как отмечалось выше, впервые коммунистическая символика была запрещена в Латвии. Запрет вступил в силу в 1991 г. под влиянием целого ряда ярких политических моментов, начиная с январского противостояния между демонстрантами, властями страны и советским ОМОНОм и заканчивая голосованием в парламенте за реставрацию довоенной независимости Латвии. Закон принимался в атмосфере не только противостояния республики и советского федерального центра, но и значительных разногласий между коммунистической

партией Латвии и другими политическими силами по вопросу о независимости.

В 2013 и 2014 гг. упомянутые выше поправки к законодательству были введены также в условиях политического противостояния. Незадолго до этого партийная система Латвии претерпела изменения. В 2010 г. несколько партий объединилось в более крупные, а в 2011 г. бывший президент республики создал Партию реформ Затлерса, занявшую второе место на внеочередных выборах. 2013 г. был насыщен различными политическими событиями. Это кризис в правящем блоке политических партий, конфликт между правящим «Единством» и президентом по поводу отказа последнего утвердить отличающегося националистическими высказываниями министра обороны на посту премьер-министра и победа представителя оппозиционного блока «Центр Согласия» / «Честь служить Риге», поддерживаемого русскоязычным меньшинством, на выборах мэра латвийской столицы. К ярким событиям можно также отнести проведение в марте 2013 г. учредительного съезда Конгресса неграждан Латвии и выборов в Парламент непредставленных (лишенных гражданства и права участвовать в выборах и референдумах), а также активную деятельность членов Конгресса неграждан и Парламента непредставленных в международных организациях. И еще одно важное событие, уже 2014 г. — выборы в Европарламент и сейм Латвии и, соответственно, предвыборные кампании и подготовка к их проведению. На этих выборах активно обсуждалась тема влияния Москвы. Перед выборами в Европарламент полиция безопасности даже опубликовала специальный отчет о «русской угрозе». Противостояние перед выборами и выход на первый план разногласий по вопросам национально-государственного строительства также было актуализировано принятием «латышской» преамбулы конституции и заявлением правительства о ликвидации русских школ к 2018 г.

В Эстонии принятие поправок к уголовному кодексу в 2007 г. происходило в атмосфере приближающихся выборов в Рийгикогу (парламент) и обострившихся споров вокруг памятника Воину-освободителю в центре Таллина, перемещение которого началось в конце апреля 2007 г. и сопровождалось активным противостоянием сторонников и противников этого действия с участием полиции. Параллельно ряд эстонских партий в октябре 2006 г. предложили законопроект о защите воинских захоронений. Соответствующий закон был принят парламентом в январе 2007 г. Закон дает основания для перезахоронения останков военнослужащих, которые покоятся в несоответствующих местах, а также в местах, где невозможно обеспечить надлежащий уход воинским захоронениям.

Законодательные нормы о запрете нацистской и советской символики в Литве также принимались на фоне приближающейся предвыборной кампании в сейм и соответствующего обострения политического противостояния между левоцентристскими и правыми, правоцентристскими партиями. Как и в Венг-

рии, в Литве партия — наследница коммунистической активно участвовала в процессе демократизации и сохранила свое влияние в дальнейшем, что, по мнению Х. Велш, является одним из благоприятных условий использования отношения к прошлому режиму как инструмента в борьбе за власть.

Закон о запрете коммунистической символики был подписан президентом Польши Лехом Качиньским в 2009 г., в предпоследний год его президентства, когда перспектива его переизбрания на следующий срок не была очевидной. Принятие запретительных норм происходило на фоне политического сосуществования «Гражданской платформы» (партия большинства в парламенте и премьер-министр от партии) и «Права и справедливости» (президент — представитель партии). Напомним, что при Лехе Качиньском существенно обострились отношения между Россией и Польшей.

В Грузии соответствующие запретительные нормы принимались во время противостояния между президентом Михаилом Саакашвили и оппозицией, в атмосфере продолжающегося обострения отношений между Москвой и Тбилиси и в преддверии парламентских выборов 2012 г., имевших особое значение в связи с принятием в 2010 г. новой Конституции.

В Молдавии принятие соответствующего закона также происходило на фоне политического противостояния между коммунистами и правящим альянсом. С одной стороны, коммунисты объявляли бойкот парламентских заседаний и проводили субботние акции протеста, а с другой — был закрыт подконтрольный коммунистам телеканал NIT. Этот период был также отмечен ослаблением Партии коммунистов в связи с выходом из ее рядов некоторых членов и дальнейшей борьбой между основными силами правящего альянса.

На Украине законы о декоммунизации принимались в апреле 2015 г. под влиянием событий 2014 г. — начала 2015 г. и обострения отношений с Россией: расстрел Майдана и бегство Виктора Януковича, присоединение Крыма к России и война на Востоке Украины, досрочные выборы президента и Верховной рады в 2014 г.

В отличие от других стран, где была запрещена коммунистическая символика, в Венгрии не наблюдается такой прямой связи между выборами и принятием запретительных норм. Однако следует предположить, что, в отличие от 1993 г., когда запрет символики без санкций был закреплен в условиях относительного консенсуса основных политических сил по поводу смены режима и имел больше символическое значение, введение санкций за нарушение запрета в 2000 г. стало скорее инструментом в политической борьбе, которую вели партия Фидес и ее лидер В. Орбан против своих политических соперников. В 2000 г. вступлением в Европейскую народную партию и Европейский демократический союз завершилось преобразование возглавляемой им партии из либеральной в консервативную. В. Орбан, став премьер-министром после первой победы своей партии на выборах в парламент в 1998 г., стремился укрепить свою личную власть и власть партии, в риторике которой отсылки к прошлому

коммунистическому режиму и связи с ним венгерских социалистов занимали существенное место. Несмотря на то что следующие выборы прошли в Венгрии в 2002 г., логично предположить, что закрепление санкций за нарушение нормы о запрещении коммунистической символики могло также служить инструментом политической борьбы.

* * *

Проведенный качественный сравнительный анализ показывает, что, несмотря на сходство некоторых характеристик, совокупность условий, в которых произошло принятие законов о запрете коммунистической символики, несколько различается в выделенных нами группах стран. Это полностью согласуется с представлениями о сложности и неоднозначности причинно-следственных связей в политической жизни, в которой разные сочетания условий могут привести к одинаковому результату.

Исследование показало, что введение норм о запрете коммунистических символов было инструментом политической борьбы, а сам факт их принятия и их характер зависели не только от внутривнутриполитических разногласий и противостояния, но и от изменений на международной арене, в том числе в отношениях этих стран с Россией.

В целом исследование показало плодотворность использования качественного сравнительного анализа для изучения политики памяти и ее отдельных аспектов: оно позволило выявить различия между странами выборки, выделить на их основе группы, отличающиеся сочетаниями условий и отклика, выявить основные факторы, совокупность которых оказывается важной для того или иного результата. Понимание влияния условий и механизмов запрета символики прошлого позволяет более основательно взглянуть на политику памяти в государствах нашей выборки. Использование качественного сравнительного анализа для исследования типов политики памяти и создание на этой основе эмпирической типологии представляется перспективным. Однако в силу обозначенных трудностей это следует рассматривать в качестве задачи дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Историческая политика в XXI веке: Сборник статей / Под ред. Миллер А., Липман М. — М., 2012.
2. Мелешкина Е. Ю. (а). Постимперские пространства: Особенности формирования государств и наций // Политическая наука. — М., 2013. — № 3. — С. 10–29.
3. Мелешкина Е. Ю. (б). Советский эксперимент: Между империей и современным государством // Труды по русистике: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Вып. 4. — М., 2013.
4. Мелешкина Е. Ю. Государственное строительство и институциональная трансплантация в посткоммунистических странах // Политическая наука. — 2016. № 4. — С. 186–213.

5. Мелешкина Е. Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе / РАН ИНИОН. — М., 2012.
6. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. — М.: РОССПЭН, 2003.
7. Rihoux B., Marx A. QCA, 25 Years after “The Comparative Method”: Mapping, Challenges, and Innovations — Mini-Symposium // Political Research Quarterly. — 2013. — Vol. 66. No. 1. — P. 167–235.
8. Blatter J., Haverland M. Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small N Research. — Houndmills Basingstoke, 2012.
9. Brady H., Collier D. Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. — Berkeley, 2004.
10. Caren N., Panofsky A. TQCA: A Technique for Adding Temporality to Qualitative Comparative Analysis // Sociological Methods and Research. — 2005. Vol. 34. No. 2. — P. 147–172.
11. Collier D., Adcock R. Democracy and Dichotomies: a Pragmatic Approach to Choices about Concepts // Annual Review of Political Science. — 1999. Vol. 2, No. 1. — P. 537–565.
12. Comparative Historical Analysis in the Social Sciences / Ed. by Mahoney J., Rueschemeyer D. — Cambridge, 2003.
13. Configurational Comparative Methods / Ed. by Rihoux B., Ragin C. C. — Thousand Oaks/London, 2008.
14. Confronting the Past: European Experiences / Ed. by Pauković D., Pauković V., Raos V. — Zagreb, 2012.
15. Frye T. Building States and Markets after Communism: The Perils of Polarized Democracy. — Cambridge, 2010.
16. George A., Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. — Cambridge, MA, 2005.
17. Gerring J. Case Study Research: Principles and Practice. — Cambridge, 2007.
18. Gerring J. What is a Case Study and what is it Good for? // American Political Science Review. — 2004. Vol. 98, No. 2. — P. 341–354.
19. Grzymala-Busse A. Redeeming the Past: the Regeneration of the Communist Successor Parties in East Central Europe after 1989. — New York, 2002.
20. History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games / Ed. by Mink G., Neumayer L. — London, 2014.
21. Kaposov N. Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia. — Cambridge, 2017.
22. Maggetti M. The Role of Independent Regulatory Agencies in Policy-Making: a Comparative Analysis // Journal of European Public Policy. — 2009. Vol. 16. No. 3. — P. 450–470.
23. Mahoney J., Goertz G. A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research // Political Analysis. — 2006. — Vol. 14. No. 3. — P. 227–249.
24. McFaul M. The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Post-Communist World // World Politics. — 2002. — Vol. 54. No. 1. — P. 212–44.
25. Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives / Ed. by Pakier M., Wawrzyniak J. — N.Y., Oxford, 2015.
26. Models, Numbers and Cases. Methods for Studying International Relations / Ed. by Namihas-Wolinsky Y., Sprinz D. — Michigan, 2004.

27. *Moses J., Rihoux B., Kittel B.* Mapping Political Methodology: Reflections on a European Perspective // *European Political Science*. — 2005. Vol. 4. No. 1. — P. 55–68.
28. *Past in the Making: Historical Revisionism in Central Europe after 1989* / Ed. by Kopecek M. — Budapest, 2007.
29. *Politics of Memory in Post-Communist Europe* // *History of Communism*. — Bucharest, 2010. — Vol. 1.
30. *Ragin C. C.* *Redesigning Social Inquiry: Set Relations in Social Research*. — Chicago, 2008.
31. *Ragin C. C.* *The Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. — Berkeley, 1987.
32. *Ragin C., Strand S.* Using Qualitative Comparative Analysis to Study Causal Order // *Sociological Methods and Research*. — 2005. Vol. 36. No. 4. — P. 431–441.
33. *Rihoux B., Marx A.* QCA, 25 Years After “The Comparative Method”: Mapping, Challenges, and Innovations // *Political Research Quarterly*. — 2013. Vol. 66. No. 1. — P. 167–235.
34. *Sager F., Andereggen C.* Dealing with Complex Causality in Realist Synthesis: the Promise of Qualitative Comparative Analysis (QCA) // *American Journal of Evaluation*. — 2011. — Vol. 33, No. 1. — P. 60–78.
35. *Scharpf F.* *Games Real Actors Play*. — Boulder, 1997.
36. *Schneider C., Rohlfing I.* Combining QCA and Process Tracing in Set-Theoretic Multimethod Research // *Sociological Methods and Research*. — 2013. Vol. 42. No. 4. — P. 559–597.
37. *Schneider C., Wagemann C.* Reducing Complexity in Qualitative Comparative Analysis (QCA): Remote and Proximate Factors and the Consolidation of Democracy // *European Journal of Political Research*. — 2006. Vol. 45. No. 5. — P. 751–786.
38. *Schneider C., Wagemann C.* *Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis*. — Cambridge, 2012.
39. *Stark D., Bruszt L.* *Post-Socialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe*. — New York, 1998.
40. *Tilly Ch., Goodin R.* It Depends // *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. — Oxford, 2006. — P. 3–32.
41. *The SAGE Handbook of Case-Based Methods* / Ed. by Byrne D., Ragin C. — Thousand Oaks, 2009.
42. *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration* / Ed. by Bernhard M, Kubik J. — New York, 2014.
43. *Welsh H.* Dealing with the Communist Past: Central and East European Experiences after 1990 // *Europe-Asia Studies*. — 1996. Vol. 48. — P. 419–428.

Е. А. Махотина

НАРРАТИВЫ МУЗЕАЛИЗАЦИИ,
ПОЛИТИКА ВОСПОМИНАНИЯ,
ПАМЯТЬ КАК ШОУ:
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
MEMORY STUDIES В ГЕРМАНИИ¹

В статье рассматриваются актуальные подходы к изучению памяти в Германии. Принимая во внимание переход воспоминания о войне, о холокосте из семейной памяти в культурную память, данный обзор проблематизирует различные новые формы и практики воспоминания и способы из изучения. Речь идет не только об инструментализации памяти в политических целях, но и о социальных практиках использования исторических нарративов в европейском обществе.

Ключевые слова: виктомологическая парадигма, инвентизация памяти, музеализация памяти, эмоционализация истории, политика воспоминания, индивидуализация памяти.

Нередко немецкая модель обращения с тоталитарным прошлым приводится как образец для других стран с авторитарным наследием. «В вопросах преодоления прошлого немцы — чемпионы мира» — эта фраза венгерского писателя Петера Эстерхази подтверждается обширной образовательной школьной программой о причинах и следствиях нацистской диктатуры и сотнями памятников и дней траура о жертвах тоталитаризма. Опыту «преодоления прошлого» Германии приписывается качество ориентира, идеальной нормы для других стран, проходящих трансформацию от диктатуры к демократии [Махотина 2013].

Между тем и послевоенная Германия прошла достаточно долгий путь к общественному консенсусу «Никогда больше!», т. е. к модели, считающейся сегодня образцовой для обществ, несущих историческую ответственность за геноцид не на уровне биографической памяти, а на уровне принадлежности к национальной идентичности. «Коллективная вина» — понятие, введенное философом Карлом Ясперсом, — к 1980-м гг. становится частью национальной идентичности.

Мемориальный бум сопровождается устойчивым исследовательским интересом к теме памяти. *Memorial turn* в исторических и социальных науках насчитывает уже более 30 лет, но его конъюнктура сохраняется до сих пор. Кажется, что и здесь Германия выделяется своей спецификой: подходы, введенные

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

и освоенные немецкими исследователями [Assmann J., 1992; Assmann A., 1999; Assmann A., 2006; Assmann A., 2013; Welzer 2002; Rüsen 1994; Rosenthal 1995; Frei, Steinbacher 2001; Sabrow, Jaraush 2002; Koselleck 2002] нашли применение в глобальном масштабе, и это не случайно: воспоминание о холокосте и исследования памяти развивались параллельно и были связаны друг с другом.

Поиск новых методов изучения памяти не закончен. Наоборот, именно на границе перехода от поколенческой памяти о «катастрофе» XX в. к культурной памяти возникают новые концепты. В данной статье мы рассмотрим традиционные концептуальные подходы к изучению памяти, появление новых методов, а также новые вызовы для немецкой культуры воспоминания.

Традиции методологии

Основоположником исследований памяти является Морис Хальбвакс, сформулировавший понятие *коллективная память* и тезис о социальной обусловленности индивидуального воспоминания [Halbwachs 1985]. «Коллективная память» формируется в социокультурной среде средствами коммуникации и социальными институтами. К моменту своего появления, в 20-х гг. XX в., этот концепт нашел мало поддержки и не применялся в исследованиях. Лишь к 1980-м гг. к нему обратились вновь: концепт «*мест памяти*» Пьера Нора подчеркнул важность изучения коллективной памяти и положил начало массовому изучению памяти как феномена, определенного культурой [Nora, 1984–1992; Nora 1990]. *Lieux de memoires* — местам, вызывающим в памяти определенные образы французской истории, Нора посвятил многотомное исследование и положил начало историографии исторической памяти, одновременно демонстрируя политическую сферу действия этих исследований. Например, трехтомный труд по истории немецких мест памяти (*Deutsche Erinnerungsorte*) [François, Schulze 2001] рассматривал места памяти Германии не через нормативный «особый путь» от Лютера к Гитлеру, а через призму европейской истории, «нормализуя», таким образом, немецкую историю. Кульминацией этой французской традиции стал вышедший в 2017 г. обширный труд о местах памяти Европы: «*Europa. Notre histoire*», выявляющий европейские традиции, образы и практики в глобальном масштабе [François, Serrier 2017].

С понятием *культурной памяти* Яна и Алейды Ассманн [Assmann A., Harth 1991] появился самый обсуждаемый концепт культурологического изучения памяти. Теория, подчеркивающая связь между культурным воспоминанием, основанием коллективной идентичности и политической легитимацией, стала базой для междисциплинарных исследований, в которых история перекликалась с религиоведением, историей искусств, литературоведением и социологией.

Центральным условием для концепта Яна Ассманна было понятийное разделение *коллективной памяти* на *культурную* и *коммуникативную* память

[Assmann J., 1992]. Коллективная память в бытовой коммуникации отличается от коллективной памяти в символах культуры. Алейда Ассманн углубила классификацию и разделила *культурную* память на два типа: сохраняемая память и функциональная память. Если *сохраняемая память* (Speichergedächtnis) есть резервуар возможного воспоминания (архив, жесткий диск памяти компьютера), то функциональная память (Funktionsgedächtnis) подчеркивает актуальность образов прошлого — в целях настоящего [Assmann A., 1999]. Функциональная память понятийно близка к технологиям *политики воспоминания*, к которым мы обратимся ниже, — она также служит легитимации социального порядка и/или конструкции идентичности. Данный подход сделал возможным описание процессов активизации воспоминания и забвения.

Огромное значение для развития историографии памяти имел концепт Erinnerungskultur — «культуры воспоминания», ставший на протяжении 10 лет (1997–2008) предметом изучения более ста ученых в университете г. Гиссена в рамках особого федерального исследовательского гранта². Здесь была разработана модель описания процессов воспоминания в культуре. Именно *воспоминание*, а не память стало категорией анализа. Воспоминание, в отличие от памяти, отличается динамикой, творчеством, процессуальностью, разнообразием и вариативностью практик воспоминания.

Так, память является дискурсивной формацией, а воспоминание — выборкой и новым распределением знаний о прошлом. Культура воспоминания определяется следующими аспектами: суверенитет и иерархия воспоминаний (преобладающая культура воспоминания и конкуренция воспоминаний), интересы воспоминаний (различные общественные группы, объединения), техники и средства воспоминаний (образы коммуникации о прошлом), и жанры памяти (живопись, фильм, исторический роман) [Erl1 2011].

Одной из центральных проблем, обсуждавшихся на начальном этапе развития новых исследований памяти, была интерпретация соотношения между *историей* и *памятью*. Является ли историография тоже лишь формой коллективного воспоминания?

Так, в концепте Йорна Рюзена культура истории — история как наука — является частью отношения общества к своему прошлому. Осмысление временных процессов всегда сформировано через исторический *нарратив* о прошлом. Культура истории состоит из трех измерений: эстетического, политического и когнитивного (куда входит и профессиональная история) [Rüsen 1994].

Можно говорить о том, что взгляд на историю как часть культуры воспоминания больше не является спорным. По образному выражению Питера Берка, «ни история, ни память не являются больше объективными» [Burke 1989: 98]. История как наука — это символическая форма отношения к прошлому,

² Sonderforschungsbereich 434 „Erinnerungskulturen“, Justus-Liebig-Universität Gießen.

переданного посредством историографии, и таким образом — практика культурного воспоминания.

То, что концепты исторической памяти и культурная память о холокосте развивались одновременно и параллельно друг другу, привело к формированию специфических подходов к изучению памяти. Здесь кристаллизовалось понятие *травмы* по отношению к негативному историческому опыту, ведь концепты изучения героизма или сознательного самопожертвования во имя идеи больше не годились для изучения культурной памяти [Assmann A., 2006].

Установка на то, чтобы показывать холокост исключительно через индивидуальную биографию жертвы, стала общим местом в 1990 гг. Об этом пишет, например, Саул Фридлэндер: надлежащим образом травма пережитого опыта Шоа может быть передана только через личную память, точнее, через неконтролируемое возвращение вытесненной травмы [Friedländer 1993]. Культурная память — принимаемая во внимание центральность фигуры пассивной жертвы (*victim*) — рассматривалась с позиции вытеснения, проекции, сублимации и компенсации *травмы*.

Следствием этого стала, во-первых, концептуализация исторической травмы в *memory studies*, а во-вторых, изменение репрезентации памяти о Холокосте. Связь исторического исследования с концептами психоанализа [Rüsen, Straub 1998] поставила вопрос о скрытых для нас мотивациях возникновения или блокировки памяти.

Так, утверждалось, что травматическое переживание боли, страха, страдания и стыда не могли быть активно осмыслены и лишь с трудом могли стать предметом воспоминания. «Постыдное воспоминание» не могло быть интегрировано ни в индивидуальную память, ни в коллективный образ сообщества [Assmann A., 1999; Langer 1991]. Эта идея рассматривалась как причина, поскольку лишь по прошествии времени травматическое переживание холокоста становится все более важным, а травматический опыт лишь спустя десятилетия находит общественное признание. Так же, как терапия предназначается для того, чтобы перевести травму из латентного состояния в артикулированное знание, так же и социальная память направлена на развитие эмпатии, общественных рамок для артикуляции травматического переживания. Травматические переживания требуют времени и политической конъюнктуры, лишь со временем они могут быть озвучены [Assmann A., 2006].

Травма и ее репрезентации стали главными темами исследований памяти о холокосте. Так, Джеймс Янг показал эстетизацию травмы в мемориалах Шоа [Young 2002]. Дэн Динер ввел в оборот термин *прикрывающая память* (*Deckeringnung*), т. е. скрытие проблематичных событий через воспоминание неважных моментов [Diner 1986] как в немецкой, так и в еврейской памяти. Французский историк Анри Руссо «диагностировал» у Франции «синдром Виши», то есть стремление сделать акцент на невозможности помощи евреям

в условиях оккупационного режима и блокаде памяти о коллаборации с нацистами — через образ несвободной Франции во французском дискурсе [Rouso 1987].

Исследования исторической памяти работали, скорее, с психоаналитическими концептами, чем с концептами исторической политики. Через понятия вытеснения, проекции, сублимации, представление о межпоколенческой травме и ее возвращении, авторы пытались раскрыть скрытые мотивации исторических акторов и неявный фон процессов развития культуры воспоминания³.

Таким образом, «синдром», «травма», «комплекс» стали конъюнктурными понятиями в изучении памяти, что, в свою очередь, привело к перегрузке концепта «жертвы» и тотальному подходу ко всей истории как к *травме* [Kansteiner 2002]. Доминик ЛаКапра, сам интенсивно работающий с психоаналитическими концептами и культурной памятью, выразил необходимость критики этого метода: «...существует большое искушение отвернуться от особенностей в пользу гиперболизированных обобщений, например, через крайне абстрактные формы дискурса, в которых вся история, или, по крайней мере, вся модерность предстает как травма, и сделать понятия жертвы и выжившего слишком общими» [LaCapra 1998: 23].

Критики психологизации подхода к изучению памяти говорили о том, что понятие *травмы*, как объяснение запоздалого выражения памяти групп, переживших негативное прошлое, затушевывает вопросы о политическом, социальном и экономическом контексте блокады памяти. Так, работа с понятием травмы не раскрывает специфические обстоятельства, которые способствуют производству или деконструкции коллективной памяти. То, что травматические события получают отражение в культурной памяти, скорее связано с современным интересом, с определенным *менеджментом воспоминания*, чем с запоздалым осознанием травматического события [Kansteiner 2002].

В этом контексте понятие *Deckerinnerung* Дэна Динера, «прикрывающая память», получило новое развитие: Алейда Ассманн расширила его аспектом политической индульгенции через инструментализацию образа жертвы. То, что представление о самом себе как о жертве истории используется для отвлечения внимания от собственной ответственности за преступления, говорит и Рейнхард Козелек: «Если все жертвы, то нет палачей» [Koselleck 1999:216].

Связь исследований памяти с темой холокоста предопределяет их этическую и моральную нагрузку. Учитывая гетерогенность и разнообразие культуры воспоминания, исследуются аспекты *общего* (*Gemeinsame Erinnerung*) и *разделенного* (*geteilte Erinnerung*) воспоминания [Margalit 2002]. Если первое объединяет людей, вспоминаящих определенный пережитый вместе эпизод,

³ Этот концепт применяется и для анализа памяти о сталинизме в России [Merridale 2001; Figs 2007; Etkind 2013].

то последнее требует диалога и инклюзивного дискурса, интегрирующего различные перспективы воспоминания. Это понятие схоже с предложенными Луизой Пазерини понятиями о shared (общий нарратив воспоминаний) и shareable (разделяемых и признанных) нарративах. В последнем случае речь идет об образах истории, воспоминаниях, обоюдно признаваемых как одним, так и другим коллективом [Paserini 2002]. Разделяемые нарративы являются условием для транснационального воспоминания, в котором обоюдно признаются — и уважаются — дискурсы «других» жертв.

Сегодня эти понятия активно используются в дискуссиях о перспективах и границах общей европейской памяти. Модель разделяемой, или *диалогичной памяти* (А. Ассманн), представляется способом преодоления конфликтов памяти на общеевропейском пространстве [Assmann A., 2011]. Память Европы должна представлять собой в идеале не гомогенный мастернарратив, а связанность памяти в диалоге и взаимное признание национальных образов истории. Обращаясь вновь к Петеру Эстерхази: предпосылкой к концу войны памяти «является разделенное европейское знание о нас самих как палачах и жертвах» [Esterhazy 2004].

Главной работой по теме «*глобализация памяти*» можно считать труд Даниеля Леви и Натана Шнейдера. Авторы пишут, что память о холокосте является глобальной парадигмой. На примере памяти о Шоа они показывают развитие внутерриториальной, транснациональной и расширяющейся глобальной памяти. Воспоминание о холокосте для авторов — это космополитичное воспоминание, потому что холокост стал негативным базовым моментом для глобальной справедливости, а память о жертвах холокоста привела к международной легитимации и развитию определенных нормативных правил, прежде всего, в дискурсе прав человека. Сегодня вопросы демократии, толерантности и преследование преступлений против человечества обсуждаются с обязательной отсылкой к памяти о Шоа [Levy, Sznajder 2007].

Говоря о динамике *космополитичной* памяти о холокосте в Европе, нельзя не упомянуть и обращение к внеевропейскому контексту воспоминания. Так, Майкл Ротберг ввел понятие multidirectional memory, мультивекторная память [Rothberg 2009]. С этим понятием связана критика евроцентризма, проявляющегося в концептах космополитичной памяти, и критика концепта *коллективной памяти*, исходя из которого воспоминание об одних жертвах исключает по умолчанию возможность активного воспоминания о других жертвах. Ротберг предлагает рассмотреть, как один дискурс памяти «дает жизнь» другому дискурсу памяти. На место конкуренции воспоминания приходят понимание памяти как предмета постоянного согласования, перекрестных референций и заимствований. Ротберг исследует, как формы культурной памяти о холокосте развивались в диалоге с процессами деколонизации, реконструируя неизвестную историю перекрестных отсылок и упоминаний. Тем не менее и в основе концепта Ротберга лежит явная этическая категория, что роднит его с кон-

цептом космополитичной памяти Леви-Шнейдера. Эта форма воспоминания имеет целью создание новых форм солидарности и нового видения справедливости.

**Медиавоспоминания:
подъем изучения музеализации**

Последние 15 лет популярным объектом исследования коллективной памяти были фильмы, музеи и исторические выставки, мемориальные комплексы, художественная литература. Исходя из простого наблюдения о том, что наша память находится в зависимости от средств массовой информации и коммуникации и формируется ими, их изучение стало неотъемлемой частью анализа культуры воспоминания. Медиа создают воспоминания и служат посредником между индивидуальным и коллективным измерениями памяти. Личные воспоминания получают значение лишь через посредничество средств коммуникации [Erl 2011].

Музей

Одним из средств формирования и потребления воспоминания является музей, — и именно «музеализация» памяти стала популярным предметом тщательного исследования в немецкой сфере *memory studies*⁴. Как формат исторической репрезентации, музей рассказывает и инсценирует историю, он объединяет в себе различные медиа, каждая из которых имеют собственную логику и собственный уровень анализа: фотографии, объекты, тексты [Flacke 2007]. Музей анализируют одновременно на различных уровнях: на уровне авторов, уровне репрезентации и на уровне дискурса.

На уровне *авторов* выставки с помощью интервью рассматриваются личные индивидуальные образы прошлого сотрудников музея и возможное влияние свидетелей прошлого (ветеранские организации, союзы жертв и т. п.) и международных сетей сотрудничества (например, международные общества изучения холокоста, мемориалы холокоста⁵). В какой степени итог работы над выставкой представляет собой консенсус между руководством и политическим заказом? Какое влияние оказывает вовлеченность свидетелей прошлого и выживших на содержание выставки?

⁴ См. Проект «Музеализация памяти в Мюнхене» (URL: <http://www.collegium-carolinum.de/forschung-erinnerungsgeschichte-musealisierung-der-erinnerung-abgeschlossen.html>) и актуальную программу в Университете Геттинген (URL: <https://www.uni-goettingen.de/de/forschungskolleg+%22wissen+%7c+ausstellen%22-581589.html>).

⁵ В частности, необходимо уделить внимание вопросу о том, как международные сообщества воспоминания переживших холокост влияют на концептуальное развитие выставок в еврейских музеях.

На уровне *репрезентации* следует уделять внимание структуре и порядку пространства, его эмоциональному содержанию (ауре), определению начала и конца обхода экспозиции. Музейные объекты являются не менее важной частью анализа музеализации. Так, основным тезисом теоретических работ о музее является осознание аутентичности объекта и его действие на посетителя: «Материальность и аутентичность объекта являются фундаментом для возможности прочувствования истории, оба воспринимаются визуально» [Korff 1999: 330]. Сами по себе, объекты являются фрагментами прошлого, которые сохранились в коллекциях (память как *Speichergedächtnis*, архив). Лишь через инсценировку и контекстуализацию в музейном пространстве они приобретают специфическое качество: они становятся знаками, указывающими в прошлое [Romian 1988]. Одновременно одной из их значимых функций является представление свидетельства, *corpus delicti*, — или утверждение «это действительно произошло». Аутентичная аура предметов при этом сильно влияет на посетителя, овладевает его вниманием и чувствами [Korff 1999]. Особенно характерно это для объектов, обладающих сильной энергией узнавания. Такие «вещи», *trigger*, в основном представляют собой следы геноцидальных преступлений: ключи, очки, ботинки, чемодан, рельсы, колючая проволока и т. п. Эти объекты могут быть использованы универсально и рассказать историю без сопроводительной этикетки или комментария [Assmann A., 2007].

Музей анализируется также как политический *дискурс* о прошлом в связи с тем, что он является местом интерпретации прошлого для определенных политических целей [Korff 1999]. Выставка может рассматриваться как дискурс, созданный в определенном пространстве, в определенное время, для определенных политических целей. Логично, что к анализу музейных выставок применим и инструмент исторического анализа дискурса⁶. Так, в выставках исследуются пробелы, фигуры умолчания, телеология рассказа, наличие противоречивых или сбалансированных высказываний, то, насколько нарратив моно- или многонационален, дискурсы виктимизации и героизации, влияние глобальных дискурсов воспоминания.

Другая методика необходима для изучения *memorial museum*, *мемориально-го музея*, бум которых продолжается до сих пор (музеи холокоста, музеи жертв коммунизма) [Williams 2007]. В основном такие музеи делают упор не на историческую информацию о событиях, а на скорбь о жертвах. Главную роль в них играют объекты и их аура. Функция музеев — признание группы жертв на официальном уровне и основание идентичности сообществ воспоминания здесь выражена сильнее, чем в обычных музеях, а на уровне репрезентации характер выставок отличается сильнейшей эмоциональной заряженностью подачи материала. Здесь могут быть представлены как реликвии жертв, так и их останки.

⁶ Лучший по сей день структурированный метод исторического анализа дискурса предложил Ахим Ландвер [Landwehr 2004].

Сильнейшее эмоциональное потрясение затрудняет для посетителя критическое отношение к представленной истории. Из-за сильного эмоционального заряда мемориальные музеи упрощают или упускают некоторые части истории, и задачей исследователя является раскрытие этих «неудобных» для национальной виктимизации или героизации точек. Анализ музейных экспозиций предполагает ответы на следующие вопросы: Как структурирована экспозиция (начало, апогей, конец)? Кто является главным героем выставки? Является ли образ прошлого плюралистичным и включающим другие воспоминания, отличается ли он амбивалентностью?⁷

Geschichtspolitik – Erinnerungspolitik:
Историческая политика – политика воспоминания

Очевидно, что в исследовательском поле памяти длительное время преобладали исследования эстетического и медиального аспекта культуры воспоминания. Первым употребившим понятие историческая политика в качестве аналитического концепта был Эдгар Вольфрум. В своей книге «Историческая политика в ФРГ» он требовал уделять больше внимания политическим процессам и политическим акторам, которые создают, формируют и контролируют культуру памяти [Wolfrum 1999].

Однако первоначально понятие «историческая политика» стало употребляться как оценочная категория в связи со спором историков 1986–1987 гг. [Augstein 1991]. Тогда консервативные историки, прежде всего Эрнст Нольте, предложили трактовать поход Гитлера на Советский Союз как «превентивный удар» против России, от которой якобы исходила большевистская угроза для всей Европы. Тем самым Нольте поставил под сомнение изначально заложенный в планах Гитлера характер войны с СССР на уничтожение. Против тезиса «превентивного удара» Гитлера и консервативного ревизионизма выступили многие немецкие историки, доказавшие своими исследованиями несостоятельность этого тезиса.

Историческая политика трактовалась при этом как попытка создать оправдывающее сознание традиций вне нацистской истории, чтобы обеспечить Германии новые возможности влияния с позиции политики силы [Donat 1991]. Постепенно негативный нормативный заряд понятия был пересмотрен. Так, Михаэль Вольффсон определил историческую политику как прагматичную государственную политику интересов, которая в своем действии опирается на исторический опыт и соотносится с ним [Wolffsohn 1988]. Тем самым он показал аналитическую перспективу изучения исторической политики. С этим соотносится понятие исторической политики и у Эдгара Вольфрума: «...историческая

⁷ См. пример использования такой методологии для анализа военных музеев Литвы [Makhotina 2017].

политика как старания политических элит для создания традиции и формирования идентичности. При этом используются (вместе с публицистикой, наукой, общественным мнением) различные стратегии воспоминания, спорные инсценировки, интегрирующие и дезинтегрирующие ритуалы и поляризующие дискурсы» [Wolfrum 1999: 2].

Подход к анализу исторической политики через *менеджмент воспоминания* (Erinnerungsmanagement), недавно введенный в оборот, также отказывается от нормативного заряда, так как не ставит своей целью формирование идентичности. Этот концепт сфокусирован только на процессах и их акторах [Landkammer, Zimmerli 2006]. Современные исследования подчеркивают две стороны исторической политики: актуализация прошлого как необходимое условие для оформления и стабилизации политического действия, с одной стороны, и инструментализация истории для политических целей сегодняшнего дня, с другой стороны⁸.

Работы Биргит Швеллинг подчеркнули различия между символообразующим и инструментальным действием при анализе исторической политики. В ее исследованиях историческая политика рассматривается и как символическое (смыслообразующее) измерение, и как материальное решение с определенной (политической) целью. Швеллинг предлагает уделять особое внимание политическим акторам, которые определяют прошлое и вносят это определение в политический процесс [Schwelling 2008].

Более узким понятием, чем *историческая политика*, является понятие *политика воспоминания* М. Кольштрука (*Erinnerungspolitik*), рассматривающая стратегическое оперирование историей для легитимации политических проектов. Анализ *политики воспоминаний* изучает специфические стратегии, применяемые к нарративам, и попытки популяризации этих определений, т. е. их введение в политический процесс [Kohlstruck 2004]. Концепт *политики воспоминания*, таким образом, более однозначно задается вопросом функции легитимации через историю. Легитимирующая функция соотношения с историей направлена на политическое руководство, политический режим и политическое сообщество. Данное сообщество часто трактуется как «коллективная идентичность», — понятие, которое уже с начала 2000-х является спорным из-за своей размытости и многозначности [Niethammer 2000; Straub 2004]. Так как понятие *идентичность* может иметь много значений, стало традицией оговариваться о его конкретном значении, прежде чем его использовать. Тем не менее многие считают понятие «идентичность» необходимым, чтобы описать процессы насильственного приписывания идентичностей [Rüsen 2006].

Итак, анализ нарративов с позиций *политики воспоминания* сфокусирован на акторах и их действиях. Вместе с тем все больше внимания получает вопрос

⁸ См. Фундаментальный анализ исторической политики в России при Владимире Путине [Bürger 2018].

о внутренней логике нарратива. На то, что нарративы о прошлом никогда не являются чем-то новым, а соотносятся с прошлым толкованием, указал Джеффри Олик, используя термин *зависимость от траектории предыдущего развития* (path dependence). «Коммеморативные образы прошлого отражают не только коммеморируемое событие и современные обстоятельства, но также зависят от прежних, более ранних коммемораций» [Olick 1999: 381]. Прошлое и настоящее находятся в диалоге друг с другом, диалоге воспоминания.

Анализ нарративов должен учитывать их зависимость от определенного жанра, т. е. типа выражения, шаблона речи, в котором они выдержаны. Реконцептуализируя нарративность, Олик опирается на положения Михаила Бахтина о том, что «каждое высказывание представляет собой звено в цепочке и всегда отвечает <...> на остальные высказывания, которые предваряют его» [Olick 1999: 382]. Все высказывания сделаны в особенной исторической ситуации, но, с другой стороны, все они содержат *следы памяти* прежних речевых использований. Различия между коммеморациями связаны не только с политикой настоящего и актуальными событиями, но и с формой и средствами, доступными в данный момент. Понятие «жанр рассказа» (центральный механизм диалога, набор условностей) определяет влияние текста на текст. Так, например, существует жанр «немецкой вины», в котором выдержаны речи официальных лиц на памятные даты, и каждое выражение в официальных обращениях отсылает к прошлому выражению.

Олик сделал *память о воспоминании* предметом изучения. Исследования, работающие с этим понятием, помогают различать повторение и продолжение образов и скрытый диалог *внутри* отдельно взятого нарратива. Таким образом, содержание коммеморативных текстов анализируется в различных темпоральных перспективах, когда образы прошлого конструируются не только в настоящем времени.

Эмоции и шоу

В последнее время исследователи памяти все больше внимания уделяют коммерциализации, эмоционализации подачи исторического материала, ее оформлению в виде медийного события, как способа воздействия на историческую память общества: «История переходит из университета на рынок культурного потребления» [Assmann A., 2007: 178]. Воспоминание как *event*, как шоу являются широко распространенным явлением сегодняшнего дня. Масштабные официальные инсценировки, частные театральные исторические постановки, коммерческое воспроизведение (re-enactment) все больше становятся предметом исследования памяти⁹.

⁹ См. проект <http://www.livinghistory.uni-tuebingen.de>

Бум празднования различных юбилеев и памятных дат во всей Европе отразился на динамике развития исторической памяти и на ее правилах. Очевидно, что развитие этой новой формы обращения к прошлому определяется скорее коммерческими интересами и жанром развлекательного шоу, чем смысловым пафосом [Hardtwig, Schug 2009]. Как отмечают критики, история все больше становится потребительским переживанием и все больше подчиняется законам жанра блокбастера или Голливуда. Знание и отношение к историческим событиям общество получает во все возрастающей степени из контекста поп-культуры, развлечений и удовольствий. Медиальная репрезентация прошлого, *Histo-tainment*, стала важной частью общества сопереживания, что, в свою очередь, критикуется как тривиализация или диснейфикация воспоминания [Levy, Sznajder 2007].

Таким образом, практика культуры воспоминания делится на два сорта: память «высокого качества» с памятниками, музеями, мемориалами, и «низший сорт» памяти в среде поп-культуры, где целью является не образование, а развлечение. Перформативные практики вызывают эмоционализацию прошлого и превращают историю в «приключение».

В 2000-х гг. анализ популярной репрезентации прошлого в Западной Европе стал полем исследования памяти, где вместе работали историки, социологи, антропологи [Gebhardt, Hitzler, Pfadenhauer 2000]. Исследователи принимают во внимание, что *events*, памятные празднования по-своему производят исторические нарративы и принимают участие в конструировании мест памяти¹⁰. В этнологии эти практики изучают как часть культурного перформанса, как форму коллективного *события* в *общественном* пространстве и рассматривают, насколько сообщества праздника служат для создания ситуативной, внебытовой формы общности [Gebhardt, Hitzler, Pfadenhauer 2000]. Эмоциональная составляющая перформанса превращает сообщество празднующих в сообщество совместного эмоционального переживания. Через этот подход можно проследить многообразие акторов, официальных, общественных, пространств памяти, практик, форм и символов, а также их различные интерпретации. Примером исследования с таким подходом может служить исследовательский проект, посвященный празднованию 9 мая, проведенный автором этой статьи с Мишей Габовичем и Кордулой Гданец в 2015 г. Наблюдение осуществлялось синхронно в шести странах, в десяти городах. Празднование Дня Победы рассматривалось именно с методической перспективы интерактивных перформативных переживаний, что позволяет проанализировать акторов, пространство, практики, формы, символы и их различные интерпретации [Gabowitsch 2017], и показать День Победы именно как народный праздник, а не «проект Кремля».

¹⁰ Примером этого является исследование В. Гебхардта об ивентизации праздников в Германии, в которых особенные события в жизни общества трансформируются в коммерциализированные ивенты с заменяемым содержанием [Gebhardt 2000].

Новые вызовы

Уже три десятилетия в Западной Европе мы наблюдаем виктимологическую парадигму культурной памяти, т. е. памяти, в центре которой находятся жертвы. Как пишет политолог Херфрид Мюнклер, память Германии — это память постгероического сообщества [Münkler 2000]. Поэтому, с одной стороны, жертвы стали центром культурного воспоминания, а индивидуализация памяти, т. е. подчеркивание индивидуального страдания каждого, — важнейшей практикой репрезентации негативного исторического опыта в музеях и мемориалах. В Германии политическую модель интерпретации прошлого окончательно сменила морально-этическая модель. С другой стороны, преобладание памяти о жертвах привело к манипуляциям для построения коллективной идентичности, к эмоционализации истории, одностороннему подчеркиванию страдания, политической национализации потерь, анонимизации палачей и пособников, — и конкуренции жертв.

Как пишет Ульрике Юрайт, историк и одна из создателей выставки *Преступления Вермахта*, память о жертвах холокоста выдвинулась в центр немецкого исторического воспоминания и привела к субъективизации роли жертвы [Jureit, Schneider 2010]. Концепт жертвы был перенесен с «чужих евреев» на самих себя, т. е. в немецком обществе преобладает практика самоидентификации с еврейскими жертвами. Фигура «чувствование себя жертвой» стала структурообразующей, а желание самоидентификации с жертвами превратилось в политическую норму. Долг памяти стал фундаментом, при любой возможности происходит обращение к памяти и исторической ответственности. Это рассматривается как комфортная память, лишённая противоречия и конфликтов.

При этом упускается из виду факт, что в постмигрантском обществе Германии уже нельзя говорить об объединяющей общество коллективной ответственности за холокост [Assmann A. 2013], пока дискурсы других национальных сообществ не включены в немецкую культурную память. Как отмечают немецкие историки (Забро, Юрайт, Канштейнер), память в Германии застывает в морализирующих и потерявших энергию и способность к критическому осмыслению формулах. Представленная на государственных мемориальных мероприятиях чрезмерная сентиментальность и мораль ведущих лиц государства вызывают одновременно пресыщение и утомление. Функция памяти, таким образом, это уже не преодоление забвения, как это было в 1980-е гг., а выработка идентичности жертвы, тогда как палачи и техники уничтожения остаются абстрактными, анонимными [Jureit, Schneider 2010: 57].

«Завет памяти» и обостренный страх перед угрозой забвения предлагают путь к спасению, которое надо заслужить искренним раскаянием. Память получает функцию индульгенции, что изначально может подразумевать конфликты. Результатом является морализирующая тотальность, принуждение к воспоминанию [Jureit, Schneider 2010: 57].

Как говорит Мартин Забро, активное воспоминание о холокосте стало настолько естественным фундаментом немецкой политической культуры, что потеряло свой критический потенциал. Из проекта исторического просвещения память превратилась в историческое утверждение, а из прошлого извлекаются уже не уроки, а лишь знакомые и узнаваемые ритуалы и клише¹¹. Расширенное и ускоренное распространение данной «памяти» через медиализацию или музеификацию, а также уход поколенческой, семейной памяти из дискурса о прошлом, выводят ее на статичный и монументальный уровень культурного священнойписания. Именно в этом состоит вызов для немецкой культуры памяти.

Как мы отмечали, индивидуальный подход к опыту является формой презентации холокоста: музеализация холокоста идет именно через личную историю жертв. Сегодня мы можем говорить о том, что холокост действует как на языковом, так и на визуальном уровне как универсальный образ подачи и иного негативного исторического опыта. Самый распространенный пример — это представление сталинских репрессий в музеях бывшего постсоветского пространства. Опыт узников Гулага представлен аналогично: личная история потери и страдания через обувь, чемоданы, реликвии жертв, рельсы, колючую проволоку, детские жертвы. Использование универсального визуального шифра Шоа приводит к эмоционализации представления истории. Потребители дискурса памяти, сформированной таким образом, не могут не сочувствовать жертвам сталинского террора, а из-за сильных эмоций они не способны к критическому рассмотрению истории. Политическая функция памяти, — это представление своей нации как жертвы геноцида на европейском уровне¹². Таким образом, не сформирован язык для описания негативного исторического опыта вне языка и образов виктимизации и вне формы представления холокоста как абстрактной и анонимной катастрофы.

Последствием этого является конкуренция жертв сталинизма и жертв холокоста. Как заметила Алейда Ассманн, «Европа Гулага противостоит Европе холокоста»¹³. Вместо конкретного рассмотрения вовлеченности общества в преступления, Гулаг и холокост инструментализируются и банализируются, а универсальный морализирующий дискурс о жертвах становится доминирующим. Так, в решении европейского парламента 2005 г. Вторая Мировая война представлена как *общая европейская трагедия*. Европейский парламент универсализирует завет о воспоминании жертв, при этом исключая из рамок воспоминания вопрос об ответственности за массовое уничтожение и геноцид [Jureit, Schneider 2010: 92]. Зло становится глобальным, холокост — универсальным опытом

¹¹ Sabrow, Martin: Der deutsche Aufarbeitungsdiskurs und seine Infragestellung. Доклад на конференции National History and New Nationalism in the 21st Century, DHI Paris, 11–13 April 2018.

¹² См. пример Литвы и музея жертв геноцида в Вильнюсе [Makhotina 2016].

¹³ Комментарий к книге Europa. Notre Histoire. 1.6.2018, Berlin.

страдания, а за фигурой жертвы скрыты механизмы, акторы и практики массовых преступлений.

Таким образом, сегодня мы можем наблюдать тенденции пересмотра оптимизма космополитического дискурса памяти о холокосте. На сегодняшний день есть примеры, когда отдельное общество может помнить о холокосте и в то же время быть задействовано в нарушениях прав человека.

* * *

Призыв к долгу памяти вовсе не означает моральную искренность на индивидуальном или коллективном уровне. Сегодня память о холокосте превратилась в транснациональный, транскультурный коллективный образ и долг, потеряв при этом способность служить реальным моральным компасом для самокритической рефлексии. Транснационализация памяти о холокосте превратила уничтожение евреев из национального в транснациональное событие, а долг воспоминания — из немецкой в европейскую необходимость, кульминировав в адаптации памяти о холокосте псевдоофициальную «базовую память» Европы и гражданскую религию. Превратившись в стандартизированный ритуал, воспоминание лишилось способности к самокритике и направлено теперь на подчеркивание успехов Европы в преодолении прошлого [Kansteiner 2017].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Махотина Е. Тяжелое обращение с прошлым. Опыт немецкого Vergangenheitsbewältigung // Россия и Германия. Вызовы 21 века. — СПб.: Росбалт, 2013.
2. Assmann A., Harth D. (Hg.). Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. — Frankfurt a. M., 1991.
3. Assmann A. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. — München, 1999.
4. Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. — München, 2006.
5. Assmann A. Konstruktion von Geschichte in Museen. // Aus Politik und Zeitgeschichte. V. 49. 2007.
6. Assmann A. Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung. — München, 2007.
7. Assmann A. Von kollektiver Gewalt zur gemeinsamen Zukunft // Assmann W. R., Kalnein, A. Graf von (Hg.): Erinnerung und Gesellschaft. Formen der Aufarbeitung von Diktaturen in Europa. — Berlin, 2011.
8. Assmann A. Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. — München, 2013.
9. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. — München, 1992.
10. Augstein R. (Hg.). Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. 8. Auflage. — München, 1991.

11. *Bürger P.* Geschichte im Dienst für das Vaterland. Traditionen und Ziele der russländischen Geschichtspolitik seit 2000. – Göttingen, 2018.
12. *Burke P.* History as a Social Memory // Butler T. (ed.). History, Culture, and the Mind. – NY, 1989.
13. *Diner D.* Negative Symbiose. Deutsche und Juden nach Auschwitz. // Diner D. (Hg.). Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und Historikerstreit. – Frankfurt a. M., 1986.
14. *Donat H.* Vorbemerkung: Die Indienstnahme der Geschichte. // Donat H., Wieland L. (Hg.). Auschwitz erst möglich gemacht? – Bremen, 1991.
15. *Erll A.* Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. – Stuttgart, Weimar, 2011.
16. *Esterhazy P.* Also: die Keule // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10. 2004. URL: http://www.faz.net/aktuell-politik-peter-eszerhazy-also-die-keule-1194869.html?printPageArticle=true#pageIndex_0
17. *Etkind A.* Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied. – Stanford, 2013.
18. *Figes O.* The Whisperers. Private Life in Stalin's Russia. – NY, 2007.
19. *Flacke M.* Geschichtsausstellungen. Zum ›Elend der Illustration‹. // Helas P. (Hg.). Bild-Geschichte. – Berlin, 2007.
20. *François E., Schulze H.* (Hg.). Deutsche Erinnerungsorte. 3 Bd. – München, 2001.
21. *François E., Serrier T.* (Eds.). Europa. Notre Histoire. – Paris, 2017.
22. *Frei N., Steinbacher S.* Beschweigen und Bekennen. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft und der Holocaust. – Göttingen, 2001.
23. *Friedländer S.* Memory, History and the Extermination of the Jews of the Europe. – Bloomington: Indiana UP, 1993.
24. *Gabowitsch M., Gdaniec C., Makhotina E.* (Hrsg.). Kriegsgedenken als Event. Der 9. Mai 2015 im postsowjetischen Europa. – Paderborn, 2017.
25. *Gebhardt W.* Feste, Feiern und Events. Zur Soziologie des Aussergewöhnlichen. – Wiesbaden, 2000.
26. *Gebhardt W., Hitzler R., Pfadenhauer M.* (Hg.). Events. Soziologie des Aussergewöhnlichen. – Opatowitz, 2000.
27. *Halbwachs M.* Das Gedächtnis und seine sozialen Bindungen. – Frankfurt a. M., 1985.
28. *Hardtwig W., Schug A.* (Hg.). History Sells!: Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt. – Frankfurt a. M., 2009.
29. *Jureit U., Schneider Ch.* (Hg.). Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung. – Bonn, 2010.
30. *Kansteiner W.* Finding Meaning in Memory. A methodological critique of collective memory studies. // History and Theory. V. 41. 2002.
31. *Kansteiner W.* Transnational Holocaust Memory, Digital Culture and the End of Reception Studies // Sindbæk A., Törnquist-Plewa B. (eds.) European Studies: Transcultural Mediation and Reception. Bd. 34. 2017.
32. *Kohlstruck M.* Erinnerungspolitik. Kollektive Identität, Neue Ordnung, Diskurshegemonie. // Schwelling, Birgit (Hg.): Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft. – Wiesbaden, 2004.
33. *Korff G.* Bildwelt Ausstellung – Die Darstellung der Geschichte im Museum. // Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum. – Frankfurt a. M. 1999.
34. *Koselleck R.* Die Diskontinuität der Erinnerung. // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1999. 47. Jg. S. 213–222.

35. *Koselleck R.* Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses. // Knigge V., Frei N. (Hrsg.). *Verbrechen erinnern. Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses.* – München, 2002.
36. *LaCapra D.* *History and Memory after Auschwitz.* – Ithaca, 1998.
37. *Landkammer J., Zimmerli W.* Erinnerungsmanagement und politische Systemwechsel. Kleine Versuche zur Erklärung eines großen Problems. // Landkammer J., Noetzel T. (Hg.).
38. *Erinnerungsmanagement. Systemtransformation und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich.* – München, 2006.
39. *Landwehr A.* *Geschichte des Sagbaren. Einführung in die historische Diskursanalyse.* – Tübingen, 2004.
40. *Langer L.* *Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory.* – London, New Haven, 1991.
41. *Levy D., Sznajder L.* *Erinnerungen an den Holocaust im globalen Zeitalter.* – Frankfurt a. M., 2007.
42. *Makhotina E.* The “Suffered” Memory and “Learned” Memory: The Holocaust and Jewish History in Lithuanian Museums and Memorials after 1990 // *Yad Vashem Studies* 44–1. 2016. Pp. 207–246.
43. *Makhotina E.* *Erinnerungen an den Krieg – Krieg der Erinnerungen. Litauen und der Zweite Weltkrieg.* – Göttingen, 2017.
44. *Margalit A.* *Ethik der Erinnerung.* – Frankfurt a. M., 2002.
45. *Merridale C.* *Steinerne Nächte. Leiden und Sterben in Russland.* – München, 2001.
46. *Münkler H., Firscher K.* „Nothing to kill or die for...“. Überlegungen zur politischen Theorie des Opfers. // *Leviathan.* – 2000. – Bd. 28. S. 343–362.
47. *Niethammer L.* *Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur.* – Hamburg, 2000.
48. *Nora P.* (Ed.) *Les Lieux de mémoire.* – Paris, 1984–1992.
49. *Nora P.* *Zwischen Geschichte und Gedächtnis.* – Berlin 1990.
50. *Olick J.* Genre Memories and Memory Genres: A Dialogical Analysis of May 8, 1945 Commemorations in the Federal Republic of Germany. // *American Sociological Review.* V. 64. 1999. Pp. 381–402.
51. *Paserini L.* *Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and Re-Interpreting the Past.* – Berkeley, 2002.
52. *Pomian K.* *Der Ursprung des Museums. Von Sammeln.* – Berlin, 1988.
53. *Rosenthal G.* *Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen.* – Frankfurt a. M., 1995.
54. *Rothberg M.* *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization.* – Stanford, 2009.
55. *Rousso H.* *Le Syndrome de Vichy 1944 a nos jours.* – Paris, 1987.
56. *Rüsen J.* Was ist Geschichtskultur? // Füßmann K. (Hrsg.): *Historische Faszination. Geschichtskultur heute.* – Böhlau, Köln, 1994.
57. *Rüsen J., Straub J.* (Hg.). *Die dunkle Spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschichtsbewusstsein.* – Frankfurt a. M., 1998.
58. *Sabrow M., Jarausch K.* *Die historische Meistererzählung. Deutungslinien der deutschen Nationalgeschichte nach 1945.* – Göttingen, 2002.
59. *Schwelling B.* *Politische Erinnerung. Eine akteurs- und handlungsbezogene Perspektive auf den Zusammenhang von Gedächtnis, Erinnerung und Politik.* // Heinrich H.-A., Kohlstruck M. (Hg.): *Geschichtspolitik und sozialwissenschaftliche Theorie.* – Stuttgart, 2008.

60. *Straub J.* Identität // Jaeger F., Liebisch B. (Hg.). Handbuch der Kulturwissenschaften. Band 1. — Stuttgart, 2004.
61. *Welzer H.* Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. — München 2002.
62. *Williams P.* Memorial Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities. — Dorset, 2007.
63. *Wolffsohn M.* Ewige Schuld? 40 Jahre Deutsch-Jüdisch-Israelische Beziehungen. — München, 1988.
64. *Wolfrum E.* Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990. — Darmstadt, 1999.
65. *Young J. E.* Nach-Bilder des Holocaust in zeitgenössischer Kunst und Architektur. — Hamburg, 2002.

А. В. Фелькер

«НЕПРОСТОЕ» НАСЛЕДИЕ:
ПРОБЛЕМАТИКА МЕСТ ПАМЯТИ
О МАССОВОМ НАСИЛИИ ЗАПАДНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ¹

Статья знакомит с диапазоном определений, применяемых в историографии относительно мест «непростого» культурного наследия — мест, связанных с массовым насилием. Приведены основные теоретические подходы к такому наследию, а также примеры использования понятий «противоречивое», «оспариваемое», «сложное», «мрачное», «нежеланное» наследие и др. Данные понятия широко используются в работах, посвященных конкретным ситуациям (case studies) как в Западной, так и в Восточной Европе. Тем не менее очевидна существенная разница в том, как такое наследие «функционализирует» в обоих регионах.

Ключевые слова: память о насилии, наследие конфликта, культурное наследие, коллективная память, методология.

Введение

Начиная с 1990-х гг. «непростое» культурное наследие и места памяти со «сложным» прошлым неизменно привлекают как внимание исследователей, так и международное финансирование. К примеру, первый проект, поддержанный грантом консорциума *Гуманитарные науки в Европейском исследовательском пространстве* (HERA)² в рамках «волны» 2012–2016 гг., был посвящен исследованию бывших военных лагерей как мест конфликтного европейского наследия. Команда проекта «В поисках доступа к военным лагерям: инклюзивные стратегии использования европейских объектов конфликтного наследия»³ фокусировала внимание на усиливающемся контрасте: в то время как в большинстве стран послевоенной Западной Европы бывшие концентрационные лагеря и места принудительного заключения интернированных лиц становились символами антифашистского сопротивления и консолидирующей памяти о холокосте (и остаются таковыми до сих пор), в странах посткоммунистической Восточной Европы такие «ландшафты террора», наоборот, катализировали разобщающий дискурс. Подобное происходило, в частности, из-за того, что

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

² См. веб-сайт консорциума *Humanities in the European Research Area (HERA)* <http://heranet.info/projects/hera-2016-uses-of-the-past/>

³ См. веб-сайт проекта *Accessing Campsites: Inclusive Strategies for using European Conflicted Heritage Sites* <http://www.campscapes.org/>

в военное и поствоенное время в бывших лагерях на территории Восточной Европы могли попеременно содержаться лица, бывшие в рамках одного контекста и режима жертвами, но в ином контексте и при другом режиме те же лица могли являться палачами. Соответственно, следовало выработать новые подходы к интерпретации таких конфликтных мест памяти о военном насилии.

Упомянутый проект является значимым по двум причинам. Во-первых, его основная исследовательская проблематика (как и многих других, схожих с ним проектов) касалась дилемм сложного прошлого и его интерпретации в качестве коллективной памяти. Однако методологическая «рамка» проекта была заявлена как исследование культурного наследия (*Cultural Heritage Studies*). Это говорит о проницаемости дисциплинарных границ, равно так и об относительно подчиненном положении исследований наследия по отношению к исследованиям памяти, в том числе и политики памяти. Во-вторых, как и многие другие, данный проект ставил целью предложить новые способы прочтения «наследия со сложным прошлым». Следовало выработать механизмы, способствующие тому, чтобы такое наследие стало доступным и понятным на локальном, национальном и глобальном уровнях. Следовательно, гуманитарные исследования не лишены требования практического применения. Кроме того, очевидно, что агентность исследователя выходит за пределы непосредственного научного изыскания и может быть нацелена на изменение общественного дискурса.

Отталкиваясь от заявленного различия в интерпретации и функционировании «непростого» наследия в странах Западной и Восточной Европы, мы предложим обзор теоретико-методологических подходов к местам памяти о массовом (в том числе военном) насилии в современной западной историографии. Нас будет интересовать сопряжение исследований наследия и политики памяти на примере «непростого» наследия. Мы рассмотрим теоретические обоснования маркирования наследия как «сложного», «оспариваемого», «темного» и т. д., а также те исследовательские проблемы, которые рассматривают в связи с таким наследием и на его примерах. Например, мы рассмотрим вопрос, как объекты «непростого» наследия служат конструированию идеологически нагруженной коллективной памяти, и как эти же объекты могут служить средством примирения со сложным / конфликтным прошлым.

Со времени начала своего становления, пришедшегося на 1980-е гг., исследования наследия накопили достаточный объем знания, чтобы разделиться на несколько взаимосвязанных, но автономных ответвлений. Следует назвать критические исследования наследия (*Critical Heritage Studies*), исследования в области управления наследием (*Heritage Management*), законодательства в области наследия (*Heritage Legislation*), политики наследия (*Heritage Policies*) и т. д. «Непростое» наследие находится в сфере интереса всех вышеприведенных субдисциплин, однако в данной статье мы рассмотрим его сквозь призму критического подхода к наследию. С одной стороны, исследования наследия во многом опираются на достижения смежных дисциплин, таких как история, история

искусств, социология, антропология, этнография, теория и практика архитектуры, реставрация, музейное дело и др.⁴. С другой стороны, центральной проблемой исследований наследия является то, как прошлое, понимаемое как комплекс объектов и смыслов, используется в настоящем — посредством практик и создания (новых) смыслов. Специалисты в данной области исходят из того, что наследие создается человеком путем сознательного выбора, что сохранять, а что нет, и путем формирования определенных дискурсов. Наследие включает в себе множество смыслов, зачастую конкурирующих друг с другом. Так, на наследие направлена полифункциональная агентность человека — как сообществ разных уровней, так и отдельных индивидов, включая специалистов. Агентность по отношению к наследию может проявляться в действии, бездействии, восприятии и др., но всегда имеет последствия. Эти последствия, равно как и принципы дискурсивного построения и комплекс действий по отношению к наследию, изучают на примере конкретных ситуаций (case studies) [Carman & Stig Sørensen 2009: 20].

**«Оспариваемое», «сложное», «мрачное» —
наследие в поисках определения**

Изучение истории и свойств предметов, объектов и практик, которые принято относить к наследию, имело место задолго до 1980-х гг. Однако именно в этом десятилетии были опубликованы работы, задавшие методологическую рамку дисциплины. Этими работами были тексты историков и географов, в которых была представлена новая интерпретация прошлого (и наследия как его носителя). В 1985 г. была опубликована книга Д. Лоуэнthalя «Прошлое — чужая страна» [Lowenthal 1985]. Его книга состояла из трех разделов, в каждом из которых автор рассматривал примеры того, как прошлое в разные периоды и на разных континентах влияло на построение настоящего. На страницах этой же книги автор развернул дискуссию о разнице между памятью и историей, а также ввел сюжет, остающийся и сегодня популярным у исследователей наследия и памяти — о репрезентации прошлого в музеях и СМИ. В 1987 г. увидела свет провокационная книга Роберта Хьюисона «Индустрия наследия: Великобритания в условиях упадка» [Hewison 1987]. Автор показывает, как в условиях поствоенной экономической и социальной неопределенности образ прошлого постепенно становился все более сглаженным и идеализированным. Это, по Хьюисону, стало отправным пунктом в разворачивании индустрии наследия, которая при поддержке государственных институтов и повсеместной музеификации объектов архитектуры и ландшафтов, стремится создать образ прошлого,

⁴ Несмотря на то что университетские программы, посвященные наследию, намеренно стремятся подготовить специалистов, сведущих как в теории, так и в практике, потенциал размежевания и отсутствия кооперации между теоретиками и практиками в этой сфере остается высоким.

которого на самом деле никогда не существовало. В таком же ключе написаны многие более поздние знаковые работы по наследию⁵. Выдающийся труд команды французских ученых, состоящей из более сотни исследователей под руководством Пьера Нора, исследовал формирование французской национальной идентичности на примере создания мест памяти по всей стране. Коллекция из семи томов под общим названием «Места памяти», изданная в 1984–1992 гг. и вскоре переведенная на английский [Realms of memory 1997], является общепризнанной историографической вехой.

Сегодня разнообразие проблем в фокусе дисциплины и изученных конкретных ситуаций настолько велико, что коллективные монографии о методологии исследований наследия опубликованы большинством авторитетных издательств академической литературы [The Ashgate Research Companion 2008; Understanding Heritage 2013; A Companion to Heritage 2015; The Palgrave Handbook 2015]. Центральная тема на пересечении исследований наследия и исследований политики памяти — использование наследия в качестве ресурса и символического капитала для достижения политических целей, интересов и амбиций. Сюда же относятся исследования о логике принятия решений в вопросах наследия, стратегиях взаимодействия профессиональных сообществ, гражданского общества и представителей власти в вопросах охраны и интерпретации объектов наследия (материального и нематериального).

Достижением исследований наследия последних лет является расширение географического ареала в фокусе изучения. Дисциплине интересны все континенты, контексты и сообщества. Однако специалисты, работающие в западных университетах, тяготеют к изучению наследия Африки и Азии, в частности, под влиянием постколониальных исследований. Авторы, заложившие основу дисциплины исследований наследия, делали выводы, прежде всего, на материале западных стран, особенно — европейских. После 1989 г. регион Центральной и Восточной Европы стал востребованным для исследований наследия и памяти, прежде всего, как регион многоликой и тектонической трансформации. Для жителей Центральной и Восточной Европы изучение региона имеет самостоятельную ценность. В рамках же глобальной историографии, исследования политики наследия и памяти в данном регионе занимают довольно ограниченное место [Gonzalez-Enriquez 2001; Murzyn 2008; Cities After the Fall ... 2009; Heritage, Ideology 2012; History, Memory 2013; Bringing the Dark Past ... 2013]. Очевидно, что апроприация наследия в Восточной Европе происходит иначе, чем в Запад-

⁵ К примеру, коллективная монография «Преумножая прошлое: наследие, самобытность и место в многокультурных обществах» [Pluralizing pasts... 2007]. Коллектив авторов, работавших над этим сборником, внес весомый вклад в развитие дисциплины изучения наследия, в том числе в развитие понятийного аппарата. Одна из статей Грегори Дж. Эшворта, впервые опубликованная в 1994 г., была в 2017 г. переведена на русский для тематического номера журнала «Неприкосновенный запас», посвященного проблемам наследия [Эшворт 2017].

ной, однако до сих пор не была предложена теоретическая модель, адекватно объясняющая происходящее в регионе. В отличие от Западной Европы, где примирение и покаяние были выбраны в качестве инструментов преодоления травмы Второй мировой войны и дальнейшего сплочения [см. *The Politics of Memory* 2006], в Восточной Европе эти практики восприняли лишь отчасти. Одним из путей решений данной проблемы стали усилия рассматривать регион Центральной и Восточной Европы как пространства разворачивания войн памяти, а следовательно — войн за наследие.

Работы, которые рассматривают, как политика памяти проявляет себя на примерах управления объектами наследия, ставят целью ответить на следующие вопросы:

- Каковы частные способы и механизмы использования объектов наследия в политических целях?
- Какую роль играет политический интерес в процессе принятия решений о необходимости сохранения наследия или игнорирования такой необходимости?
- Как проявляется столкновение различных интересов при интерпретации объектов наследия? Каковы последствия этих столкновений для объектов наследия?
- Как те или иные интересы приобретают решающее значение?
- Как конструируется и проявляет себя идея «права первенства» интерпретации наследия? Насколько потенциально конфликтен этот принцип?
- Какова роль местных сообществ в вопросе управления культурным наследием? Насколько роль местных сообществ зависит от контекста? Насколько эффективно удается местным сообществам репрезентировать свою позицию по отношению к наследию по сравнению с институтами власти?

По отношению к объектам «непростого» наследия актуальны следующие вопросы:

- Каков диапазон возможных способов репрезентаций объектов, связанных с массовым насилием?
- Предполагает ли использование места / объекта со «сложным» прошлым проявление агентности одной определенной группы акторов?
- Каковы возможные стратегии репрезентации такого места / объекта в случае одновременного присутствия конкурирующих нарративов?
- Какую роль играет политический интерес в процессе принятия решения о стратегии репрезентации таких мест / объектов?
- Какова функция сравнительного анализа подобных мест / объектов? Оправдано ли в исследовательских целях сравнение мест памяти о массовом насилии из разных контекстов (на разных континентах)?

Рассмотрим диапазон определений «непростого» наследия и приведем примеры использования данных терминов применительно к конкретным местам памяти:

Dissonant Heritage («противоречивое наследие, диссонанс в наследии»). Данный термин был предложен Гр. Эшвортом и Дж. Танбриджем в 1994 г. в их коллективной монографии с одноименным названием [Tunbridge, Ashworth 1994]. Настаивая на глобальном подходе, авторы на примере Центральной Европы (Германии, Запада России, Польши), Канады и Южной Африки обстоятельно рассматривали концентрационные лагеря, а также места, в которых совершались значимые злодеяния, имел место массовый мор от болезней, притеснения и т. д. Все эти места, по мнению авторов, являются наследием, которое по определению используется как культурный, политический и экономический ресурс [Tunbridge, Ashworth 1994: 34]. Целью анализа была выработка механизмов / стратегий повествования о подобных местах трагического прошлого, которые не вызвали бы у обывателя (по-разному интерпретирующего наследие) отчуждения, а, наоборот, побудили бы к сопереживанию и желанию сопричастности. Было выделено несколько областей, где диссонанс в интерпретации наследия наиболее заметен: в коммерциализации [*commodification*], пространственной шкале [*spatial scale*] и содержании послания, транслируемого аудитории [*content of messages*] [Tunbridge, Ashworth 1994: 22–33]. Авторы предложили три вида стратегий интерпретации противоречивого наследия.

1) инклюзивный подход (*inclusivist approach*), нацеленный на согласование множественности интересов обывателей;

2) подход, минимизирующий риски (*'minimalist' approach*), нацеленный на избегание противоречий;

3) локализация (*localisation*), призванная осознанно признавать разные интерпретации наследия, соблюдая при этом правило дистанции между несколькими объектами [Tunbridge, Ashworth 1994: 219–222; см. Чепайтене 2010: 245–250]. Диссонансу авторы противопоставляют гармонию в интерпретации наследия. Вышеназванные стратегии призваны способствовать такой гармонии, а самой действенной стратегией ее достижения признан инклюзивный подход.

Contested Heritage («оспариваемое наследие»). Данный термин задает общую рамку понимания сути культурного наследия как исследовательской проблемы, а также диапазона применяемых действий, которые и определяют категорию «оспариваемый». В одноименном сборнике Х. Силверман утверждает, что оспариваемым может в равной степени являться как материальное, так и нематериальное наследие. Желание фактически и(ли) символически присвоить наследие себе (или, наоборот, отторгнуть) побуждает различные группы заявлять право на наследие, присваивать, использовать, исключать или избавляться от маркеров и манифестаций [Contested Cultural Heritage 2011]. Это могут быть религиозные, этнические, национальные, политические группы [Contested Cultural Heritage 2011]. Авторы сборника аргументируют повсеместность данного свойства наследия, собрав воедино примеры со всего мира. Большая мечеть в Кордове, традиция стенной росписи в Белфасте, замки «с привидениями» в Британии, скульптуры Парфенона, культурное наследие фашистской Италии, «марш-

рут рабства» в Западной Африке и наследие майя — столь различные примеры оправданно могут быть проанализированы в рамках парадигмы наследия, права на которое заявляют одновременно несколько конкурирующих групп. Это и делает вышеупомянутые примеры оспариваемым наследием.

Difficult Heritage («сложное наследие»). Более всего данный термин известен по монографии Ш. Макдональд [McDonald 2009], которая, в отличие от предыдущей работы, рассматривала одно определенное место памяти — область на юго-востоке Нюрнберга площадью более 11 км². С 1933 по 1938 г. это была территория съездов Национал-социалистической Немецкой Рабочей Партии (НСДАП), известная также по фильмам Л. Рифеншталь. «Сложность» данного пространства, по Макдональд, заключается в памяти о совершенных злодеяниях режима, а также в неизбежной необходимости соприкоснуться и иметь дело с данным пространством как с напоминанием о содеянном. При этом «сложным наследием» для автора является не столько территория съездов, сколько «прошлое, которое признано значимым в настоящем, но которое также оспаривается и неудобно для общественного примирения и выстраивания позитивной, самоутверждающейся современной идентичности» [McDonald 2009]. Автор рассматривает город Нюрнберг как пространственную и символическую рамку, где происходило последовательное осмысление роли «сложного наследия» эпохи нацизма и, следовательно, принимались решения о том, как следует поступить с территорией съездов. Автор подчеркивает решающую роль представителей властей, в данном случае — членов городского совета — в принятии соответствующих решений. Территория активно застраивалась вплоть до конца 1960-х гг. В 1973 г. то, что сохранилось после застройки, стало объектом государственной охраны, а в 1980-х и 1990-х гг. разрабатывалось несколько проектов музификации пространства. Сегодня действующая экспозиция музея под открытым небом на бывшей территории съездов НСДАП привлекает намного меньше посетителей, чем тщательно отреставрированные средневековая Нюрнбергская крепость и старый город. Политика наследия в современном Нюрнберге отчетливо призвана, не забывая о «сложном наследии», то есть о нацистских съездах и судах над нацистами, подчеркнуть идентичность города как оплота объединяющего института — Священной Римской империи (с отсылкой к консолидирующей роли Евросоюза).

Dark Heritage («мрачное наследие»). Данный термин чаще всего используют применительно не к объектам наследия, но к практике «мрачного туризма» — намеренного посещения мест, связанных со смертью и массовым насилием, принуждением и т. д. Туристы массово посещают бывшие тюрьмы [Strange, Kempa 2003], места сражений [Miles 2014], покушений, террористических актов, концентрационные лагеря и т. д. Таким образом, посещающие «потребляют» сложное прошлое. Основной вопрос данной категории исследований — каковы поведенческие практики, а главное — мотивация визита. Последняя, как показывает практика, не ограничивается скорбью / сопереживанием и любопытством,

и может включать множество вариантов, как, например, ожидание сильных эмоций или желание приобщиться к «известной» истории.

Unwanted Heritage («нежеланное наследие»). Термин отсылает к отчуждению как основному действию, направленному на такое наследие. Данное определение используется реже приведенных выше. Д. Лайт [Light 2001] ввел его в оборот применительно к ситуации с коммунистическим наследием в Восточной Европе. Рассмотрев на примере Бухареста рост популярности наследия эры Чаушеску среди западных туристов, автор заключает, что в ситуации неприятия наследия локальным сообществом, международный тематический туризм может функционировать как продукт массового символического потребления, но «работать» он будет исключительно для внешней аудитории. Отчетливое нежелание вспоминать эпоху социалистической Румынии и конструктивно вписать ее в исторический нарратив внутри страны приводит к неординарной ситуации. Наследие данного периода успешно «продается» западным туристам в виде туров, тематических меню и других занятий и продуктов, в то время как на локальном уровне устойчиво сильна тенденция отрицать и порицать эту эпоху.

Следующие термины являются в относительной степени синонимичными и взаимозаменяемыми. Основная цель данных определений — подчеркнуть оспариваемый характер наследия. При этом такое наследие может быть названо *uncomfortable* (неудобным) [см. Higgins 2013], *problematic* (проблематичным), *controversial* (спорным) [Gratziou 2008] или *ambiguous* (двусмысленным) [Hitchcock 2003].

Лагерь

Обратимся к примерам того, в каких категориях и определениях рассматривали наиболее знаковые восточноевропейские места памяти о военном насилии. Ожидаемо начнем с концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от Кракова, на юго-востоке Польши. Данная система лагерей, не в последнюю очередь благодаря кинематографу и политике памяти, но также из-за масштабов уничтожения и долгосрочности функционирования, стала одним из наиболее узнаваемых символов холокоста и памяти о нем. Дж. Зубжицки [Zubrzycki 2016] не опирается ни на один из вышеперечисленных терминов, но подчеркивает два основных спорных аспекта Аушвиц-Биркенау как места памяти. Во-первых, несмотря на то что музей на территории системы лагерей был открыт вскоре после Второй мировой войны, процесс признания того, что большинство жертв лагеря были евреями, длился несколько десятилетий. То, что 90 % жертв лагеря были евреями, получило огласку лишь после 1989 г. Во-вторых, в польской культуре памяти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) воспринимают, прежде всего, как место страдания поляков, также бывших заключенными и жертвами лагеря. Конкуренция данных нарративов жертвенности на-

лицо и проявляется как в публичном дискурсе, так и на межличностном уровне [см. Lehrer 2013: 54–90].

Еще один пример многослойного места памяти о военном насилии — лес около поселка Понары недалеко от Вильнюса, в Литве. Во время Второй мировой войны там были массово расстреляны евреи Вильнюса, советские военнопленные и участники сопротивления. «Сложность» данного места памяти заключается в личности казнящих — кроме нацистов, в расстрелах принимали участие литовские коллаборационисты, что, с одной стороны, противоречит нарративу жертвенности литовского народа, а с другой, не исключает того, что мемориал в Понарах является местом поминовения и литовских жертв (солдаты литовских местных отрядов). Большинство жертв Понар — евреи из Вильнюсского гетто и окрестностей, однако мемориал в их память — лишь один из множества, установленных на территории памятной зоны. По утверждению Е. Махотиной, различные группы жертв Понар — евреи, советские военнопленные (которых вспоминают русские), поляки (солдаты подразделений Армии Крайовой) и литовцы не только представлены на территории мемориала отдельными памятниками, но и сопряжены со своими собственными, отдельными днями памяти [Makhotina 2017; Махотина 2013]. Данная ситуация резонирует с одной из стратегий управления противоречивым наследием, предложенной Эшвортом и Танбриджем, — локализацией (см. выше). Особенность Понар в том, что данная ситуация параллельного присутствия нарративов и практик памяти не является результатом целенаправленной стратегии управления, а сложилась автономно.

Приведем два примера обращения с «непростым» наследием военного насилия и принуждения в Восточной и Западной Европе. Первый пример — цитадель во Львове в бывшей Большой Максимилиановской башне № 2. В 2009 г. после реконструкции в башне была открыта гостиница. Брендинг гостиницы маркирует это место как пример австрийской фортификационной архитектуры и обещает гостям «любоваться Львовом сквозь призму исторических событий, среди роскоши австрийского имперского стиля, в окружении величественных пейзажей и средневекового духа» [История, б. г.]. Преднамеренно используя «беспроблемные» аспекты истории объекта, такой брендинг осознанно опускает «неудобную» историю объекта. Во время обеих мировых войн в цитадели размещались казармы различных войск, а во время Второй Мировой войны — нацистский лагерь военнопленных Штатлаг-328, где последние не только содержались, но и уничтожались [Вул. Грабовського, 11, б. г.]. Коммеморация военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны не институционализована на постсоветском пространстве настолько, как коммеморация солдат, погибших на фронтах войн, жертв политических репрессий и геноцидов. Несмотря на то что решение коммерциализировать объект вызвало определенную публичную дискуссию в городе, башня осталась гостиницей.

Другим путем пошли в Фарге, местности на севере Германии недалеко от г. Бремен. С 2011 г. бункер «Валентин» в Фарге функционирует как мемориальный комплекс в память о судьбах подневольных рабочих, сгинувших на принудительных работах во время строительства бункера (официальное открытие состоялось в 2015 г.). Строительство началось в 1943 г., и было нацелено на создание инфраструктуры для сборки подводных лодок, чего, однако, так и не произошло. В строительстве использовался подневольный труд рабочих, пригнанных со всех концов Европы [см. Buggeln 2009: 606–632]. Будучи после войны в ведении Бундесвера, а с 1960-х вплоть до конца 2010 г. — немецкого военно-морского флота, гигантское здание было режимным объектом и использовалось как склад. Создание мемориального центра стало результатом организованных усилий переживших войну бывших подневольных рабочих и финансирования со стороны федерального и государственного бюджета. Бункер в Фарге — пример, где конкуренция за объект (между военными и сторонниками мемориализации) не была открытой и доступной общественности. В то же время это пример того, как память о сложном прошлом постепенно становилась приоритетом в интерпретации места и объекта наследия, не без усилий одних акторов и противодействия со стороны других. Места, где ранее располагались лагеря, в которых содержались подневольные рабочие, также были помечены мемориальными знаками.

Город

Бывшие концентрационные лагеря и места содержания интернированных лиц являются местами наиболее высокой концентрации памяти о «сложном» прошлом. Однако такие места — лишь один пример мест «непростого» наследия. «Непростым» наследием могут являться и целые города. Рассматриваемые ниже случаи включают примеры, когда либо сами объекты наследия являются предметом оспаривания, либо тот или иной объект находится на территории, оспариваемой конкурирующими группами и нарративами. В последнем случае объекты наследия «работают» на «парадигму-победителя».

«Непростое» наследие может существовать в условиях (1) неконфликтного использования, (2) оспаривания / конкуренции и (3) маргинализации. Несмотря на то что теоретически возможно выделить три вышеперечисленных типа использования наследия, на практике эти типы часто сосуществуют, а неконфликтное использование наследия одним нарративом обеспечивается маргинализацией другого нарратива. В ситуации конкурирующих нарративов выделяется та грань истории объекта, которая отвечает задачам контролирующего нарратива, в то время как «неудобная» грань истории объекта может намеренно замалчиваться.

Ситуация умолчания, маргинализации и / или уничтожения объекта наследия также может иметь место в контексте спора за территорию, равно как в кон-

тексте «классической» конкуренции нарративов (к примеру, снос памятника Ленину в Харькове олицетворял сочетание двух подобных конфликтов). Маргинализации может подвергнуться наследие не доминирующих этнических или классовых групп. Концепт наследия как ценности (материальной и символической), что по определению заслуживает сохранения, при этом находится в конфликте с политической повесткой дня, требующей уничтожения. Смена политических режимов априори предполагает переосмысление, апроприацию либо маргинализацию «неудобного» наследия.

Со временем такое наследие может служить либо преодолению неудобного прошлого, либо дальнейшему умолчанию о нем. Самый известный пример здесь — еврейское культурное наследие, которое в некоторых локациях постсоветского пространства по разным причинам до сих пор маргинализировано, а в некоторых служит инструментом в попытках примирения (официальный нарратив мемориала «Пространство синагог» во Львове). Конкретные ситуации показывают, что в большинстве случаев присутствует смешение условий, и ранее маргинализированный объект наследия может впоследствии быть неконфликтно интерпретирован. Примеры, о которых речь пойдет ниже, указывают на то, что способы интерпретации наследия и смыслы, закрепленные за ним, меняются с течением времени. Исследователей интересует именно данная динамика смены смыслов и практик по отношению к наследию.

Ситуация конкуренции нескольких нарративов за публичное пространство города характерна для Восточной Европы. Особенно это актуально для городов пограничья, где сменяющие друг друга политические режимы каждый раз меняли пространство «под себя». Из примеров, среди многих, можно привести Коложвар / Клуж-Напока в Румынии (последовательная конкуренция австро-венгерского и румынского нарративов), Львов / Лемберг / Львів в западной Украине (конкуренция австро-венгерского, польского, советского / русского и украинского нарративов), Прессбург / Пожонь / Братислава в Словакии (конкуренция условно 'немецкого', венгерского и словацкого нарративов), Кишинев / Кишинэу в Молдове (конкуренция имперского российского, румынского, советского и молдавского нарративов), Вильна / Вильно / Вильнюс в Литве (конкуренция российского, немецкого, польского, советского, литовского нарративов), Бреслау / Вратислава / Вроцлав в Польше и мн. др. Ситуация конкуренции фиксируется в момент «перехода» города и его пространства в новое, по сравнению с предыдущим, состояние.

Рассмотрим подробнее пример г. Львова. В условиях смены политического режима после 1989/91 гг. советское наследие приобрело статус проблемного. Большинство значимых объектов были делигитимированы и убраны из публичного пространства вскоре после смены режима, к примеру, памятник Ленину. В то же время ряд памятников, посвященных победе в войне и погибшим в ней, оставались заброшенными, но нетронутыми. Эти памятники подверглись разрушению уже после 2014 г. в рамках декоммунизации. Собственную динамику

имеет отношение к польскому наследию, которое связано с попытками налаживания отношений между Украиной и Польшей, которые, однако, регулярно прерывались. Сложная и противоречивая ситуация возникает в отношении интерпретации / реинтерпретации австрийского наследия. Оно может использоваться для формирования образа города как «европейского якоря» Украины, но при этом должно быть по возможности очищено от польских коннотаций, поскольку восприятие Львова как оспариваемого пограничья до сих пор сохраняется в украинской среде. Свою отдельную динамику имеет отношение к еврейскому наследию. Период равнодушия и безразличия (1990 г.) сменился периодом повышенного внимания, что связано с коммерциализацией «еврейской темы» (2000-е и 2010-е годы) [Narvselius, Bernsand 2014: 59–84]. Таким образом, кроме украинского, во Львове развивается как минимум четыре самостоятельных сюжета в интерпретации наследия современными властями города и страны, а также общественными организациями и предпринимателями. Очевидно, что построение единой модели, охватывающей все эти процессы, будет делом весьма затруднительным или даже невозможным.

Если советское наследие в ряде стран утратило свой былой статус, то другие виды наследия, наоборот, этот статус обретают. Случается, что наследие отсутствующей группы вдруг становится актуальным и — под воздействием комплекса факторов — вызывает массовый интерес. В условиях отсутствия «изначальных» хозяев наследия по причине насилия (преднамеренного уничтожения или изгнания), факторами, играющими роль в актуализации наследия, являются восприятие отсутствующего как экзотики, комплекс вины и культура ответственности (если таковые имеют место). Все эти факторы присутствуют в феномене еврейского культурного наследия, а также его коммерциализации и потребления. Попытки интерпретации наследия отсутствующей (а особенно — физически уничтоженной) группы вызывают ряд проблем морального и этического порядка, в частности, о «праве первенства» на интерпретацию такого наследия [см. Gruber 2002].

Тема «работы» с вышеперечисленными типами «непростого» наследия и потенциал подобной «работы» для преодоления травматичного прошлого занимают исследователей не меньше, чем сами объекты такого наследия. «Работа» с наследием в целях примирения является воплощением политики памяти не в меньшей степени, чем при стратегиях отчуждения или маргинализации. В данной области различия между Западной и Восточной Европой также разительны. Дж. Олик [Olick 2013; Olick 2016] анализирует инкорпорацию тем, связанных с массовым насилием, в политику коммеморации. Олик показывает, как в ряде европейских стран, прежде всего в Германии, публичное покаяние, общее чувство ответственности и справедливости — «политику сожаления» — выстраивали с помощью мест памяти — и «непростого» наследия. Превращению памяти и вины за холокост в объединяющий нарратив во главе «политики сожаления» посвящено множество работ [см. Young 1993].

С развитием историографии, посвященной памяти о холокосте, одной из главных проблем в фокусе исследований являются вызовы, с которыми память о холокосте сталкивается в тот момент, когда она становится транснациональной метафорой преступления против человечности. Транснациональная узнаваемость практик памяти о жертвах холокоста как политический капитал подталкивает элиты многих стран, в том числе восточноевропейских, принимать участие в данных практиках и декларировать признание значимости этой памяти. Однако в ряде случаев это не предполагает серьезной работы с памятью о холокосте «на местах», в том числе из-за осознанного нежелания признавать «сложные» аспекты локального измерения данного злодеяния. Различия культур памяти о холокосте и понятных практик поминовения на локальном уровне также может быть серьезным вызовом для выстраивания общей и понятной всем культуры памяти. Данный вызов был очевиден, в частности, в рамках коммеморативной кампании в Беларуси 2014–2015 гг., когда практики поминовения жертв лагеря Малый Тростенец, осуществляемые под эгидой правительства Беларуси, радикально отличались от практик европейских НКО, которые в том же месте поминали европейских евреев, убитых на территории Беларуси [см. Waligórska 2017]. Также, коммеморация жертв других злодеяний зачастую происходит по сценарию поминовения жертв холокоста, что является примером деконтекстуализации памяти и представляет собой отдельный вызов [см. Finkelstein 2000; Replicating atonement 2017].

Музей

Еще одним примером концентрации повествования о сложном прошлом являются музеи, особенно нарративные. Как и с бывшими лагерями, существует видимая разница в том, какие функции выполняют экспозиции исторических музеев в Западной и Восточной Европе. К музеям, как и к пространствам и объектам, можно применить терминологию «непростого» наследия. Однако, как и в случае с местами памяти, не все исследователи оперируют данным терминологическим аппаратом, даже если исследуемая проблематика напрямую касается «непростого» наследия.

Коллектив авторов [The Enemy on Display 2015] проанализировал способы репрезентации Второй мировой войны и (военного) врага в трех отдельно взятых музеях: в Санкт-Петербурге, Варшаве и Дрездене. Сравнение выявило кардинальные различия в способах репрезентации и нарративе экспозиций. Это, в свою очередь, можно объяснить разными культурами памяти в России, Польше и Германии. Так, выставка «Ленинград во время Великой Отечественной войны», расположенная в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, подчеркивала стойкость жителей оккупированного города и, повествуя о жертвах, была не чужда героического нарратива. Авторы также проанализировали часть экспозиции Исторического музея Варшавы, фокусируясь

на истории оккупации города, восстания в Варшавском гетто и Варшавского восстания. Нарратив мученичества, глубоко укорененный в польской культуре и ведущий свои корни от католического символизма и романтизма, явно присутствовал в экспозиции. Выставка «Демократия и диктатура» в Дрезденском городском музее была лишена риторики героизма и мученичества, пытаясь вместо этого деконструировать устоявшиеся мифы о бомбардировке Дрездена (включая миф о «невинном городе»). Опираясь на немецкий дискурс об общей вине, экспозиция аргументирует, что жители Дрездена также ответственны за разрушение города, поскольку голосовали за НСДАП. Все три экспозиции по-разному «работают» с образом врага, но очевидно, что дискурс выстроен линейно, что достигается, в том числе, путем умолчания об альтернативной трактовке событий.

Условия (1) неконфликтного использования, (2) оспаривания / конкуренции и (3) маргинализации «непростого» наследия характерны и для музейного пространства. Приведем еще примеры избирательной репрезентации в музеях. Бывшая тюрьма, а теперь музей (2009 г.) «Тюрьма на Лонцкого» во Львове позиционируется как место национального страдания украинцев. Музей акцентирует преступления работников НКВД, а особенно — расстрел нескольких сотен заключенных в июне 1941 г. В то же время экспозиция музея умалчивает о том, как насилие по отношению к заключенным стало сюжетом, послужившим эскалации насилия (погрому) против евреев-львовян в июле того же года [Himka 2015: 137–166].

Другой пример — музей жертв геноцида в Вильнюсе (1992 г.), расположенный в бывшем здании КГБ, где геноцидом считаются действия советского правительства относительно литовского народа, а история уничтожения литовских евреев вынесена за стены данного музея [Wight, Lennon 2007: 519–529]. Избирателен также и нарратив музея «Дом Террора» в Будапеште (открыт в 2002 г.), расположенный в здании бывшего Управления государственной безопасности Венгрии. Исследователи не раз отмечали стремление данного музея представить венгерскую историю XX в. с позиции жертвы, поневоле оказавшейся меж двух оккупационных режимов — нацистского и коммунистического. В то же время экспозиция музея умалчивает или обтекаемо комментирует как характер режима Хорти и режима «железной гвардии», так и участие венгерской стороны в установлении на территории Венгрии власти тех режимов, которые порицает экспозиция музея. Также, настаивая на статусе венгров как «главных» жертв, музей во многом игнорирует историю холокоста в данной стране [Manchin 2015].

Маргинализация может принимать и другие формы, к примеру, профанирование. Наследие часто становится предметом потребления и коммерциализации в рамках индустрии потребления. Профанирование «неугодного» наследия в посткоммунистической Восточной Европе можно продемонстрировать на примере парков коммунистических скульптур — частный парк-музей Грутас недалеко от г. Друскининкай в Литве (открыт в 2001 г.) или парк-музей под откры-

тым небом «Мементо» вблизи Будапешта (открыт в 1993 г.). «Спустившись с пьедесталов» и перестав быть «сакральными», памятники, выставленные в данных парках, тем не менее остаются наследием и служат назидательным целям в той же мере, как и развлекательным. Демонтаж советских памятников и скульптур как часть декоммунизации в Украине — еще один сюжет, заслуживающий внимания в этом ряду. В то же время в Беларуси советское наследие не отрицается и не разрушается, а, наоборот, вписано в сегодняшний нарратив. В России относительно короткий период борьбы с советским наследием в первой половине 1990-х гг. сменился маргинализацией, но без разрушения советской скульптуры. Снятые в 1990-е гг. в Москве памятники собраны в музее скульптуры под открытым небом «Музеон» (открыт в 1992 г.). Как показала история с восстановлением памятника Горькому на площади у Белорусского вокзала в Москве в 2017 г., возможно и обратное «путешествие» памятников из парковой «ссылки» на изначальное место.

Вывод

Несмотря на достаточно широкий диапазон определений «непростого» наследия, их суть сводится к тому, чтобы подчеркнуть, что наследие, по определению существуя на пересечении интересов нескольких групп / акторов, является оспариваемым ресурсом. Рассмотренные примеры мест памяти о военном насилии, городов со «сложным» прошлым и музейных экспозиций демонстрируют, что диапазон проблем, стоящих перед исследователями «непростого» наследия, созвучен с тем, чем заняты исследователи политики памяти. Это говорит о подвижности и проницаемости дисциплинарных границ. Регион Восточной Европы особенно актуален для таких междисциплинарных исследований из-за высокой динамики изменений, сопровождающих трансформацию в регионе, однако теоретико-методологическую рамку для данного региона еще предстоит разработать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вул. Грабовського, 11 — готель «Цитадель Інн» (Велика Максиміліанська вежа № 2). — Львов, б. г. — URL: <http://www.lvivcenter.org/uk/ia/objects/citadel-2-tower/>
2. История. — Львов, б. г. — URL: <http://ru.citadel-inn.com/otel/istorija/>
3. *Махотина Е.* Вильнюс. Места памяти европейской истории // *Неприкосновенный запас*. — М., 2013. — № 90 (4).
4. *Чепайтене Р.* Культурное наследие в глобальном мире. — Вильнюс, 2010.
5. *Эшворт Г. Дж.* Культурное наследие и проблема наследования. От истории к наследию — от наследия к идентичности: в поисках понятий и мод // *Неприкосновенный запас*. — М., 2017. — № 114 (4). — С. 154–171.
6. *A Companion to Heritage Studies / Logan W., M. N. Craith, U. Kockel (eds.).* — Chichester, 2015.

7. Bringing the Dark Past to Light: the Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe / J.-P. Himka, J. B. Michlic (eds.). — Lincoln, NE, 2013.
8. *Buggeln M.* Building to Death: Prisoner Forced Labour in the German War Economy — the Neuengamme Subcamps, 1942–1945 // *European History Quarterly*. — 2009. — Vol. 39. No. 4. — P. 606–632.
9. *Carman J., Stig Sørensen M. L.* Heritage Studies: An Outline // *Heritage Studies. Methods and Approaches* / Carman J., Stig Sørensen M. L. (eds.). — London — New York, 2009. — P. 11–28.
10. *Cities after the Fall of Communism: Reshaping Cultural Landscapes and European Identity* / Czaplicka J., Gelazis N., Ruble B. A. (eds.). — Washington, DC, Baltimore, 2009.
11. *Contested Cultural Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion in a Global World* / Silverman H. (ed.). — New York, 2010.
12. *Finkelstein N. G.* The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering. — London, 2000.
13. *Gonzalez Enriquez C.* De-Communization and Political Justice in Central and Eastern Europe // *The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies* / Barahona De Brito A., Gonzalez Enriquez, C. Aguilar, P. (eds.). — Oxford, 2001. — P. 245–274.
14. *Gratziou O.* Venetian Monuments in Crete: a Controversial Heritage // *A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth-Century Greece* / Damaskos D., Plantzos, D. (eds.) — Athens, 2008. — P. 209–222.
15. *Gruber R. E.* Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe. — Berkeley, 2002.
16. *Heritage, Ideology, and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents* / M. Rampley (ed.). — Woodbridge, 2012.
17. *Hewison R.* The heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. — London, 1987.
18. *Higgins V.* Rome's Uncomfortable Heritage: Dealing with History in the Aftermath of WWII // *Archaeologies. Journal of the World Archaeological Congress*. — 2013. Vol. 9. No. 1. — P. 29–55.
19. *Himka J-P.* The Lontsky Street Prison Memorial Museum: An Example of Post-Communist Megationism // *Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism: a Comnaz Analysis* / Larsson, K-G, Stenfeldt, J., Zander, U. (eds.). — Lanham, 2015. — P. 137–166.
20. *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games* / G. Mink, L. Neumayer (eds.). — New York, 2013.
21. *Hitchcock M.* Taiwan's Ambiguous South-East Asian Heritage // *Indonesia and the Malay World*. — 2010. — Vol. 31. No. 89. — P. 69–79.
22. *Lehrer E. T.* Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places. — Bloomington, 2013.
23. *Light D.* Tourism and Romania's Communist Past: Coming to Terms with an Unwanted Heritage // *Post-Communist Romania. Coming to Terms with Transition* / Light D., Phinnemore D. (eds.). — London, 2001. — P. 59–75.
24. *Lowenthal D.* The Past is a Foreign Country. — Cambridge, 1985.
25. *Macdonald Sh.* Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond. — New York, 2010.
26. *Makhotina E.* Krieg im Museum. Präsentationen des Zweiten Weltkriegs in Museen und Gedenkstätten des östlichen Europa. — Göttingen, 2015.

27. *Manchin A.* Staging Traumatic Memory: Competing Narratives of State Violence in Post-Communist Hungarian Museums // *East European Jewish Affairs*. — 2015. — Vol. 45. No. 2–3. — P. 236–251.
28. *Miles S.* Battlefield Sites as Dark Tourism Attractions: an Analysis of Experience // *Journal of Heritage Tourism*. — 2014. — Vol. 9. No. 2. — P. 134–147.
29. *Murzyn M. A.* Heritage Transformation in Central and Eastern Europe // *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity* / Graham B., Howard, P. (eds.). — Aldershot, 2008. — P. 315–346.
30. *Narvselius E., Bernsand N.* Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the Western Ukrainian Borderland // *East/West: Journal of Ukrainian Studies*. — 2014. — Vol. 1. No. 1. — P. 59–84.
31. *Olick J. K.* *The Politics of Regret: on Collective Memory and Historical Responsibility*. — London, 2013.
32. *Olick J. K.* *The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method*. — Chicago, 2016.
33. *Pluralising Pasts: Heritage, Identity and Place in Multicultural Societies* / G. J. Ashworth, B. J. Graham, J. E. Tunbridge (eds.). — London, 2007.
34. *Realms of Memory. The Construction of the French Past* / P. Nora, L. Kritzman (eds.). — New York, 1997.
35. *Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities* / M. Gabowitsch (ed.). — New York, 2017.
36. *Strange S., Kempa M.* Shades of Dark Tourism: Alcatraz and Robben Island // *Annals of Tourism Research*. — 2003. — Vol. 30. No. 3. — P. 386–405.
37. *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity* / Graham B., P. Howard (eds.). — Aldershot, 2008.
38. *The Enemy on Display: the Second World War in Eastern European Museums* / Z. Bogumił, J. Wawrzyniak, T. Buchen, C. Ganzer (eds.). — Oxford — New York, 2015.
39. *The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research* / E. Waterton, S. Watson (eds.). — New York, 2015.
40. *The Politics of Memory in Postwar Europe* / R. N. Lebow, W. Kansteiner, C. Fogu (eds.). — Durham, NC, 2006.
41. *Tunbridge J.E., Ashworth G. J.* *Dissonant Heritage: the Management of the Past as a Resource in Conflict*. — Chichester, 1994.
42. *Understanding Heritage: Perspectives in Heritage Studies* / M-T. Albert, R. Bernecker, B. Rudloff (eds.). — Berlin-Boston, 2013.
43. *Waligórska M.* Remembering the Holocaust on the Fault Lines of East and West-European Memorial Cultures: the New Memorial Complex in Traststianets, Belarus // *Holocaust Studies. A Journal of Culture and History*. — 2017. — Vol. 24. No. 2.
44. *Wight A. C., Lennon J. J.* Selective Interpretation and Eclectic Human Heritage in Lithuania // *Tourism Management*. — 2007. — Vol. 28. No. 2. — P. 519–529.
45. *Young J. E.* *The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning*. — New Haven, 1993.
46. *Zubrzycki G.* “Oświęcim”/“Auschwitz”: Archeology of a Mnemonic Battleground // *Jewish Space in Contemporary Poland* / Lehrer E., Meng, M. (eds.). — Bloomington, 2015. — P. 16–45.

Д. В. Ефременко

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
И НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ.
СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Рассматриваются теоретико-методологические и институциональные проблемы политики памяти в странах Европейского союза. Показано, что одним из ресурсов формирования европейской наднациональной идентичности становится интерпретация исторического прошлого. Наднациональная идентичность является вспомогательной по отношению к национальной идентичности; на наднациональном уровне не удастся сформировать устойчивую рамку коллективной памяти. Вместе с тем наднациональные структуры ЕС способны выступать в качестве влиятельных мнемонических акторов, разрабатывать и проводить в жизнь ту или иную стратегию проевропейской политики памяти.

Ключевые слова: политика памяти, наднациональная идентичность, Европейский союз, мнемонические акторы, коммеморации, исторические нарративы.

Политику памяти (*politics of memory*) можно рассматривать как функционирующую систему взаимодействий и коммуникаций различных акторов относительно политического использования прошлого. Еще в конце XIX в. Эрнест Ренан в своей сорбоннской лекции дал определение нации, важной составляющей которого является историческая память: «Нация — это душа, духовный принцип. Две вещи, которые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая — к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством» [Renan 1997: 9]. Несомненно, что две компоненты формирования нации теснейшим образом взаимосвязаны, и важной предпосылкой желания жить вместе оказывается *политический менеджмент* богатого наследия воспоминаний. Иначе говоря, политика памяти является одним из важнейших инструментов по формированию макрополитической идентичности того или иного сообщества.

Сложную систему взаимодействий и коммуникаций в рамках политики памяти нельзя редуцировать до линейного процесса нациестроительства на основе использования различных практик коммеморации, преподавания истории и представления исторических сюжетов в популярных медиа и т. д. Все гораздо

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

сложнее, поскольку устремления участников процесса зачастую оказываются разнонаправленными, а в основе их действий могут быть не только идеи сплочения нации, но и гораздо более приземленные задачи укрепления конкретного социально-политического порядка или, напротив, его подрыва. Не остаются в стороне и факторы внешней среды, связанные с позитивным или негативным отношением к макрополитической идентичности другого сообщества.

Следует подчеркнуть, что основным драйвером политики памяти в той или иной стране выступают интересы, устремления и действия внутренних сил, направленные на утверждение той или иной трактовки истории. Но на определенном этапе взаимодействий относительно прошлого может резко возрасти роль внешних игроков, способных существенно повлиять на содержание и направленность политики памяти в той или иной стране. Все чаще политика памяти становится предметом межгосударственных интеракций; по этому кругу проблем начинают формировать свою собственную позицию и наднациональные структуры (прежде всего, Европейского союза).

Политика памяти отдельных сообществ способна выступать фактором динамики конфликтов как внутри отдельных стран, так и на международном уровне. С помощью политики памяти конфликты можно разжигать, но можно превратить ее и в инструмент постконфликтного урегулирования. Строго говоря, политика памяти в странах послевоенной Западной Европы внесла важнейший вклад в переработку трагического опыта Второй мировой войны, преступлений нацистского режима и формирования на этой основе консолидирующего исторического нарратива.

В поисках европейской коллективной памяти

Случай политики памяти в странах Европейского союза представляет большой интерес во многих отношениях. Но специфика его определяется в первую очередь тем, что доминантой политических процессов в этих странах является евроинтеграция. Масштабы этого исторического эксперимента позволяют говорить о формировании европейской наднациональной макрополитической идентичности.

В данном контексте появляются основания и для рассмотрения ряда теоретических и методологических проблем *memory studies*, восходящих к дискуссиям почти вековой давности о коллективной памяти, к трудам Эмиля Дюркгейма и Мориса Хальбвакса. Последний, развивая и критически перерабатывая идеи Дюркгейма об индивидуальных и коллективных представлениях, выявил социальную обусловленность индивидуальной памяти. Он показал зависимость индивидуальных воспоминаний от социальной группы, к которой принадлежит соответствующий индивид, и его статуса внутри группы. Память с точки зрения Хальбвакса является не просто социально обусловленной — она выступает

в качестве процесса, отражающего постоянно изменяющиеся репрезентации прошлого.

Как отмечает Ю. А. Сафронова, предложенный Хальбваксом термин «коллективная память» в литературе по *memory studies* нередко истолковывают упрощенно, как наличие особой памяти, носителем которой является коллектив как таковой [Сафронова 2018]. На деле, у Хальбвакса речь идет о формируемой обществом (социальной группой) рамке индивидуальных воспоминаний, которые могут претерпевать существенные aberrации в зависимости от восприятия прошлого внутри соответствующей группы. Строго говоря, именно эта особенность и обеспечивает условия для эффективной реализации политики памяти.

Хальбвакс, рассуждая о коллективной памяти, считает неверным жесткое противопоставление ее памяти индивидуальной. Свою позицию он аргументирует следующим образом:

«Но можно ли в самом деле проводить различие между, с одной стороны, некоей лишенной рамки памятью или памятью, которая для сортировки своих воспоминаний располагает лишь словами языка и несколькими понятиями, заимствованными из практической жизни, и, с другой стороны, исторически или коллективным рамками без памяти, то есть рамками, не конструируемыми, не реконструируемыми и не сохраняемыми в индивидуальной памяти? Нам так не кажется. Как только ребенок перерастает возраст чисто чувственной жизни, как только он начинает интересоваться значением тех образов и картин, которые он видит перед собой, можно говорить о том, что он мыслит вместе с другими и что его мышление делится на полностью личные впечатления и различные течения коллективной мысли. Он уже не замкнут в самом себе, поскольку его мышление теперь располагает совершенно новыми перспективами и он чувствует, что не один обводит их своим взглядом; однако он не вышел из своего “я”, и, чтобы открыться этим рядам мыслей, общим для членов его группы, он не обязан опустошить свое индивидуальное сознание, поскольку под каким-то аспектом и в каком-то отношении эти новые переживания, обращенные вовне, всегда затрагивают то, что мы называем “внутренним миром человека”, то есть они не полностью чужды нашей личной жизни» [Хальбвакс 2005: 18].

Хальбвакс вместе с тем подчеркивает, что коллективная память о прошлом не совпадает с историей и что потребность в написании истории появляется в тот момент, когда затухает или распадается социальная память, когда уходит со сцены та социальная группа, которая эту память поддерживала. Это противопоставление истории и коллективной памяти в дальнейшем неоднократно и с разных позиций обсуждалось в ходе дискуссий историков и специалистов по *memory studies*, причем объектом критики становились и очевидный социологизм позиции Хальбвакса, и общая неопределенность понятия «память» [Сафронова 2018].

Очевидно тем не менее, что проанализированные Хальбваксом механизмы функционирования коллективной памяти имеют важнейшее значение как для формирования индивидуальной идентичности, так и идентичности большого сообщества (группы). Однако в случае такого наднационального объединения, как Европейский союз, возникает вопрос о принципиальной возможности европейской коллективной памяти [Namer 1993]. В самом деле, где же та группа, которая способна сформировать целостную рамку европейской коллективной памяти? Ведь эта группа (если она вообще существует) не связана ни общностью языка, ни единой национально-государственной принадлежностью. Сама локализация этой группы в пространстве и во времени оказывается весьма проблематичной.

Несомненно, что с момента основания Совета Европы (1949) и подписания договора об учреждении Европейского объединения угля и стали (1951) и вплоть до наших дней происходила консолидация группы, которую с определенной долей условности можно назвать «еврократической». Эта группа объединяет людей, чья профессиональная деятельность либо профессиональная деятельность их ближайших членов семьи непосредственно связана с обеспечением функционирования институтов европейской интеграции и реализацией многочисленных программ Евросоюза в самых разных областях. Еврократическая группа социально стратифицирована, в нее входят и мелкие клерки, и представители транснациональной финансово-экономической и политической элит, имеющие множественные связи с представителями подобных элит на уровне национальных государств. Численный состав, влияние, ресурсная база, социальный и символический капиталы данной группы на протяжении десятилетий возрастали практически неуклонно. Нет сомнений, что устойчивая принадлежность к еврократии способствует формированию групповой идентичности, которую, скорее, также следует называть еврократической, но которая при этом служит естественной основой для укрепления идентичности более широкой, ассоциируемой с идеей Единой Европы. В целом, как показывают материалы эмпирических исследований Евробарометра, готовность идентифицировать себя с Европой характерна для большинства обществ стран — членов ЕС, но эта идентичность является сугубо субсидиарной по отношению к национальным идентичностям [European Identity 2016]. Идентификация исключительно с Европой характерна лишь для незначительного меньшинства европейцев [Котга 2017].

Представители еврократической группы как по призванию, так и в силу профессиональных обязанностей могут вносить значимый вклад и в «проевропейскую политику» памяти. Однако, несмотря на все влияние еврократов, нет оснований полагать, что эта группа в состоянии сформировать наднациональную рамку коллективной памяти, которая могла бы прийти на смену национальным историческим нарративам. Такая гипотеза не находит в современной Европе эмпирических подтверждений. В то же время какой-либо иной социальной

группы, способной претендовать на решение подобной задачи, на европейском горизонте не наблюдается.

Но может быть вовсе и не следует стремиться привязать европейскую коллективную память к той или иной социальной группе? Хабермасовская теория коммуникативного действия как будто бы предлагает альтернативное решение. Здесь в центре внимания оказываются процессы социальной коммуникации и публичные дискурсы, а ключевая роль отводится европейской общественности (*Öffentlichkeit*).

В трактовке Хабермаса, европейская общественность — это не новая социальная группа, для которой принадлежность к Европе является первичной, а, скорее, коммуникация гражданских обществ стран ЕС по политически и социально значимым темам, в ходе которой формируется общеевропейский дискурс и становится возможным возникновение чувства общности. Такая коммуникация очень важна для формирования европейских институтов и легитимации принимаемых ими решений. Несомненно, что и проблематика исторической памяти играет важную роль в этом коммуникативном процессе.

Степень влияния европейской общественности и наднациональной коммуникации гражданских обществ в конечном счете должна была проявиться в ходе значимых для объединенной Европы политических процессов. В 2003 г., когда по ведущим странам ЕС прокатились протесты против войны в Ираке, а оппонентами американского вторжения выступили лидеры Германии и Франции, казалось, что такая наднациональная коммуникация гражданских обществ становится мощной политической силой. Именно тогда Жак Деррида и Юрген Хабермас опубликовали статью «Наше обновление после войны: Второе рождение Европы», в которой провозглашался окончательный выход наднациональной общественности на политическую арену ЕС, а основным источником формирования общеевропейской идентичности объявлялась коммуникация акторов гражданских обществ по вопросам прошлого, настоящего и будущего Европы. В этой статье формулировалась позиция и в отношении интерпретации исторического наследия как инструмента формирования европейской идентичности:

«Сегодня нам известно, что многие политические традиции, претендующие на авторитетность под предлогом своей естественности, на самом деле “изобретены”. В противоположность им, та европейская идентичность, что смогла бы возникнуть при свете публичности, была бы сконструированной с самого начала. Но печатью произвола может быть отмечено лишь произвольно сконструированное. Политико-этическая воля, обозначившаяся в герменевтике процессов самопонимания, произволом не является. Различие между наследием, перебираемым нами, и тем, которое мы хотим отвергнуть, требует столько же осторожности, сколько и решительности в интерпретации, с помощью коей мы его усваиваем. Исторический опыт предлагает себя лишь для осознанного

усвоения, без которого он не сможет обрести силы, образующей идентичность» [Деррида, Хабермас 2003].

Таким образом, рассматривая европейскую идентичность как социальный конструкт, Деррида и Хабермас внесли значимый вклад в дискуссию об основных стратегиях формирования этой идентичности. Первая из них предполагает обращение к общей истории и социокультурным основаниям конструируемой идентичности. Представители этой точки зрения апеллируют к универсалиям европейской культуры и концентрируют свое внимание на пространственно-временном измерении европейской идентичности. Вторая стратегия основана на том, что европейская идентичность формируется на основе совокупности сугубо политических принципов. Сторонники этого подхода, как правило, отождествляют европейскую идентичность и идентичность ЕС, в основе которой лежат единые институты и политико-правовые принципы.

Историко-культурные аспекты идеи единой Европы привлекали внимание философов и политических мыслителей задолго до появления первых институтов и механизмов межгосударственной интеграции на европейском субконтиненте. Как отмечает датский исследователь Б. Строт, начиная со Средних веков образ европейского сообщества создавался при помощи отмежевания от внешнего мира, от «других», а христианство являлось наиболее мощным интегрирующим фактором [Stråth 2002]. В 1464 г. в предложенном богемским королем Иржи из Подебрад проекте «Договора о утверждении мира между христианами» принадлежность к христианству рассматривалась в качестве основания для создания лиги европейских государей и формирования общих европейских институтов [Treaty ... 1964]. Однако Реформация и религиозные войны привели к разрыву этой «скрепы». В дискурсе Просвещения термин «Европа» служил нейтральным обозначением общего целого. Поскольку философы Просвещения закрепили за «Западной Европой» статус колыбели цивилизации, они ввели в обращение понятие «Восточной Европы» как другой ее половины. Такое концептуальное изменение карты Европы перенесло варварские отсталые земли с севера на восток. Налицо была двусмысленность: Восточная Европа являлась парадоксом одновременного включения в континент и вынесения за его рамки.

Тем не менее ключевым в культуралистской версии европейской идентичности являются образ «другого», «внешнего». Без не-Европы невозможно представить себе Европу. Однако с началом европейской интеграции политическая динамика стала все более опережать устоявшиеся представления об историко-культурных основаниях европейской идентичности. Так, со вступлением Греции в Европейское сообщество в 1981 г. исчезла возможность говорить о том, что важной культурной основой европейской интеграции является лишь западное христианство. С начала 2000-х гг., как показали дебаты о проекте Конституции ЕС (см. разд. 3), для влиятельных сил внутри Евросоюза политически

предпочтительным оказался полный отказ от упоминания христианства как предпосылки культурного единства Европы.

Все большая релятивизация историко-культурных пределов Европы, связанная с динамическими процессами как в самой культуре европейских народов, так и, в особенности, с политическими изменениями рубежа XX–XXI вв., выдвигает на ведущие позиции интерпретацию европейской идентичности как политической идентичности Европейского союза. Твердый сторонник этого подхода Ф. Черутти определяет политическую идентичность как «ансамбль политических ценностей и принципов, которые мы признаем в качестве базиса нашей политической группы. <...> Этот акт признания или идентификации объединяет нас в единое Мы» [Cerutti 2001: 17].

Социальные группы, как правило, определяются на основе совокупности идей, которые члены этих групп способны воспринимать положительно. Такие идеи могут выражаться непосредственно в способах взаимодействия и общения либо опосредованно, путем применения общих символов, кодов или обозначений. Члены группы, таким образом, ощущают, что у них есть что-то единое, что формирует «воображаемое сообщество» [Андерсен 2001]. В случае Европейского союза речь идет об истолковании европейской идентичности как особой политической идентичности, являющейся результатом и одновременно предпосылкой межгосударственной интеграции. В то же время культурное разнообразие — это неотъемлемая характеристика Европейского союза, и — как полагают сторонники политико-институциональной стратегии формирования европейской идентичности — было бы неверно для достижения политических целей осуществлять селекцию и сомнительный синтез исторического наследия. Однако фактическое положение дел в Евросоюзе на протяжении последней четверти века показывало, что фактор исторической памяти слишком важен, чтобы ведущие политические акторы могли бы по доброй воле отказаться от его использования.

Центральная роль Холокоста в европейской политике памяти и современные усилия по ее ревизии

Консолидация европейских наций, достигнутая в конце XIX в. на основе осознания расовой, этнической, религиозной идентичности имела своей оборотной стороной культивирование представлений о национальном превосходстве, разжигание шовинизма и расизма. Результатом стали трагедии двух мировых войн. Память об этих трагедиях делает задачу конструирования европейской идентичности особенно сложной, поскольку необходимо выделить все, что может объединять нынешних членов ЕС и потенциальных новобранцев, и устранить все, способное их разъединять.

Но означает ли это, что «наследие воспоминаний» должно быть вовсе исключено из процесса конструирования европейской идентичности? На деле

вплоть до начала 2000-х гг. формированию европейской идентичности на основе политических принципов способствовала политика памяти, ключевой темой которой была коллективная память о холокосте, а основной задачей — проработка трагического опыта Второй мировой войны и преступлений нацистского режима и формирование на этой основе консолидирующего исторического нарратива.

Как убедительно показала Алейда Ассман, общеевропейская политика памяти предполагает понимание уникальности холокоста как главной европейской трагедии XX в., осознание коллективной вины и ответственности всех народов Европы за эту трагедию [Ассман 2014]. Коллективная ответственность европейцев опиралась на признание того, что в холокост была вовлечена не только нацистская Германия и ее союзники, но также население оккупированных территорий. Холокост стал нитью, связывающей общеевропейский исторический нарратив XX в.

Закрепление за холокостом центральной роли в европейской политике памяти совпало с процессом присоединения к Евросоюзу многих бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы. Коммеморация холокоста фактически стала одним из требований к новым членам ЕС, маркером принадлежности к «европейской семье» и приверженности «европейским ценностям». Однако для политических элит стран Центральной и Восточной Европы такая политика памяти оказалась дискомфортной. В результате, став полноправными членами ЕС, эти государства только поверхностно приняли повестку европейской политики памяти, сфокусированную на холокосте [Воронович, Ефременко 2017].

А. Ассман констатирует, что в странах бывшего Восточного блока наличествует иная историческая память, нежели в странах Западной Европы [Ассман 2016]. Соответственно, после вступления в ЕС ряда посткоммунистических стран резко усилилась альтернативная версия политики памяти, акцентирующая репрезентацию этих стран как двойной жертвы коммунизма и — в меньшей мере — нацизма. Заручившись поддержкой некоторых видных западноевропейских политиков и интеллектуалов, новые члены единой Европы значительно преуспели в этом направлении. При этом мотивация политических элит стран Центральной и Восточной Европы в значительной мере была связана с их стремлением получить признание со стороны «старых» членов ЕС в качестве равноправных партнеров, которым не следует механически «навязывать» западноевропейскую модель мнемонической культуры. Более того, чтобы «закрепить» равноправный статус, элиты и другие мнемонические акторы стран Центральной и Восточной Европы вполне осознанно стремятся к трансформации подходов к политике памяти в масштабах всего Евросоюза [Closa Montero 2009; Mälksoo 2009]. В результате появляется некий мнемонический гибрид, который А. Ассман в «Новом недовольстве мемориальной культурой» описывает в виде эллипса с двумя центрами. Одним из центров остается холокост, другим

становятся ГУЛАГ и массовый террор. Но между этими историческими событиями остается вопиющая асимметрия, продолжающая раскалывать Европу [Ассман 2016].

Разумеется, степень консолидированности ревизионистских усилий центрально- и восточноевропейских элит и мнемонических акторов не стоит преувеличивать. Само видение динамики европейской политики памяти как своеобразной идеологической баталии между «старой» и «новой» Европой является несколько упрощенным. Наряду с общей установкой на то, чтобы соответствующее государство оказалось в новейшей версии европейской политики памяти в статусе жертвы, а не палача или его подручного, усилия центрально- и восточноевропейских элит были продиктованы довольно специфическими, иногда — ситуативными факторами, обусловленными национальным политическим контекстом. Например, политические элиты Эстонии, формулируя собственную версию политики памяти, стремились подвести мнемоническую основу не только под усилия скорейшим образом присоединиться к НАТО и ЕС, но также и под собственную политику в отношении прав русскоязычного населения, которая не является специфичной для всех стран Балтии², и даже под конкретные действия, оскорбляющие историческую память значительной части неэстонцев. Независимо от конкретных оценок этих факторов, можно согласиться с точкой зрения Д. Кларка, который полагает, что в целом в странах Центральной и Восточной Европы основой продолжает оставаться национальная рамка мобилизации исторической памяти [Clarke 2014]. Однако перенос трактовок исторических событий, связанных с национальной политической повесткой, на общеевропейский уровень, неизбежно трансформирует подходы к политике памяти на супранациональном уровне, причем сами эти подходы начинают оказывать существенное влияние на международные отношения и за пределами Евросоюза.

Проблемы наднациональной идентичности и исторической памяти в европейском конституционном процессе

Вместе с тем сегодня с достаточным основанием можно утверждать, что и в странах «старой» Европы наднациональная рамка не сумела закрепиться на господствующих позициях. Своеобразным рубежом здесь можно считать провал европейского конституционного процесса, старт которому был дан на саммите Европейского союза в декабре 2001 г. Подготовка проекта Конституции ЕС и начало ее ратификации в парламентах или путем общенациональ-

² Как известно, в Литве после провозглашения независимости право на гражданство было предоставлено всем жителям страны независимо от этнической принадлежности, знания языка и длительности проживания на территории Литовского государства.

ных референдумов драматическим образом перевели дискуссию о европейской идентичности из преимущественно академической сферы в основное русло политической борьбы.

Европейский конституционный процесс был во многом беспрецедентным, поскольку речь шла о создании Конституции для пространства, не обладающего ни изначально существующим единством территории, ни языковой общностью, ни целостным гражданским обществом. В частности, в ходе работы над проектом Конституции ЕС горячие споры вызвала ее преамбула, в которой непосредственно затрагивалась проблематика европейской идентичности. Вернее, самая острая полемика развернулась в связи с тем, чему не нашлось места в ее окончательном варианте, — упоминанием о христианских корнях единой Европы. Отказ от этого упоминания, вызвавший критику со стороны Ватикана и тех стран ЕС, где сильны позиции консервативного католицизма, продемонстрировал общую внутреннюю противоречивость дискуссии о европейской идентичности. Ссылка в тексте преамбулы на «культурное, религиозное и гуманистическое наследие Европы» явилась попыткой «подвести фиктивный культурный базис под политическую идентичность Европейского союза» [Cerutti 2005: 180]. Однако соображения политической целесообразности вынудили членов конституционного конвента сделать это в максимально абстрактной форме.

Конституционный процесс в ЕС имел определенные шансы придать новый импульс формированию общеевропейской идентичности и, соответственно, развитию общеевропейской культуры исторической памяти. Во всяком случае, вплоть до 2005 г. появлялись основания для проведения определенных аналогий с конституционными процессами в государствах, потерпевших поражение во Второй мировой войне. В Западной Германии и Италии принятие новых Конституций явилось «важнейшим этапом искоренения наследия национал-социализма и фашизма» [Cerutti 2005: 180]. Благодаря новым Конституциям в этих странах произошел наиболее радикальный отказ от прежних трактовок национальной идентичности, в которых культурная и политическая идентичность если не совпадают, то максимально сближаются, поскольку ядро государства-нации лежит в пирамидальной организации власти и ассимиляции ранее существовавших культур под эгидой национальной культуры. Конституции Италии и ФРГ являются наиболее ярким примером приоритета политической идентичности, основанной на ценностях либеральной демократии и четких гарантиях гражданских прав и свобод. Именно эти политические принципы и ценности выступают основой нового, «конституционного патриотизма» (*Verfassungspatriotismus*). Как отмечал Д. Штернбергер, «“конституционный патриотизм” наносит удар по изначальному пониманию патриотизма, которое старше, чем национализм и образование национальных государств в Европе. Его суть в первую очередь состоит в тесной привязке патриотизма к гражданским свободам и Конституции» [Sternberger 1990: 9].

Критика проекта Конституции ЕС с либеральных позиций «конституционного патриотизма» была сфокусирована на стремлении объяснить происхождение политических ценностей и соответствующих им институтов через обращение к культурному и историческому наследию Европы. Данная установка, сформулированная в конституционной преамбуле, характеризовалась как потенциально опасное историцистское либо культуралистское заблуждение [Cerutti 2005: 186]. Общие история и культура не являются основными детерминантами политической идентичности. Кроме того, критические аргументы в духе европейского «конституционного патриотизма» имели целью предотвратить обвинения в попытке создания европейской супернации и ослабления роли национального государства. В самом деле, у Европы есть серьезные резоны не становиться супернацией: на общественном уровне существует множество транснациональных сегментарных сетей, отнюдь не жаждущих превратиться в структурные элементы европейского общества. Отсутствие единого языка делает невозможным социальную интеграцию как факт повседневной жизни. На политическом уровне именно государства ЕС играют ключевую роль, и это препятствует превращению ЕС в настоящую федерацию. Память о прошлом Европы также служит мощным аргументом против федерализации или создания супернации.

Как известно, процесс ратификации Конституции странами — членами ЕС привел к обескураживающим результатам. Референдумы во Франции (29.05.2005) и Нидерландах (01.06.2005) выявили нежелание большинства голосовавших в этих ключевых странах Евросоюза поддержать Конституцию ЕС. Можно сказать, что европейская общественность à la Хабермас, как будто бы показав свою силу в 2003 г., спустя два года потерпела поражение в решающей для себя битве. Несмотря на то что взамен отвергнутой Конституции в 2007 г. на саммите ЕС в Лиссабоне был подписан новый Договор о реформе системы управления Европейским союзом, провал конституционного проекта стал тяжелейшим политическим и психологическим ударом по процессу европейской интеграции. Если до 2005 г. евроинтеграция рассматривалась как бесспорная история успеха, то после провала Конституции ЕС последовала целая серия неудач (финансовый кризис 2008 г., греческий долговой кризис, миграционный кризис, Brexit, каталонский сепаратизм, усиление правых и левых популистов и евроскептиков), заставившая говорить о системном кризисе Европейского союза. Неудивительно, что свежие оценки положения дел в ЕС, в частности, таким многоопытным политическим игроком, как Дж. Сорос, звучат едва ли не как летальный диагноз: «Европейский союз потерял цель своего существования. Все, что могло пойти не так, пошло не так» [Пудовкин 2018].

«Политика памяти — не клей, а растворитель»

Провал проекта европейской Конституции стал серьезным стимулом для активизации работы структур ЕС (прежде всего, Европейской комиссии и Европарламента) в сферах идентичности и исторической памяти. К тому же, как уже

отмечалось выше, расширение Евросоюза в 2004 г. привело к серьезной трансформации подходов в области политики памяти. В период 2007–2013 гг. была запущена программа ЕС по проблематике «активного европейского гражданства», направленная на активное вовлечение граждан и НПО в содействие европейской интеграции. Одна из основных задач программы формулировалась как развитие чувства европейской идентичности «на основе общих ценностей, истории и культуры» в целях объединения людей из различных уголков Европы ради изучения уроков прошлого и строительства будущего [European Commission 2006]. В числе конкретных направлений реализации программы особое внимание уделялось «активному европейскому воспоминанию» (active European remembrance). В частности, предполагалось спонсирование проектов поддержки памяти о концентрационных лагерях, депортациях и репрессиях как периода национал-социализма, так и эпохи сталинизма. Таким образом, программа явно шла навстречу установкам в области политики памяти восточно-европейских новобранцев ЕС. Обоснование запланированных затрат заключалось в том, что без памяти о преступлениях тоталитарных режимов невозможно в полной мере оценить значение таких принципов европейской интеграции, как свобода, демократия и уважение прав человека, а также активно участвовать в процессах евростроительства [European Commission 2006].

На этом фоне резолюция Европейского парламента, признающая за холокостом уникальное значение как исторической референтной точки [European Parliament 2005], выглядела не более чем попыткой сбалансировать слишком резкий крен в сторону политики памяти, формулируемой странами «Новой Европы». Всего лишь четыре года спустя Европейский парламент принял новую резолюцию, призывающую «дополнить» коммеморацию холокоста отмечанием Всеевропейского дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов [European Parliament 2009]. Предлагалась и дата отмечания — 23 августа, т. е. день годовщины подписания Пакта Молотова — Риббентропа. Тем самым наиболее явно продвигалась та версия политики памяти, которую отстаивали прежде всего Польша и страны Балтии. Кроме того, эта резолюция стала несомненным вкладом в возобновившееся геополитическое противостояние России и Запада, триггером которого выступила программа ЕС «Восточное партнерство» (2008).

Стоит отметить, что резолюция 2009 г. содержала явные логические противоречия. С одной стороны, резолюция с полным основанием констатировала невозможность достижения «полностью объективных интерпретаций исторических фактов» и провозглашала неприемлемость претензий любой политической силы, даже если она опирается на парламентское большинство, на монопольное истолкование истории. С другой стороны, в резолюции содержится категорическое утверждение о том, что «Европа не станет объединенной, если она не сумеет сформировать общее представление о своей истории, признать нацизм, сталинизм и фашистские и коммунистические режимы общим наследием

и провести честные и обстоятельные дебаты о своих преступлениях в прошлом столетии». Нацизм при этом характеризуется как «доминантный исторический опыт для Западной Европы», тогда как страны Восточной Европы имели дело как с коммунизмом, так и нацизмом [European Parliament 2009]. По сути, заявляя о невозможности унифицированной трактовки истории, авторы резолюции тут же принялись решать задачу идеологической демаркации «правильных» и «неправильных» интерпретаций исторического прошлого.

Так или иначе, но, постепенно отходя от признания ключевой роли общеевропейской ответственности за холокост и усиливая линию на самовиктимизацию и перенос ответственности на внешние тоталитарные силы, инициаторы альтернативной версии политики памяти закладывают основу для новых конфликтов и даже для «войн памяти». Почва для конфликта сохраняется, прежде всего, в наличии двух рамок исторической памяти («уникальность холокоста» vs. «коммунизм как зло, равное нацизму»), попытки примирить которые в конечном счете оказываются бесплодными. Сами эти рамки свидетельствуют, что при формировании различных версий европейской политики памяти сохраняется крайне схематичный и телеологический взгляд на историю, предполагающий противопоставление «темного прошлого» Европы XX в. «светлому настоящему» нынешнего Евросоюза, который выступает едва ли не олицетворением фукуямовского «конца истории» [Prutsch 2013]. При таком взгляде из поля зрения наблюдателя неизбежно выпадают другие, весьма важные составляющие европейского исторического наследия, в том числе империализм и колониализм. Еще более важно, что «темное прошлое» возводится в степень негативного «мифа основания» ЕС, открывая тем самым дверь для идеологической инструментализации и морализации прошлого и уменьшая стимулы для критического изучения стереотипов и «священных коров» собственной национальной истории [Prutsch 2013].

В новейшей версии программы ЕС «Европа для граждан» (2014–2020) приоритеты коммеморации также имеют явный «центрально- и восточноевропейский» крен. На официальном сайте Европейской комиссии приоритеты на 2018–2020 гг. представлены в следующей таблице:

Год применения	Приемлемые [для финансовой поддержки ЕС] коммеморации
2018	1918 Окончание Первой мировой войны — подъем национальных государств и провал попыток создание европейской системы сотрудничества и мирного сосуществования 1938/1939 Начало Второй мировой войны 1948 Начало «Холодной» войны 1948 Гаагский конгресс и интеграция Европы 1968 Движения протеста и за гражданские права, вторжение в Чехословакию, студенческие протесты и антисемитская кампания в Польше

Окончание табл.

Год применения	Приемлемые [для финансовой поддержки ЕС] коммеморации
2019	1979 40-летие первых прямых выборов в Европейский парламент 1989 Демократические революции в Центральной и Восточной Европе и падение Берлинской стены 2004 15 лет расширения ЕС на Центральную и Восточную Европу
2020	1950 Декларация Роберта Шумана 1990 Воссоединение Германии 2000 Провозглашение Хартии ЕС о фундаментальных правах

URL: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

В настоящее время можно говорить и о более долгосрочных последствиях происходящего сдвига в европейской политике памяти. Расширение Европейского союза в 2004 г., по сути, похоронило надежды на то, что консенсус относительно прошлого может стать фактором дальнейшей консолидации Евросоюза. Как верно отметил Алексей Миллер, «политика памяти, и, шире, культура памяти оказались не клеем, а растворителем, который разъедает единство ЕС» [Миллер 2016]. Разъединяющая роль актуальной версии политики памяти могла игнорироваться до тех пор, пока сам Евросоюз рассматривался как уникальный пример успешного интеграционного проекта. Но теперь это уже далеко не так. После «Брекзита» неизбежной становится масштабная перегруппировка сил в ЕС, причем наиболее вероятный ее сценарий — «Европа разных скоростей». И вот здесь-то можно ожидать, что политики памяти в разных странах ЕС станут весьма эффективными инструментами дивергенции.

Однако и это еще не все. Центрально- и восточноевропейские механизмы коллективной памяти, практически «подмявшие» под себя европейскую политику памяти, при их распространении на страны постсоветского пространства порождают напряженность, вступая в конфликт как с конструируемой в России макрополитической идентичностью, так и с идентичностями, восходящими к советскому времени. Динамику многих конфликтов на постсоветском пространстве невозможно адекватно реконструировать без учета этого клинча идентичностей. Вместе с тем предпосылкой устойчивого урегулирования таких конфликтов может стать совместная работа сторон, направленная на преодоление расколов, обусловленных не в последнюю очередь политикой памяти. Возможна ли в современных политических обстоятельствах такая совместная работа — вопрос, заслуживающий отдельного обсуждения.

Заключение

Для исследования комплекса проблем политики памяти и ее связи с политической и культурной идентичностью случай Европейского союза чрезвычайно важен и показателен. Прежде всего, этот случай является «предельным», поскольку по глубине и всесторонности интеграционных процессов Европейский союз не имеет себе равных среди других экономических и политических надгосударственных объединений. «Предельным» случай ЕС является и в том плане, что нынешний кризис объединения с достаточно высокой степенью вероятности может привести к откату назад, к возврату части полномочий на уровень национальных правительств и парламентов, а также к признанию межстрановых политических и социально-экономических диспропорций через переход к модели разносторонней интеграции. Масштабы европейского проекта благоприятствуют формированию наднациональной идентичности, тем более что уже на достаточно ранних этапах евроинтеграции (1973) строительство единой Европы стало увязываться на официальном уровне с вопросами идентичности, общего наследия и культурной близости³. Однако, несмотря на системную работу по конструированию наднациональной идентичности единой Европы, эта идентичность является вспомогательной по отношению к идентичностям, связанным с национальным государством, общим языком, культурой и историческим наследием. В качестве вспомогательной, свою европейскую идентичность готовы декларировать представители самых разных сообществ и социальных групп. Но при этом в объединенной Европе нет сообществ или групп, способных на базе субсидиарной идентичности сформировать устойчивую рамку общеевропейской коллективной памяти. Хабермасовская *Öffentlichkeit* — это, скорее, коммуникативная среда, которую нельзя рассматривать в качестве гомогенного объекта эмпирического социологического исследования. Вместе с тем значение публичной коммуникации о важнейших аспектах европейской идентичности, о прошлом и будущем Европы трудно переоценить, поскольку она может оказывать и оказывает сильное влияние на принятие политических решений, включая и политику памяти.

Серьезные игроки, способные формировать стратегию политики памяти или влиять на ее реализацию, в Европейском союзе действуют на национальном и наднациональном уровнях. Институты политического управления ЕС являются акторами, вносящими очень важный вклад в проевропейскую политику памяти. В официальных документах Брюсселя и Страсбурга определяются общие стратегии и конкретные действия, связанные с политикой памяти. Институты ЕС располагают серьезными ресурсами и инструментарием для реализации

³ Имеется в виду «Декларация о европейской идентичности», принятая на саммите Европейского сообщества в Копенгагене 14 декабря 1973 г. (URL: https://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_december_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html).

мер, позволяющих использовать историческое прошлое в политических целях. Однако при относительной автономии дальнейших действий, определение исходной политической позиции наднациональных структур ЕС связано с нахождением баланса интересов и подходов национальных государств, входящих в Евросоюз. Трансформация стратегии европейской политики памяти здесь весьма показательна: если до присоединения к ЕС стран Центральной и Восточной Европы фундаментом политики памяти было признание уникальной роли трагедии холокоста, то после расширения ЕС в 2004 г. произошел перелом, и преступления национал-социализма стали со все возрастающей настойчивостью «уравниваться» с преступлениями коммунистических режимов. Наконец, «модифицированная» версия общеевропейской политики памяти стала все активнее использоваться и в геополитических целях для конструирования нового ментального фронта, призванного заново разделить географическое и культурное пространство Европы, «выдавив» из него Россию, но «удержав» при этом другие постсоветские государства, включенные в программу «Восточное партнерство».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Андерсен Б.* Воображаемые сообщества. — М., 2001.
2. *Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. — М., 2014.
3. *Ассман А.* Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. — М., 2016.
4. *Воронович А., Ефременко Д.* Политика памяти по-киевски. Стратегии формирования украинской идентичности в контексте евроинтеграционных процессов // Россия в глобальной политике. — 2017, сентябрь–октябрь. Т. 15. № 5.
5. *Деррида Ж., Хабермас Ю.* Наше обновление после войны: Второе рождение Европы // Отечественные записки. — 2003. № 6.
6. *Котта М.* Европейская идентичность: Вызовы современности / Идентичность: личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. И. С. Семеновко / ИМЭМО РАН. — М., 2017.
7. *Миллер А. И.* Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // Политика. — 2016. № 1.
8. *Сафронова Ю. А.* Третья волна memory studies: Двадцать три года против шерсти // Политическая наука. — 2018. № 3.
9. *Пудовкин Е.* Сорос выписал Евросоюзу рецепт от катастрофы. / Независимая газета. — 31 мая 2018.
10. *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. — 2005. № 2–3 (40–41).
11. *Cerutti F.* Towards the Political Identity of the Europeans: An Introduction // A Soul for Europe. On the Political and Cultural Identity of the Europeans / Ed. by F. Cerutti and E. Rudolph — Leuven, 2001. — Vol. 1.
12. *Cerutti F.* Constitution and Political Identity in Europe // Postnational Constitutionalisation in the Enlarged Europe: Foundations, Procedures, Prospects / Ed. by U. Liebert. — Baden-Baden, 2005.
13. *Clarke D.* Communism and Memory Politics in the European Union // Central Europe. Vol. 12. 2014. Issue 1.

14. *Closa Montero C.* Politics of Memory: What is the Role for the EU? // Europe 70 Years after the Molotov-Ribbentrop Pact. Ed. by European Parliament. – Vilnius, 2009.
15. European Commission. The Europeans, Culture and Cultural Values. Qualitative Study in 27 European Countries. Summary Report. // European Commission. Directorate-General for Education and Culture. Brussels, June 2006. URL: http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc964_en.pdf
16. European Identity in the Context of National Identity. Questions of Identity in Sixteen European Countries in the Wake of the Financial Crisis of 2007 and 2009. / Ed. by B. Westle, P. Segatti. – Oxford, 2016.
17. European Parliament resolution on remembrance of the Holocaust, anti-Semitism and racism, 27 January 2005 // Official Journal of the
18. European Union, C253 E, 13.10.2005. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ>
19. European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism, 2 April 2009. // Official Journal of the European Union, C137, 27.05.2009. URL: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0025:0027:EN:PDF>
20. *Mälksoo M.* The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe. // European Journal of International Relations. – 2009. No. 15.
21. *Namer G.* Une mémoire collective européenne est-elle possible? // Schweizerische Zeitschrift für Soziologie. – Bd. 19, 1993.
22. *Prutsch M. J.* European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives. Note // European Parliament. Directorate General for Internal Policies. Policy Department B: Structural and Cohesion Policies. Brussels, 2013.
23. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540364/IPOL_STU%282015%29540364_EN.pdf
24. *Renan E.* Qu'est-ce qu'une nation? – P., 1997.
25. *Sternberger D.* Verfassungspatriotismus // Verfassungspatriotismus / Hrsg.: Sternberger D. – Frankfurt a. M., 1990.
26. *Stråth B. A.* European identity. To the historical limits of a concept. // European Journal of Social Theory. – L., 2002. – Vol. 5. No. 4.
27. Treaty on the Establishment of Peace throughout Christendom. Edit. Keř J., Transl. Dvořák I. / Vaněček V. The Universal Peace Organization of King George of Bohemia a fifteenth Century Plan for World Peace 1462 / 1464. – Prague, 1964.

А. А. Воронович

**ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТСКИЙ СЕПАРАТИЗМ
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ДОНБАССА¹**

В статье представлены методологические наблюдения по сравнительному анализу исторической политики в сепаратистских республиках Донбасса и Приднестровья. Отмечаются и прослеживаются особенности Приднестровья и Донбасса в сравнении с другими сепаратистскими образованиями. В качестве теоретической рамки, отражающей эту специфику, предлагается использование концепта «интернационалистский сепаратизм». Этот концепт может служить продуктивным инструментом как для изучения и сравнения этих двух случаев между собой, так и для сопоставления Приднестровья и Донбасса с другими сепаратистскими образованиями.

Ключевые слова: сепаратистские республики, историческая политика, интернационалистский сепаратизм, сравнение.

В последние десятилетия Восточная Европа стала ареной повышенной активности политических игроков в сфере политики памяти. В свою очередь, научное сообщество отреагировало на это публикацией ряда исследований, посвященных как теории изучения политики памяти в Восточной Европе, так и ее практическому измерению [Ассман 2006; Миллер, Липман 2012; Assman, Conrad, 2010; Blacker, Etkind, Fedor 2013; Etkind 2013; Bernhard, Kubik, 2014]. В этой статье рассматривается аспект исторической политики, который обычно привлекает ограниченное внимание исследователей — политика памяти в непризнанных сепаратистских государствах. В статье представлены методологические наблюдения по сравнительному анализу исторической политики в сепаратистских республиках Донбасса и Приднестровья. В качестве теоретической рамки предлагается использование концепта «интернационалистский сепаратизм». Этот концепт может служить как для сравнения исторической политики в республиках Приднестровья и Донбасса между собой, так и для сопоставления с другими сепаратистскими образованиями, особенно на постсоветском пространстве.

Историческая политика и сепаратизм в Приднестровье и Донбассе

Ограниченное внимание к этой части восточноевропейского ландшафта политики памяти частично объясняется трудностями в сборе материалов для таких исследований. Использование истории в политических целях

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) еще не изучено в полной мере. Некоторые наблюдения основаны на комментариях журналистов и политологов и исследованиях, в основном касающихся вопросов идентичности в сепаратистских государствах Приднестровья и Донбасса и истории Молдовы и Украины в региональном измерении [напр., Wilson 1995; Kolsto, Malgin 1998; Roper 2005; Katchanovski 2006; Blakkisrud, Kolsto 2011; Matsuzato 2017]. В нескольких исследованиях содержатся важные наблюдения об общих тенденциях и ключевых элементах политического использования истории в Приднестровье [Troebst 2003; Solonari 2003; Cojocar 2006; Dembinska, Iglesias 2013; Svet 2013]. Тем не менее, большинство этих исследований было опубликовано более десяти лет назад и в некоторых аспектах требуют дополнения и пересмотра, особенно в сравнительной перспективе². Использование истории в политических целях в недавно образованных непризнанных республиках Донбасса пока мало изучено. В этой связи было опубликовано лишь несколько исследований по короткой истории проекта Новороссия и использованию исторических символов в российских СМИ во время конфликта на востоке Украины [Laruelle 2015; Osipian 2015; Suslov 2017; O'Loughlin, Toal, Kolosov 2017].

С другой стороны, многочисленные исследования сепаратизма и непризнанных государств рассматривают эти феномены с точки зрения международных отношений, безопасности, экономики и международного права [напр., Coppeters, Sakwa 2003; Kohen 2006; Riegl, Dobos 2017]. В настоящий момент именно на этой проблематике сфокусировано большинство исследований, посвященных феномену сецессии и непризнанных государств. Тем не менее в последнее время ученые также отмечают, что развитие непризнанных государств зависит не только от международной политики, но и от внутренних усилий новообразованного государства, направленных на укрепление режима и государственное строительство [King 2001; Kolsto 2006; Caspersen 2012; Isachenko 2012; Dembinska, Campana 2017]. Историческая политика играет важную роль в государственном строительстве в сепаратистских республиках. Независимо от того, является ли государство признанным или непризнанным, историческая политика остается ключевой частью политического репертуара элит. В то же время историческая политика в непризнанных республиках имеет свою специфику. Сепаратистские режимы сталкиваются с особенно серьезными проблемами с точки зрения собственной легитимации. Они должны утверждать свою легитимность одновременно перед лицом внутренних оппонентов, центрального правительства и на международной арене. Историческая политика в непризнанных республиках становится одним из инструментов для

² Ян Зофка (2015) опубликовал важное сравнительное исследование приднестровского и крымского сепаратизма в первой половине 1990-х гг. Однако историческая политика не находится в центре его исследования.

обоснования своего стремления к отделению и права на самопровозглашенное квазинезависимое существование.

Исследователи отмечают, что акцент на меняющихся обстоятельствах и контекстах, а также на попытках политических акторов адаптироваться и реагировать в использовании ими истории в политических целях может быть продуктивным для анализа исторической политики [Миллер 2012]. Важно, что в рамках такого ситуативного подхода особое внимание уделяется множеству акторов, взаимосвязям между ними и изменениям в балансе сил. Он представляется продуктивным при анализе исторической политики в сепаратистских республиках Приднестровья и Донбасса, чей непризнанный статус делает их особенно восприимчивыми к изменениям внутреннего и внешнего контекстов. Существует несколько контекстов, которые оказывают ключевое влияние на историческую политику в непризнанных республиках Донбасса и Приднестровья. Местный контекст сепаратистских республик состоит из внутренней политической борьбы, изменений в руководстве или правительственной политике. Другой уровень включает политические события в остальных частях Украины и Молдовы и отношения сепаратистских режимов с соответствующим центральным правительством. События в родительских государствах (parent state), региональные политические события и конфликты, другие сепаратистские движения могут оказывать влияние на историческую политику в сепаратистских республиках. Наконец, решающее значение имеет международный контекст. Для Приднестровья изначально ключевую роль играли изменения, происходившие в СССР. Позднее влияние на ситуацию в Приднестровье стали оказывать политические изменения в России, интеграционные процессы на территории бывшего Советского Союза, европейская и американская активность в регионе. Для Донбасса важное значение имеет проевропейский дрейф Украины, отношения непризнанных республик с Москвой и международная политическая напряженность в регионе. Взаимодействие и изменения этих контекстов составляют основу эволюции исторической политики в сепаратистских республиках Донбасса и Приднестровья.

Необходимо также упомянуть взаимосвязи между Приднестровьем и республиками Донбасса. Из-за сходства приднестровского и донбасского случаев руководство двух донбасских республик уделяет внимание приднестровскому опыту, хотя изначально непризнанные республики Донбасса не хотели становиться «ещё одним Приднестровьем», предпочитая настаивать на присоединении к России. Переезд некоторых бывших приднестровских чиновников в Донбасс усиливает связь между ПМР и сепаратистскими республиками Донбасса. Например, бывший министр по делам государственной безопасности Приднестровья Владимир Антюфеев был заместителем премьер-министра ДНР по внутренним делам, а бывший вице-президент ПМР Александр Караман занимал должность заместителя премьер-министра по социальным вопросам и министра

иностранных дел ДНР³. Еще одна важная связь — влияние Москвы в регионах. Разумеется, не стоит абсолютизировать влияние Москвы в сепаратистских республиках Приднестровья и Донбасса. В Приднестровье уже не раз политическая ситуация шла вразрез с пожеланиями Москвы. Например, кандидат, поддержанный Москвой на президентских выборах в 2011 г., потерпел поражение. Ситуация в ДНР и ЛНР, учитывая общую напряженность вокруг Донбасса, несомненно, находится под более жестким контролем политических сил в России. Тем не менее и там нередко встречаются примеры несогласованности действий двух республик с Москвой и между собой, в частности, и в вопросах исторической политики. Наконец, появление донбасских сепаратистских республик актуализировало ситуацию с Приднестровьем и снова вывело приднестровскую проблему на передний план международной политики. Приднестровье рассматривалось в качестве одного из элементов проекта «Новороссия». Украинский кризис также усугубил отношения ПМР с Киевом. Таким образом, ситуации в непризнанных государствах Приднестровья и Донбасса взаимосвязаны. Из-за наличия перечисленных взаимосвязей некоторые черты сходства между сепаратистскими республиками могут носить не случайный характер, а, скорее, выступать следствием заимствования.

Несмотря на то что есть множество оснований для сравнения исторической политики в Приднестровье и в непризнанных республиках Донбасса, существуют и определенные ограничения. Так, между декларациями суверенитета сепаратистских республик в Приднестровье и Донбассе прошло почти 25 лет. ПМР в данный момент представляет из себя консолидированное непризнанное государство, которое существует уже почти три десятилетия. В течение этих лет ПМР с переменным успехом развивала институты власти и экономику. В ПМР правительство прошло через несколько избирательных циклов. Донбасским непризнанным республикам всего 4 года, и ситуация внутри и вокруг них по-прежнему нестабильна. Декларации суверенитета ПМР и донбасских республик также появились в разных исторических контекстах. Приднестровская республика возникла в основном в качестве ответа на сепаратистские тенденции Молдавской ССР в последние годы перед распадом СССР. Приднестровское руководство, в отличие от центрального руководства Молдавской ССР, стремилось остаться в пределах Советского Союза. Первоначально сепаратистская республика носила название «Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика», и лишь позже оно трансформировалось в «Приднестровскую Молдавскую Республику». В рамках Советского Союза появление ПМР в какой-то мере означало сецессию Приднестровья в ответ на сецессионистские тенденции в Кишиневе. Донбасские непризнанные республики возникли в условиях отсутствия

³ URL: <http://rusvesna.su/news/1405007792>; <https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/08/15/60743-171-pridnestrovskiy-general-187-vladimir-antyufeev-stavshiy-liderom-dnr-171-slabaki-ispugalis-sanktsiy-gde-klad-tam-i-serdtse-187>

более крупной политико-административной структуры, такой как Советский Союз. Во многом это была реакция, поддержанная и, по крайней мере, частично спровоцированная из-за границы, на кризис центральной власти Украины и политические изменения в Киеве. Таким образом, существуют значительные различия в геополитических, экономических и политических условиях провозглашения деклараций сепаратистских республик в Приднестровье и Донбассе. Еще одно различие между двумя случаями касается боевых действий. В Приднестровье военное столкновение произошло в 1992 г., и конфликт был заморожен. В Донбассе боевые действия продолжаются до сих пор, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в первый год кризиса. Неясность будущего и даже границ сепаратистских республик Донбасса продолжает иметь значение для местной исторической политики. Теоретическая возможность расширения территорий под контролем сепаратистов стимулирует гибкость в вопросе исторических территорий, на которые сепаратистские лидеры могут ссылаться в своем дискурсе. Исторические отсылки могут ограничиваться территориями Донецкой и Луганской областей, «Донбассом» или же простираются до Одессы и Приднестровья. Также важно, что в Приднестровье российские вооруженные силы размещены официально, а их наличие в Донбассе российская сторона отрицает.

Перечисленные различия между ПМР и донбасскими республиками затрудняют их сравнение и анализ в рамках одного исследовательского проекта. В то же время внимательное рассмотрение различий может добавить дополнительные измерения к сравнительному анализу этих случаев сепаратизма. Таким образом, представляется возможным сравнение схожих мотивов исторической политики в сепаратистских республиках, которые возникли в разных исторических обстоятельствах. Подобный анализ может объяснить структурные сходства сравниваемых случаев и подчеркнуть роль конкретных исторических контекстов и событий. Кроме того, появляется возможность сравнить историческую политику в первые годы существования республик, возникших в разные исторические периоды. Наконец, самое главное: сравнение Донбасса и Приднестровья позволяет преодолеть сложности, вызванные недавним началом сепаратистского конфликта на Донбассе. Конфликт в Восточной Украине разразился несколько лет назад и все еще находится в «горячей» фазе, хотя интенсивность конфронтации спала по сравнению с началом конфликта, а линия фронта в целом стабилизировалась. Внутренние политические тенденции сепаратистских республик Донбасса еще не были подвергнуты всестороннему анализу. Поэтому при анализе исторической политики в донецких сепаратистских республиках существует опасность соскользнуть в своего рода прямой репортаж с последовательным описанием происходящего, но с ограниченным выходом на анализ и обобщения. Сравнение с приднестровским случаем дает возможность взять дистанцию при анализе кейсов республик Донбасса и выйти за рамки простого описания к анализу основных тенденций, измерений и поворотов исторической политики в сепаратистских непризнанных республиках региона.

Интернационалистский сепаратизм

При ближайшем рассмотрении сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве можно заметить, что непризнанные республики в Приднестровье и Донбассе выделяются на общем фоне. В отличие от Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха или Чечни в 1990-х гг., Приднестровье и Донбасс не являются примерами четко декларируемого этнического или, как его также называют в научной литературе, этнонационального сепаратизма. До возникновения конфликта фактически не шло речи о приднестровской или донбасской нации или этничности. Даже после образования в этих регионах непризнанных государств сепаратистские лидеры предпочитали использовать термин «народ», а не «нация»⁴. Сепаратистские режимы объявляют себя представителями не одной этнической группы, а местного полиэтничного населения и утверждают, что защищают его от посягательств и атак националистического центрального правительства. Приднестровье и Донбасс — специфические примеры сепаратизма [о специфике приднестровского случая, см. Mason 2010: 239–273; Blakkisrud, Kolsto 2011: 194–198; об особенностях сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве с этой точки зрения, см. также Лапкин 2016: 59]. Отсутствие очевидной титульной этнической группы в сепаратистских государствах Приднестровья и Донбасса является их важной особенностью по сравнению с примерами этнонационального сепаратизма. Чтобы подчеркнуть их специфику, можно предложить термин *интернационалистский сепаратизм*. Это вовсе не исключает основополагающих международных, экономических, социальных и политических аспектов сепаратизма⁵. Важно подчеркнуть, что, предлагая термин «интернационалистский сепаратизм», я характеризую самопредставление сепаратистских режимов, но не обязательно их реальные мотивации, поведение и структуру.

Интернационалистский сепаратизм в данном случае является стратегией самолегитимации сепаратистских режимов в Приднестровье и Донбассе и попыткой строительства местной региональной идентичности и лояльности. Действительно, в обоих случаях существует выраженная пророссийская ориентация. Тем не менее пророссийская ориентация носит скорее российский, нежели этнически русский характер. Русский язык и культура играют ключевую роль

⁴ В какой-то мере это можно отнести и к наследию советской национальной политики, которая избегала термина «нация» и использовала вместо него «народ» и «национальная культура», которые, впрочем, также предполагали несколько другие коннотации.

⁵ Стремление лидеров сепаратистов к сохранению и / или получению региональных экономических и политических ресурсов является одной из основных причин их попыток поощрять и мобилизовывать местное недовольство против центрального правительства. Как показал Ян Зофка, в конце 1980-х гг. в Приднестровье существующие социальные структуры и изменения, происходившие в эти годы в рабочем пространстве, также могли способствовать сепаратистскому движению [Zofka 2016].

в местной публичной сфере, государственном строительстве и попытках формирования региональной общности. Тем не менее лидеры Приднестровья и Донбасса хотя бы декларативно подчеркивают полиэтничность местных жителей, которых они противопоставляют воинствующему этническому национализму молдавских и украинских властей и чьи интересы они по собственным заявлениям защищают. Руководство Приднестровья и Донбасса заявляет о принадлежности своих регионов к более широкому многонациональному пространству, будь то Советский Союз, некая «православная славянская цивилизация» или Русский мир⁶. Интернационалистский сепаратизм в этой логике возникает как реакция на национализирующие попытки центрального правительства строить нацию-государство, а не государство-нацию [о «национализирующих государствах» и разделении на «нацию-государство» и «государство-нацию» см.: Brubaker 1996; Stepan 2005]. Декларируемая исторически сложившаяся полиэтничность и межэтническая толерантность становятся одним из аргументов в пользу сепаратизма. Важно, что в сепаратистских официальных документах и риторике поддержка всех этнических групп включает представителей титульной нации родительского государства, то есть украинцев в случае Донбасса и молдаван — в Приднестровье. Украинский язык является государственным языком наряду с русскими в республиках Донбасса, а молдавский — наряду с русским и украинским в Приднестровье. Позитивные отсылки к советскому периоду служат не только для того, чтобы подчеркнуть социальную стабильность и экономические достижения этих лет, но и как связь с воспринимаемой многонациональной терпимостью и солидарностью в Советском Союзе.

Поскольку в случае интернационалистского сепаратизма местные лидеры прямо не обращаются к праву отдельной этнической группы на самоопределение, им необходимо создать или, по крайней мере, объявить наличие «народа», чтобы иметь основания требовать для него регионального суверенитета [Bobick 2014: 6]. Грубо говоря, в дихотомии «нации-государства» и «государства-нации» сепаратистские лидеры заявляют о создании последнего в оппозиции к стремлению центрального правительства построить «нацию-государство». В случае интернационалистского сепаратизма отсутствие четкого этнического разделения и международного признания гораздо острее по сравнению

⁶ Местные сепаратистские субъекты могут иметь разные интерпретации пророссийского характера и его различные измерения могут быть актуализированы в зависимости от обстоятельств. В обоих регионах есть группы, симпатизирующие более эксклюзивному и/или националистическому пониманию «русского». Но общая тенденция политического дискурса и исторической политики Приднестровья и Донбасса заключается в том, чтобы относиться к русскому/славянскому/православному пространству как к некоему охватывающему понятию для их полиэтничного сообщества и его геополитической принадлежности [об этом элементе приднестровского дискурса см.: Solonari 2003; Troebst 2003]. Существует и другое историческое и современное понимание русского национализма, который, среди прочего, приводит к тому, что русские националисты борются друг с другом по обе стороны фронта в Донбассе.

с примерами этнонационального сепаратизма ставит вопрос о внутренней и внешней легитимации и обосновании сепаратистских устремлений и актуализирует роль исторической политики. Последняя становится для лидеров непризнанных республик важным инструментом для обоснования сепаратизма, консолидации их режимов, мобилизации и укрепления местной поддержки. Приднестровский и донбасские сепаратистские режимы пытаются достичь этих целей, среди прочего, путем укрепления региональной сепаратистской полиэтничной идентичности, противопоставленной центральному правительству, но находящейся в основном не в жесткой оппозиции к широкому населению родительского государства.

Для интернационалистского сепаратизма историческая политика служит для демонстрации исторических предпосылок собственной сецессии и, прежде всего, исторических примеров движения за автономию и самостоятельность на сепаратистских территориях. В условиях ограничения отсылок к этнонациональной самолегитимации, эти исторические примеры используются для демонстрации постоянства особенных местных региональных интересов, уходящих корнями назад в прошлое. Это позволяет сепаратистским лидерам Приднестровья и Донбасса отрицать обвинения в «искусственности» их политических образований, с которыми они постоянно сталкиваются. Задачей является продемонстрировать, что, несмотря на полиэтничный состав населения в прошлом и настоящем, в сепаратистских регионах у всех культурных групп существуют объединяющие их вместе интересы и ощущение и осознание региональной общности.

В этом контексте важную роль играют существовавшие в прошлом административные образования, примерно совпадающие территориально с нынешними сепаратистскими образованиями. Эти образования получают роль «исторической / первой государственности», которые должны подчеркивать неискусственный характер современных сепаратистских республик Приднестровья и Донбасса. Также в истории прослеживается формирование определенной региональной полиэтничной общности, проживающей на сепаратистской территории. Так, исторический очерк о Приднестровье, опубликованный при поддержке МИД ПМР, подчеркивает роль межвоенного периода и Молдавской АССР в сближении «приднестровцев за эти полтора десятилетия», в укреплении формирующегося социально-культурного и психологического «типа приднестровской региональной общности» [Бабилунга 2015: 42]. В свою очередь, меморандум, принятый в 2015 г. Народным советом ДНР установил преемственность между ДНР и «многонациональным народным государством» Донецко-Криворожской Республикой (ДКР)⁷. В меморандуме подчеркивается, что идеи «жили в сердцах и душах миллионов людей», несмотря на короткий срок существования ДКР. Проявление этих идей руководители ДНР видели в Интердвижении Донбасса в конце 1980-х гг., в федеративных идеях, декларировавшихся

⁷ URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandумы/>

в регионе в 1994 г. и 2004 г., и, наконец, в политическом движении «Донецкая республика» и событиях 2014 г. Таким образом, лидеры ДНР декларировали историческую преемственность борьбы за самостоятельность Донбасса, что являлось важным элементом их самолегитимации.

В рамках этой логики формирование сепаратистских государств в Приднестровье и Донбассе становится кульминацией процессов исторической борьбы местного полиэтничного населения за региональную самостоятельность. Мотивы борьбы за самостоятельность и исторической преемственности государственности или политической автономии широко распространены и в нарративах, опирающихся на этнонациональный элемент в качестве основополагающего. Однако для интернационалистского сепаратизма основным действующим лицом в историческом нарративе становится полиэтничное население, а не одна титульная этническая группа. В свою очередь, поиск и выделение исторических примеров сепаратизма или же каких-либо административных территориальных формирований в прошлом особенно политически актуален. Использованием, а иногда и созданием таких историй сепаратистские режимы в Приднестровье и Донбассе подчеркивают неслучайность их формирования, привлекая под это историческое обоснование и преемственность. При отсутствии или же подчеркнутой приглушенности этнического измерения, которое само по себе может использоваться в качестве обоснования общности интересов и сепаратизма, именно такие исторические проявления региональной автономии или борьбы за самостоятельность используются интернационалистским сепаратизмом для исторической легитимации приднестровских и донбасских политических режимов.

Другим термином, которым можно было бы попытаться отразить специфику Приднестровья и Донбасса, мог быть многонациональный или полиэтничный (multiethnic) сепаратизм. Такой концепт также может подчеркнуть отличие этих двух случаев от примеров этнонационального сепаратизма и акцентировать попытки использования полиэтничности сепаратистскими лидерами. Однако, как представляется, есть основания предпочесть предложенный термин «интернационалистский сепаратизм».

Одним из таких оснований является довольно частое использование термина «интернационализм» самими лидерами сепаратистов Приднестровья и Донбасса. Это особенно касается Приднестровья в конце 1980-х и начале 1990-х гг. В какой-то мере такое использование выступало элементом инструментализации советского дискурса, хотя во многом лишенной его коннотаций социалистического периода. Важно, однако, быть осторожным и не воспринимать случаи использования такой риторики буквально⁸. В какой степени сепаратистское

⁸ Джон Аллан Мейсон, как представляется, попадает в эту ловушку в своем анализе ранних лет приднестровского сепаратистского движения, так как в его повествовании «интернациональная» риторика часто затмевает основополагающую политическую, социальную и экономическую динамику конфликта [Mason 2009; Mason 2010].

руководство и население Приднестровья и Донбасса искренне разделяют «интернациональную» риторику и руководствуются ли они ей в своих действиях является отдельной темой, требующей социологических и антропологических исследований, возможность которых ограничена политической ситуацией.

Помимо этого, концепт «интернационалистский сепаратизм» акцентированно подчеркивает важность советских отсылок в исторической политике и саморепрезентации приднестровских и донбасских сепаратистских лидеров. Именно советское наследие они объявляют одним из центральных столпов своей повестки, идентичности и общности. В свою очередь, по их утверждениям, центральные власти в Киеве и Кишиневе как раз отрицают и пренебрегают советским наследием. Немаловажную роль советского наследия в дискурсе сепаратистов Донбасса и Приднестровья играет межэтническое толерантное существование и сотрудничество.

Наконец, термин «интернационалистский» в данном случае позволяет лучше отразить акцент, сделанный сепаратистскими лидерами на открытом отрицании любого этнического национализма со стороны полиэтничного населения сецессионистских регионов, всех входящих в него групп и политических элит. В рассмотрении как текущей ситуации, так и истории регионов сепаратистские лидеры делают упор на межэтнической толерантности и сотрудничестве. В свою очередь, одной из причин конфликта с центральными властями представители сепаратистского руководства Приднестровья и Донбасса называют этнический национализм Киева и Кишинева. Представляется, что термин «интернационалистский», в том числе с его коннотациями, уходящими корнями в советский дискурс, точнее подчеркивает декларируемый сепаратистами антинационалистический посыл, чем концепт «многонациональный» или «полиэтнический сепаратизм». Последний, скорее, отсылает к комплексной структуре и сожителю культуру гетерогенного населения в некоем географическом регионе и обязательно предполагает выраженный антинационалистический дискурс, а также основанную на нем общность населения, находящегося под контролем сепаратистов. Опять же необходимо напомнить, что предложенный термин «интернационалистский сепаратизм» служит для того, чтобы отразить специфику дискурса в рамках исторической политики и политики идентичности сепаратистских властей в Приднестровье и Донбассе. Он не исключает националистических проявлений, особенно русских⁹, в других сферах или же их актуализацию в сфере исторической политики при формировании обстоятельств и ситуаций, в которых последние представляются политическим акторам выгодными.

Ввиду изложенных соображений концепт «интернационалистский сепаратизм» представляется предпочтительным, хотя понятия «многонациональный» или «полиэтнический» сепаратизм могут также отражать определенную специ-

⁹ В частности, в непризнанных республиках Донбасса русская националистическая риторика была особенно сильна на раннем периоде конфликта.

фику Приднестровья и Донбасса по сравнению с примерами этнонационального сепаратизма. Можно сказать, что Приднестровье и Донбасс в известной мере стоит рассматривать как один из подвидов многонационального или, например, регионального сепаратизма. Термин «интернационалистский» как раз может подчеркнуть описанные выше особенности.

Интернационалистский сепаратизм между борьбой за отделение и амбициями сепаратистских лидеров

Одной из самых ярких и интересных особенностей интернационалистского сепаратизма, заслуживающей более детального рассмотрения в этой статье, является то, что он нередко разделяет в своем дискурсе центральное правительство и подконтрольное ему население. Если центральное правительство выступает как однозначный «враг» и «иной», то население на территории родительского государства рассматривается отдельно. Часть населения, представляемая как «националистическая» (украинская или — в молдавском случае — «румынская») также оказывается в одном лагере с «националистическим» центральным правительством. Обычно подчеркивается, что эта группа — меньшинство в составе родительского государства. В то же время большинство населения, оставшегося под контролем центрального правительства, может представляться как группа, на чью лояльность можно оказывать влияние и среди которого можно найти или сформировать сторонников сепаратистов. Важно, что эти расчеты распространяются на представителей титульной этнической группы родительского государства. В этих рамках может также присутствовать географическое измерение. Например, сепаратисты Донбасса в целом не рассматривают население Западной Украины как своих потенциальных сторонников, но при этом видят их среди населения восточных, южных и центральных регионов Украины, находящихся под контролем Киева. Таким образом, этот элемент интернационалистского сепаратизма позволяет лидерам Донбасса и Приднестровья участвовать в политической борьбе за пределами контролируемых ими регионов, на территории родительского государства, пытаясь привлечь симпатии населения, проживающего там, и оказывая давление на центральное правительство амбициозными декларациями, ориентированными на территории, находящиеся под контролем Киева и Кишинева.

Эта особенность интернационалистского сепаратизма находит свое проявление и в сфере исторической политики. Так, появление слова «молдавский» в названии Приднестровской республики не случайно: изначально использовалось название «Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика», а после распада СССР — «Приднестровская Молдавская Республика». Особенность эволюции «национального движения» в Советской Молдове позволила приднестровским лидерам претендовать на роль защитников молдавской культуры и языка перед лицом прорумынских тенденций, исходящих

из Кишинева [Blakkisrud, Kolsto 2011: 197]. В этом ключе в марте 1991 года Верховный Совет принял постановление «О первоочередных мерах по сохранению самобытности молдавского народа, его языка и культуры». Помимо прочего, документ предполагал создание лаборатории по изучению истории Приднестровья при университете в Тирасполе и издание учебных пособий по истории Приднестровья и Молдовы. Таким образом, приднестровские лидеры пытались продемонстрировать, что их сепаратизм не носит антимолдавской направленности и даже, напротив, их позиция была декларативно промолдавской и демонстративно противопоставлялась «прорумынским» тенденциям кишиневских властей.

Принятие на себя роли защитников «молдавскости» позволило лидерам сепаратистов проследить преемственность с «исторической государственностью» в виде существовавшей в межвоенный период Молдавской АССР. Также это дало возможность принять некоторые государственные атрибуты Советской Молдовы, такие как красный-зеленый флаг, в то время как руководство в Кишиневе выбрало триколор, отличавшийся от румынского только оттенками цветов и гербом. Приднестровские лидеры пытались представить своих противников в Кишиневе как румынских угнетателей полиэтничного населения Молдовы, в том числе и самих молдаван. В этом контексте молдовенизм стал одной из особенностей приднестровского проекта и их исторического нарратива. Приднестровские лидеры не исключали возможности постепенной маргинализации румынских тенденций, и в этом случае они могли надеяться, что их позиция как защитников молдавской культуры и идентичности станет основанием для укрепления их влияния во всей Молдове, а не только в Приднестровье.

Впрочем, после того как на политической арене в Кишиневе румынизм отступил и к власти пришли политические силы, выступавшие также с позиций противодействия румынистским тенденциям и поддержки молдавской культуры и истории, приднестровское руководство оказалось в непростом положении, потеряв удобный козырь в политической борьбе и инструмент самолегитимации. Ответом стал более акцентированный упор на приднестровизм, то есть акцент в политическом дискурсе и историческом нарративе на развитие особенной приднестровской полиэтничной идентичности, которая отличает местное население от остальной Молдовы [Dembinska, Iglesias 2013: 5–6]. Тем не менее не стоит считать, что молдовенизм полностью исчез из исторической и идентитарной политики Приднестровья. При любых проявлениях румынистских тенденций на правом берегу Днестра, особенно на государственном уровне, приднестровские элиты актуализируют это измерение своей политики, хотя уже и не в тех масштабах как в первое десятилетие существования ПМР.

В республиках Донбасса, где продолжаются военные столкновения, ситуация все еще непредсказуема и может развиваться в любом направлении, этот элемент еще более заметен. Хотя проект «Новороссия» провалился или, во вся-

ком случае, был «заморожен», в ДНР и ЛНР существуют амбиции руководства, которые выходят за границы территорий, которые находятся под контролем сепаратистов. Так, минимальными амбициями руководства ДНР и ЛНР являются границы Донецкой и Луганской областей в составе Украины. В этих рамках в сепаратистских республиках действует Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса¹⁰. Однако заявленные амбиции лидеров, особенно в Донецке, простираются далее тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева. Закрепленная меморандумом 2015 г. историческая преемственность ДНР и Донецко-Криворожской республики¹¹ предоставляет «исторические основания» для таких экспансионистских амбиций, хотя реальные границы ДКР, как и в целом вопрос существования и реальной власти руководства этой республики в годы гражданской войны помимо деклараций остается предметом споров и дискуссий. После объявления преемственности мотив «воссоединения земель ДКР» нередко появляется в декларациях лидеров ДНР. Годовщина создания ДКР, 12 февраля, обычно является одним из поводов напомнить об «исторических» границах ДКР. В других случаях, например, отвечая на вопрос о возможности включения Херсона в состав ДНР, бывший глава республики Александр Захарченко ответил прямо: «Это не вопрос, это утверждение, мы ведь признали, что являемся правопреемниками Донецко-Криворожской Республики. Значит, вся территория ДКР относится к нам. Херсонская область и многие другие населенные пункты являются той территорией, на которую мы можем открыто претендовать»¹².

В какой-то мере анекдотическая история провозглашения тем же Захарченко «государства Малороссия» также весьма показательна с точки зрения мотивов, рассматриваемых в этой статье. 18 июля 2017 г., после форума, в котором приняли участие «представители 19 регионов бывшей Украины», Захарченко объявил Украину «несостоявшимся государством» и провозгласил создание его преемника «Малороссии», федеративного полиэтничного государства с двумя государственными языками, малоросским и русским. Донецк должен был стать столицей нового государства¹³. Декларация вызвала возмущение и оппозицию в международных кругах и даже внутри ДНР. Лидеры ЛНР также отрицали свое участие в объявлении Малороссии и какую-либо осведомленность о таких планах¹⁴. В амбициозной и довольно импровизированной попытке символически заменить «неудачную» Украину Захарченко и его соратники использовали

¹⁰ URL: <http://gum-centr.su/>

¹¹ URL: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandумы/>

¹² URL: <http://av-zakharchenko.su/inner-article/Pryamaya-liniya/Pryamaya-liniya-Glavy-DNR-Aleksandra-Zaharchenko-s/>

¹³ URL: <http://av-zakharchenko.su/inner-article/Stati/V-Donetcke-zayavleno-o-sozdanii-gosudarstva-pravopreemnika3/>

¹⁴ URL: <https://www.rbc.ru/politics/18/07/2017/596dd99a9a7947477d1db82b?from=newsfeed>

отсылку к Малороссии. Малороссия могла относиться к губернии, которая в определенное время в империи Романовых охватывала некоторые центральные части современной Украины. Тем не менее, несомненно, что для авторов декларации Малороссии источником вдохновения стал русский националистический дискурс второй половины XIX — начала XX в. По мнению русских националистов этого периода, русские были триединой нацией из трех ветвей: великороссов, малороссов и белоруссов [Миллер 2008]. В русском националистическом дискурсе XIX в. слово «украинский» воспринималось отрицательно, как категория враждебная и сепаратистская, а малоросс был верным членом русской нации и империи. Александр Захарченко играл именно с этими коннотациями «Малороссии». Захарченко попытался представить проект пророссийской альтернативы Украины, «хорошей Украины», а не нынешней «плохой», «националистической» и «неудачной», пытаясь, среди прочего, подорвать легитимность киевского правительства. Столкнувшись с внутренней и внешней критикой, в частности, из Москвы, бывший глава ДНР быстро среагировал и заявил, что имя «Малороссия» не получило положительных отзывов. Но это еще один пример того, как основой для такого рода исторического или символического конструкта стали экспансионистские претензии сепаратистского режима ДНР и попытка оказать давление на другие части Украины и международных участников переговоров. Тот факт, что интернационалистский сепаратизм не ставит себя неременным образом в оппозицию к населению под контролем центрального правительства или же титульной этнической группе в родительском государстве, в данном случае к украинцам, позволяет сепаратистским лидерам апеллировать к этому населению или к его части и даже пытаться бороться за их лояльность.

В схожем контексте стоит рассматривать организацию в ДНР и ЛНР Украинского народного трибунала, который в июне 2018 г. заочно приговорил Петра Порошенко и других «деятелей украинского режима»¹⁵. Появление трибунала — это попытка историко-юридического публичного закрепления оценки и интерпретации военного конфликта между центральной властью и сепаратистами. Однако ключевым является то, что в рамках трибунала украинские граждане рассматривают дела по украинским и международным законам. Таким образом, донбасские лидеры пытаются делегитимизировать центральную власть в Киеве как в глазах населения в сепаратистских регионах, так и на территориях под контролем украинского правительства.

Заключение

В этой статье был рассмотрен вопрос изучения и сравнения исторической политики в непризнанных сепаратистских республиках Приднестровья и Донбасса. В качестве теоретической рамки для анализа этих случаев предложен

¹⁵ URL: <https://nar-tribunal.ru/ot-3-h-let-do-pozhiznennogo-unt-oglasil-prigovory-soobshhnikam-poroshenko/>

концепт «интернационалистский сепаратизм». Концепт «интернационалистский сепаратизм» позволяет подчеркнуть их особенность в сравнении с сепаратистскими образованиями, опирающимися на этнонациональную легитимацию. Важным отличием от других примеров сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве, таких как Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Чечня и так далее, является то, что в Приднестровье и Донбассе сепаратистские лидеры провозглашают себя представителями местного полиэтничного населения, и не выделяют очевидную титульную этническую группу. С точки зрения исторической политики это приводит к созданию исторического нарратива, в котором центральную роль играет не этническая группа, а полиэтничная общность, проживавшая на территории Донбасса и Приднестровья. Собственно, ключевым мотивом исторических отсылок становятся попытки продемонстрировать формирование этой гетерогенной общности, ее особенные интересы, а также историческое стремление к самостоятельности. В то же время интернационалистский сепаратизм в отличие от этнонационального не противопоставляет себя населению и титульной группе родительского государства. Основным оппонентом является центральная власть в Киеве и Кишиневе, а не широкие слои населения. Это позволяет сепаратистским лидерам бороться за лояльность населения под контролем центрального правительства и декларировать возможность расширения своей власти на территории, оставшиеся в подчинении Киеву и Кишиневу. Таким образом, в случае интернационалистского сепаратизма в отличие от этнонационального стремление к отделению может периодически сочетаться с экспансионистскими амбициями, которые при этом не ограничены представлениями об этнических территориях и могут простираются шире. Исторические отсылки и мотивы служат для легитимации и обоснования таких амбиций сепаратистских лидеров. Как представляется, концепт «интернационалистский сепаратизм» может отразить отмеченные в статье особенности исторической политики в сепаратистских республиках Донбасса и Приднестровья. В этом смысле он может быть продуктивным инструментом как для изучения и сравнения этих двух случаев между собой, так для сопоставления Приднестровья и Донбасса с другими сепаратистскими образованиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. — М., 2014.
2. *Бабилунга Н.* Приднестровье: Шаги Истории. — Тирасполь, 2015.
3. *Лапкин В. В.* Проблемы национального строительства в полиэтничных постсоветских обществах: украинский казус в сравнительной перспективе. // Полис. Политические исследования. — 2016. № 4. С. 54–64.
4. *Миллер А.* Введение. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI в. // Миллер А., Липман М. (ред.). Историческая политика в XXI веке. — М., 2012. С. 7–32.
5. *Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм. — М., 2008.

6. *Миллер А., Линман М.* Историческая политика в XXI веке. — М., 2012.
7. *Assmann A., Conrad S.* (eds.). *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories.* — New York, 2010.
8. *Bernhard M., Kubik J.* (eds.). *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration.* — Oxford, New York, 2014.
9. *Blacker W., Etkind A., Fedor J.* (eds.). *Memory and Theory in Eastern Europe.* — New York, NY, 2013.
10. *Blakkisrud H., Kolsto P.* From Secessionist Conflict Toward a Functioning State: Processes of State- and Nation-Building in Transnistria. // *Post-Soviet Affairs.* — 2011. V. 27 (2). P. 178–210.
11. *Bobick M. S.* Separatism Redux: Crimea, Transnistria, and Eurasia's De Facto States // *Anthropology Today.* — 2014, V. 30 (3). P. 3–8.
12. *Brubaker R.* *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.* — Cambridge, 1996.
13. *Caspersen N.* *Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System.* — Boston, MA: Polity.
14. *Cojocaru N.* Nationalism and Identity in Transnistria // *Innovation* — 2006. v. 19(3/4). P. 261–272.
15. *Coppieters B., Sakwa R.* (eds.). *Contextualizing Secession: Normative Studies in Comparative Perspective.* — Oxford; New York, 2003.
16. *Dembinska M., Campana A.* Frozen Conflicts and Internal Dynamics of De Facto States: Perspectives and Directions for Research // *International Studies Review.* — 2017. V. 19 (2). P. 254–278.
17. *Dembinska M., Iglesias J. D.* The Making of an Empty Moldovan Category Within a Multiethnic Transnistrian Nation // *East European Politics and Societies.* — 2013. V. 27 (3). P. 413–28.
18. *Etkind A.* *Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied.* — Stanford, Ca., 2013.
19. *Isachenko D.* The Making of Informal States: State-Building in Northern Cyprus and Transdnistria. — Basingstoke, 2012.
20. *Katchanovski I.* *Cleft Countries: Regional Political Divisions and Cultures in Post-Soviet Ukraine and Moldova.* — Stuttgart, 2006.
21. *King Ch.* The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia's Unrecognized States // *World Politics.* — 2001. V. 53 (4). P. 524–552.
22. *Kohen M. G.* (ed.). *Secession: International Law Perspectives.* — Cambridge, UK, New York, 2006.
23. *Kolsto P., Malgin A.* The Transnistrian Republic: a Case of Politicized Regionalism // *Nationalities Papers.* — 1998. V. 26 (1). P. 103–127.
24. *Kolsto P.* The Sustainability of Unrecognized Quasi-States // *Journal of Peace Research.* 2006. V. 43 (6). P. 723–740.
25. *Laruelle M.* The Three Colors of Novorossiia, or the Russian Nationalist Mythmaking of the Ukrainian Crisis // *Post-Soviet Affairs.* — 2015. V. 32 (1). P. 55–74.
26. *Mason J. A.* Internationalist Mobilization during the Collapse of the Soviet Union: The Moldovan Elections of 1990 // *Nationalities Papers.* — 2009. V. 32 (2). P. 159–176.
27. *Mason J. A.* Mobilizing the Left: The Moldovan Internationalist Countermovement and the Origins of the Moldovan Civil War. — Santa Barbara, 2010.
28. *Matsuzato K.* The Donbass War: Outbreak and Deadlock // *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization.* — 2017. V. 25 (2). P. 175–200.

29. *O'Loughlin J., Toal G., Kolosov V.* The Rise and Fall of "Novorossiia": Examining Support for a Separatist Geopolitical Imaginary in Southeast Ukraine // *Post-Soviet Affairs*. — 2017. V. 33 (2). P. 124–144.
30. *Osipian A.* Historical Myths, Enemy Images and Regional Identity in the Donbas Insurgency (Spring 2014) // *Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society*. — 2015. V. 1 (1). P. 109–140.
31. *Riegl M., Dobos B.* (eds.). *Unrecognized States and Secession in the 21st Century*. — Berlin — New York, 2017.
32. *Roper S. D.* The Politicization of Education. Identity Formation in Moldova and Transnistria // *Communist and Post-Communist Studies*. — 2005. V. 38 (4). P. 501–514.
33. *Solonari V.* Creating a People: A Case Study in Post-Soviet History-Writing // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. — 2003. Vol. 4. No. 2. P. 411–438.
34. *Stepan A.* Ukraine: Improbable Democratic "Nation-State" but Possible Democratic "State-Nation"? // *Post-Soviet Affairs*. — 2005. V. 21 (4). P. 279–308.
35. *Suslov M.* The Production of 'Novorossiia': A Territorial Brand in Public Debates // *Europe-Asia Studies*. — 2017. V. 69 (2). P. 202–221.
36. *Svet A.* Staging the Transnistrian Identity Within the Heritage of Soviet Holidays // *History and Anthropology*. — 2013. V. 24 (1). P. 98–116.
37. *Troebst S.* 'We Are Transnistrians!' Post-Soviet Identity Management in the Dniestr Valley // *Ab Imperio*. — 2003. V. 1. P. 437–466.
38. *Wilson A.* The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes // *Journal of Contemporary History*. — 1995. V. 30 (2). P. 265–289.
39. *Zofka J.* Postsowjetischer Separatismus. Die pro-russländischen Bewegungen im moldauischen Dnjestr-Tal und auf der Krim 1989–1995. — Göttingen, 2015.
40. *Zofka J.* The Transformation of Soviet Industrial Relations and the Foundation of the Moldovan Dniester Republic // *Europe-Asia Studies*. — 2016. V. 68 (5). P. 826–846.

ДИСКУССИИ И ОБЗОРЫ

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА И РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПАМЯТИ¹

Коммеморации столетия революции в России: от памяти к политикам памяти

Стенограмма дискуссии

12 октября 2017 г. состоялось заседание Группы ситуационного анализа Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), посвященное теме «Столетний юбилей революций 1917 года и российская политика памяти». С основными докладами выступили д. фил. н., проф., вед. науч. сотр. ИНИОН РАН **О. Ю. Малинова** и д. и. н., проф., вед. науч. сотр. ИНИОН РАН **А. И. Миллер**. В ситуационном анализе приняли участие д. полит. н. **Д. В. Ефременко**, д. полит. н. **Ю. Г. Коргунюк**, д. э. н. **С. Н. Смирнов**, д. полит. н. **В. С. Авдониин**, к. соц. н. **А. М. Понамарева**, к. полит. н. **Е. В. Пинюгина**. Модератором дискуссии выступил заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, д. полит. н. **Д. В. Ефременко**.

Предлагаем вниманию читателей материалы заседания.

Материалы дискуссии отражают результаты исследовательской работы в рамках проекта РНФ № 17-18-01589, осуществляемой в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

ЕФРЕМЕНКО: Уважаемые коллеги, мы продолжаем наши заседания в рамках недавно созданной Группы ситуационного анализа, и сегодня мы с вами будем обсуждать тему, связанную с приближающимся столетним юбилеем Октябрьской революции и уже прошедшим столетним юбилеем Февральской революции. Но мы будем обсуждать ее в определенном контексте — в контексте **политики памяти**. Термином «политика памяти» мы обозначаем всю сферу публичных стратегий в отношении прошлого, совокупность различных практик и норм, связанных с регулированием коллективной памяти. Сюда относятся и коммеморации — мероприятия по сооружению памятников, созданию или изменению тематической экспозиции музеев, отмечанию на государственном уровне каких-либо особо значимых событий прошлого, привлечению внимания к одним сюжетам истории и замалчиванию других сюжетов. И конечно, сейчас идет 2017 год — год столетнего юбилея Февральской и Октябрьской революций. Это интереснейший кейс, на основе которого можно рассмотреть

¹ Впервые опубликовано на сайте Гефтер.ру 07.11.2017. URL: <http://gefter.ru/archive/23171>

современную российскую политику памяти как систему взаимодействий и коммуникаций относительно политического использования прошлого, где свою роль, конечно, играет и профессиональное, экспертное сообщество. Роль важную, но не исключительную. Можно сказать, что политика памяти является системой с внутренней рефлексией, причем представители научного сообщества оказываются здесь в двойственной позиции — действующего субъекта и одновременно рефлексирующего наблюдателя.

Чтобы понять, в чем состоит основная задача политики памяти, имеет смысл вспомнить известную формулу нации, которую Эрнест Ренан отчеканил в своей сорбоннской лекции (1882):

«Нация — это душа, духовный принцип. Две вещи, которые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая — к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством».

Несомненно, что две составляющие формирования нации теснейшим образом взаимосвязаны, и важной предпосылкой желания жить вместе оказывается **политический менеджмент** богатого наследия воспоминаний. Иными словами, политика памяти является одним из важнейших инструментов по формированию макрополитической идентичности того или иного сообщества. Но не только. Попутно в рамках политики памяти ее основные игроки реализуют и другие задачи, позволяющие не только консолидировать нацию, но и содействовать готовности жить вместе при определенной политической системе или режиме. Либо, наоборот, выстраивать политику памяти таким образом, чтобы заодно стимулировать какие-либо политические изменения.

Собственно, вот об этом мы и будем говорить сегодня на примере современной России и того, как отмечаются юбилеи революционных событий 1917 года.

Сегодня с нами два ведущих российских специалиста по этой проблематике — Алексей Ильич Миллер и Ольга Юрьевна Малинова. Это большая удача, что нам удалось собрать их вместе, предложив им принять участие в работе Группы ситуационного анализа и рассказать о результатах исследовательской работы, которую они ведут в рамках проекта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589).

Я хотел бы сначала предоставить слово Ольге Юрьевне Малиновой, а потом уже Алексею Ильичу Миллеру.

МАЛИНОВА: Уважаемые коллеги, так получилось, что с прошлого года при поддержке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» я провожу исследования подготовки к коммеморации столетия революции 1917 года, осуществляю мониторинг этой подготовки, пытаюсь придумать теоретическую рамку для ее анализа, и хочу поделиться с вами некоторыми результатами моих изысканий.

Хочу уточнить, что предметом моего внимания является именно политика памяти. То есть я смотрю на этот процесс не как историк, которого интересует историографические сюжеты, а как политолог. Меня интересует взаимодействие общественных акторов в коммеморации, то есть коллективном «вспоминании» исторических событий революций 1917 года.

Стоит отметить, что для властвующей элиты этот юбилей — весьма неудобный. Властвующей элитой я называю группу лиц, которые принимают решения относительно политики памяти, проводимой от имени государства. В нее входят и публичные политики, и анонимные чиновники. Большинство решений принимается в закрытом режиме, поэтому мы не можем знать, кому принадлежит та или иная идея. Впрочем, иногда внутриэлитные споры прорываются в публичное пространство.

Итак, с точки зрения той политики памяти, которую властвующая элита проводит в последние десять — пятнадцать лет, столетие революции(й) 1917 года — не самый удобный повод для коммеморации. В нулевых годах концепция официального исторического нарратива, то есть смысловой схемы, отражающей «логику» событий национального прошлого, существенно трансформировалась. Современный официальный нарратив сосредоточен на теме «тысячелетнего великого Российского государства». С этой точки зрения события 1917-го — и Февраль, и Октябрь — очевидно не являются поводом для триумфа. Скорее, это трагический момент кризиса, срыва, момент распада государства, которое, правда, затем удалось собрать.

Октябрьская революция была **мифом основания** для Советской России. Она рассматривалась как поворотное событие, которое разделяет историю на «до» и «после». Советская власть вкладывала довольно существенные ресурсы в то, чтобы создать соответствующую инфраструктуру коллективной памяти для этого мифа — праздник, связанные с ним символы и ритуалы, памятники, музеи, топонимия публичных пространств, книги, фильмы, стихи, песни... После распада СССР все это продолжало существовать. Понятно, что такое историческое событие нельзя было просто «забыть», память о нем следовало трансформировать.

К сожалению, никакой стратегической работы в этом направлении не проводилось ни в девяностые, ни в нулевые. А в декабре 2004 года было принято радикальное решение: в ходе реформы праздничного календаря 7 ноября перестало быть праздником. Тем самым был понижен символический статус этого события.

При этом формально отмене подлежал не День Октябрьской революции, а День согласия и примирения — такое название праздник 7 ноября получил в 1996 году. Правда, за переименованием не последовало никаких изменений в праздничных практиках, ритуалах, сценариях празднования. Межрелигиозный совет России, выступивший инициатором «замены», предлагал найти лучший повод для праздника, посвященного народному единству и согласию. Оче-

видно, что замена оказалась неудачной: за двенадцать лет власти так и не удалось заставить заработать новый праздник (правда, его с успехом использовали организаторы «Русского марша»). Однако сегодня можно сказать, что с точки зрения трансформации социально-культурной инфраструктуры памяти отмена праздника 7 ноября в каком-то смысле достигла цели. Как справедливо отметил С. Нарышкин, комментируя программу коммеморации столетия революции, уже выросло целое поколение, которое ни разу не участвовало в праздничных мероприятиях 7 ноября. Это в какой-то мере способствует тому, что тема революции становится менее острой. Правда, не для старших поколений.

Отмена праздника 7 ноября позволила примерно на десятилетие исключить тему 1917 года из политики памяти, проводимой от имени государства. Однако столетие такого великого, по всемирно-историческим меркам, события, конечно, не может пройти незамеченным. В повестку дня встала проблема разработки какой-то общегосударственной программы коммеморации.

Под этим термином я понимаю публичные мероприятия и акты, направленные на коллективное вспоминание исторического события или фигуры, которые, конечно, сопровождаются их оценками. Коммеморация необязательно является празднованием, то есть актом торжества. Она может быть актом скорби, сожаления, почитания памяти мертвых. Я использую иностранный термин «коммеморация», поскольку в русском языке нет слова, которое бы охватывало эти разные модальности публичного вспоминания.

Итак, столетие революции(й) 1917 года, несомненно, подлежит общегосударственной коммеморации. Надо сказать, что решение относительно ее формата принималось довольно долго. Впервые эта тема всплыла еще в 2014 году, в связи со столетием Первой мировой войны: обсуждая тему войны, Путин дал критическую оценку действиям большевиков, чем спровоцировал очередной раунд споров о событиях 1917 года. Однако было понятно, что за столетием Первой мировой войны придет столетие революции и надо что-то с этим делать. Путин неоднократно вспоминал про грядущее столетие революции на совещаниях с историками (в контексте разработки Концепции преподавания истории в школе они имели место достаточно регулярно). Однако решение откладывалось до последнего момента. Формально распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных столетию революции, было подписано Президентом РФ в декабре 2016 года, то есть буквально за несколько недель до того момента, когда надо было бы отмечать столетие Февральской революции. Для событий такого масштаба это беспрецедентно поздно.

Распоряжение президента о подготовке коммеморативных мероприятий очень краткое, тем не менее оно содержит несколько важных символических решений.

Во-первых, событие, подлежащее коммеморации, именуется «революцией 1917 года в России». Лаконично и нарочито нейтрально. Снимаются все споры об эпитетах — социалистическая или буржуазная, русская или российская

и так далее. Но точно не «великая»! Кроме того, снимается вопрос о том, какую из двух революций мы собираемся отмечать: Февральскую, Октябрьскую или обе. Еще один важный момент: государство отказывается брать на себя роль организатора коммеморативных событий, эта задача отдается на аутсорсинг Российскому историческому обществу (РИО). Это явное понижение символического статуса грядущего юбилея.

Тем не менее, коль скоро коммеморация будет иметь место, нужно принимать решение относительно ее смыслового наполнения.

На этот счет разными высокими должностными лицами высказывались разные предположения. Но в конечном счете выбор был сделан в пользу формулы «примирения и согласия». Такие слова были включены и в послание Путина Федеральному Собранию. Упомянув о предстоящем столетии революции, он заметил, что «уроки истории нужны нам, прежде всего, для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь». Это буквальное повторение формулы, которую в 1996 году Анатолий Чубайс придумал для Бориса Ельцина, когда возникла идея переименования праздника 7 ноября. Странно, что это никого не смутило.

Возникает вопрос: каковы шансы, что согласие и примирение, которых не удалось достичь в 1990-е годы, удастся достичь сейчас? Кстати, на то, что празднование планировалось именно в таком ключе, указывает и план мероприятий, принятых РИО при участии Российского военно-исторического общества (РВИО), руководимого Владимиром Мединским. Согласно этому плану, главным мероприятием должно было стать открытие памятника примирения в Крыму, где заканчивалась гражданская война. Оно было намечено на 4 ноября. Обратите внимание: не 7, а 4 ноября, и в Крыму. Это символично. Правда, осуществить этот план вряд ли получится.

Итак, «примирение и согласие» потомков красных и белых... Однако сегодня, спустя сто лет, проблема вряд ли стоит в таких терминах: спустя сто лет не так уж велика доля граждан, которые идентифицируют себя именно таким образом. В истории нашей страны все перемешалось, и в семейных историях — тоже.

Однако оценка революции, отношение к революции является основой для конкурирующих нарративов отечественного прошлого. Как мы знаем, история XX века является предметом яростных споров. Мне представляется, что их острота определяется не только плюрализмом идеологических позиций. Имеет место сосуществование двух разных культурных парадигм политической работы с прошлым, которые во многом противоречат друг другу.

С одной стороны, актуальна парадигма критической проработки трудного прошлого. Такую политику памяти мы обнаруживаем в очень многих странах мира, в истории которых были гражданские войны, политические репрессии, массовые убийства, этнические чистки и тому подобные трагедии и преступления. Культурные модели критической проработки связаны с коммеморацией памяти жертв и наказанием преступников и палачей. В нашей стране критиче-

ская проработка прошлого началась (или в каком-то смысле возобновилась) в годы перестройки. Она сыграла важную роль в трансформации советского идеологического нарратива и до сих пор остается в повестке дня. Есть довольно серьезная коалиция акторов, настаивающих на проведении такой политики памяти.

Но с другой стороны, после распада СССР встала задача формирования идентичности макрополитического сообщества, стоящего за новым Российским государством. Это предполагает другой подход к использованию прошлого — тот, о котором так красноречиво писал Э. Ренан. Нарративы, полагаемые в качестве оснований национальных идентичностей, должны представлять позитивный образ нации. Как правило, они основываются на героических событиях, на истории вклада народа в сокровищницу человеческой культуры и прочих позитивных вещах.

За этими парадигмами стоят разные коалиции акторов, их сложно порой бывает совмещать. Но революция 1917 года — это центральный элемент обоих нарративов. То есть ее нельзя выкинуть ни из одного, ни из другого.

Подготовка к коммеморации — это всегда политический процесс. Во-первых, есть разные мнемонические акторы, с разными подходами, которые конкурируют друг с другом. Во-вторых, общегосударственная коммеморация исторического события должна быть согласована с политическим курсом и идеологией властвующей элиты. Таким образом, имеет место и *politics* — борьба разных акторов, продвигающих собственные интерпретации, и *policy* — реализация «линии партии», точнее, государства.

Поскольку это так, имеет смысл анализировать стратегии ключевых мнемонических акторов, то есть тех политических сил, которые участвуют в борьбе за то, как надо вспоминать столетие революции 1917 года. В данном контексте имеют значение именно общественно-политические силы. Эксперты, выступающие в своем личном качестве, на мой взгляд, не могут автоматически рассматриваться в качестве мнемонических акторов. Кроме того, нужно анализировать соперничающие нарративы, чтобы видеть, в какой мере они могут быть согласованы друг с другом.

Поскольку времени не так много, я буду говорить лишь о трех мнемонических акторах (более обстоятельный анализ можно будет найти в статьях, которые я готовлю к печати).

Первый актор — это властвующая элита. Как я уже сказала, для властвующей элиты столетие революции 1917 года — это неудобное событие, которое нельзя, однако, не заметить, но надо как-то пережить. Вопрос: как это сделать? Как я уже сказала, выбор пал в пользу принципа «примирения и согласия». Но в процессе выбора имела место определенная конкуренция идей. Озвучивались разные варианты.

Первый соответствует логике официального нарратива: Октябрьский переворот как досадный срыв на пути поступательного развития великого Российского

государства. Эту интерпретацию несколько раз озвучивал Владимир Путин. Он это делал деликатно, подчеркивая, что есть разные точки зрения. Но настойчиво — в разных контекстах, начиная с 1999 года, когда он был еще премьер-министром. По-видимому, такова его личная точка зрения. Однако она очевидно не годится для коммеморации столетия революции. Как показывает опрос «Левада-центра», доля респондентов, которые оценивают Октябрьскую революцию позитивно, составляет 38 %, очень позитивно — 10 %. Для значительной части населения это по-прежнему то, что надлежит праздновать, а не то, из-за чего надлежит скорбеть.

Второй вариант в мае 2015 года предложил министр культуры Владимир Мединский на специальном круглом столе возглавляемого им Российского военно-исторического общества. По его мысли, столетие Октябрьской революции надо отметить как неполитическое и внутривоссийское событие, сделав упор на идее примирения и согласия потомков белых и красных. Собственно говоря, эта идея и оказалась принята.

Третий вариант был изложен в опубликованной весной 2016 года статье министра иностранных дел Сергея Лаврова про исторический контекст российской внешней политики. Затрагивая тему столетия, Лавров подчеркивал необходимость признания международной значимости Октябрьской революции (этот аспект отсутствовал в концепции Мединского) и выражал озабоченность, что столетие может стать поводом для фальсификации истории в ущерб интересам России. Лавров доказывал, что наша революция была нормальной, по европейским меркам, революцией и все в ней было, как и в других революциях.

И наконец, четвертым вариантом можно считать формулировку, предложенную авторами Концепции преподавания истории в школе. Концепция, как вы помните, стала ответом на задание президента придумать единый учебник по истории. Но придумали не единый учебник, а концепцию. И вот в рамках проработки концепции было предложено новое определение для события, столетие которого мы собираемся отмечать, — Великая российская революция — с хронологией с 1917-го по 1922 год. По аналогии с Великой французской революцией, российскую предлагалось рассматривать как длительный процесс, в котором были разные этапы. В целом эта формула была достаточно перспективной, поскольку она отвечает эклектическому духу нынешней официальной концепции. В рамках этой формулы можно было бы найти место и для тех, кто хотел бы праздновать, и для тех, кто предпочитает скорбеть, поскольку событие разбивалось бы на множество коммемораций, которые могли проводиться разными силами и с разным знаком. Я хочу обратить ваше внимание на то, что от этой концепции осталась идея революции 1917 года без уточнения хронологии. Но отмечать столетие на протяжении четырех лет власть оказалась не готова, поэтому результатом оказалось то, что мы сегодня имеем.

Разумеется, властвующая элита — не единственный мнемонический актер, который готовится отмечать столетие. Прежде всего, важным оппозиционным

этой программе мнемоническим актором являются коммунистические и левые силы. В первую очередь, конечно, КПРФ как официальная политическая партия, которая участвует в избирательном процессе. Не будем забывать, что мы на пороге очередной президентской избирательной кампании, в которой коммунисты, разумеется, будут участвовать. Коммунисты — это единственная политическая сила, которая готовится праздновать эту дату. В ее нарративе Октябрьская революция — это момент национальной славы. Интерпретация, которую развивают коммунисты, в общем и целом продолжает советскую интерпретацию. Либеральный Февраль, который начал распад страны, и Октябрьская революция, которая страну спасла и в конечном счете открыла нашему народу путь к светлому коммунистическому будущему. Ну а то, что в годы перестройки этой перспективе был положен конец, — это трагедия, это как раз главная травма XX века, а золотым веком был именно советский период. Коммунисты не согласились с идеей «согласия и примирения». Они готовят собственную программу коммеморации, которая имеет, в том числе, и международно-политическую составляющую. Коммунисты готовятся принимать представителей, как сказал Зюганов, более чем 125 левых и прогрессивных партий. Готовятся 7 ноября устраивать большие празднования в Москве, и массовые шествия, и все, как положено. Основной идеей коммеморации, которую реализуют коммунисты, является борьба с антисоветизмом и русофобией. «Антисоветизм» — это про борьбу с теми, кто критикует советское наследие. «Русофобия» — это потому, что для коммунистов именно советский период — это вершина развития русской нации. Это, с одной стороны, про Запад, который нас критикует, а с другой стороны, про внутренних акторов, которые критически относятся к советскому опыту. Отчасти сюда попадают и представители власти. Коммунисты, во всяком случае в официальных выступлениях, не очень склонны это педалировать, но, если посмотреть их партийные речи и публикации в СМИ, можно увидеть, что и власти за «русофобию» тоже достается.

Будучи радикально не согласны с официальной концепцией, коммунисты выступают в качестве воинствующих мнемонических акторов. Но в то же время КПРФ — это системная политическая партия, которой надо спокойно поучаствовать в выборах, разумеется, не победить, но набрать достойное количество голосов. Она зависит от доброй воли администрации президента, поэтому слишком резко демонстрировать свою оппозиционность не станет. Правда, на левом фланге кроме коммунистов есть и другие, «несистемные» силы. И здесь есть интересная интрига, к которой мы вернемся в конце.

Еще одним очень важным мнемоническим актором в этом процессе, на мой взгляд, является Русская православная церковь (РПЦ), для которой Февраль и Октябрь 1917 года — это очень важные события. У РПЦ собственная программа коммеморации. Для Церкви 1917 год — это начало национальной трагедии, в которой бедствия народа соединились с распадом государства и гонениями

на саму Русскую православную церковь. Но вместе с тем в 1917 году состоялся Поместный собор — первый с XVII века, ознаменовавшийся восстановлением патриаршества. В конечном счете это очень важное звено нарратива РПЦ о XX веке — нарратива, который как почти к кульминационной точке подходит к 1990-м годам, точнее к 1988 году — празднованию тысячелетия крещения Руси, которое оказалось отправной точкой возрождения церковной жизни и началом нового этапа в жизни РПЦ. РПЦ является одним из наиболее сильных игроков в коалиции общественных сил, которые выступают за критическую проработку прошлого. Церковь занимает вполне определенную нравственную позицию, подчеркивая, что нельзя зло называть добром. Например, она выступает за переименование улиц и площадей, названных именами пламенных революционеров и палачей по совместительству. Она выступает за то, чтобы похоронить Ленина, убрать кладбище на Красной площади и так далее.

Правда, РПЦ не настаивает на немедленной реализации этой программы. Это соответствует пастырской установке на сохранение мира. Предполагается, что эти решения должны быть достигнуты путем убеждения, а не символического насилия.

В 2017 году РПЦ осуществляет большую программу юбилейных мероприятий, которые охватывают и Февральскую революцию... Была большая конференция «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», организованная Императорским православным палестинским обществом. Она проходила в соборе Христа Спасителя. Отмечалось столетие Поместного собора, восстановления патриаршества и восьмидесятилетие Большого террора... РПЦ — это сильный мнемонический актер с самостоятельной программой, которая, однако, не носит воинствующего характера. В силу этого РПЦ оказывается достаточно комфортным партнером для властвующей элиты. Владимир Путин не раз принимал участие в коммеморативных мероприятиях РПЦ, посвященных теме политических репрессий. В мае этого года был освящен храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре, Путин участвовал в этой процедуре и произносил небольшую речь, в которой, конечно, ключевой тезис был о «примирении и согласии». Так что, с одной стороны, РПЦ — это самостоятельный актер, который реализует повестку критического отношения к прошлому, но в то же время — компромиссный актер, сила, которая поддерживает идею примирения и согласия, по крайней мере на уровне руководства церковной иерархии. Позиция патриарха Кирилла была сформулирована в его докладе на Рождественских чтениях: «По милости Божией мы можем в год 100-летия смуты искренне, без каких-либо политических комментариев, перелистнуть эту страницу отечественной истории». Это, собственно говоря, ровно то, о чем говорят Владимир Мединский и другие представители власти.

Значит ли это, что у нас действительно есть шанс увидеть в ближайший месяц триумф примирения и согласия? На мой взгляд, абсолютно нет.

Если мы внимательно посмотрим на те нарративы по поводу событий 1917 года, которые представлены в медиа, то увидим, что они совершенно разные, а позиции авторов довольно трудно примирить. Это фрагментированный конфликтный режим памяти. Однако он существует в контексте политической системы, где у властвующей элиты есть определенные возможности контролировать рамки допустимого. Эти рамки — Путин однажды назвал их «красными линиями» — определены достаточно четко: плюрализм возможен только на патриотической платформе. Коммунисты в эти «красные линии» вполне вписываются. А акторы, которые их пересекают — либералы-«яблочники», «мемориальцы» и другие, — в рамках сложившейся медийной системы не обладают большими коммуникативными возможностями.

Таким образом, на содержательном уровне никакого «согласия и примирения» нет. Но у властвующей элиты есть возможность контролировать ситуацию и провести запланированные мероприятия тихо и гладко.

Впрочем, не все пошло по заранее придуманному плану. Возникла неувязка с открытием памятника Примирению в Крыму 4 ноября. Первоначально его предполагали устанавливать в Керчи. Но это оказалось невозможно, поскольку место установки оказалось в зоне строительства моста через Керченский пролив. Решили ставить памятник в Севастополе. Но там идея встретила сопротивление со стороны местной общественности. Во-первых, вызвала возражения сама идея «примирения» с белыми. Во-вторых, местная общественность была возмущена тем, что решения принимаются в Москве, без учета мнения севастопольцев. Были пикеты, организованные севастопольским отделением кургиняновского движения «Суть времени», в чем есть некая ирония: ведь, как мы помним, это движение активно помогало Владимиру Путину во время его прошлой избирательной кампании. Реагируя на протесты, губернатор дал указание провести общественные слушания (как положено по местному законодательству). Был наспех организован круглый стол, однако оппоненты отказались считать его полноценными общественными слушаниями. Активисты из «Сути времени» попытались опротестовать в суде проведение работ по установке памятника без надлежащей процедуры согласования. Суд начался 4 октября. Даже если он благополучно разрешится в пользу РВИО и правительства Севастополя, вряд ли 4 ноября произойдет торжественное открытие памятника.

Тем временем готовится открытие другого памятника — памятника жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. Открытие его запланировано на 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. В сентябре была утечка информации из окружения Сергея Кириенко о том, что администрация рассматривает возможность открытия памятника на высшем политическом уровне, с участием президента Путина.

Это очень интересно, потому что президент Владимир Путин (в отличие от Дмитрия Медведева) всегда избегал прямых высказываний «за» или «против» программы критической проработки прошлого. Возможно, это вопрос лояльности

коллегам по цеху. В 2007 году он посещал Бутовский полигон, но это был скорее акт личного участия в литургии, посвященной поминовению, без официальных речей. В качестве премьер-министра он давал негативную оценку политическим репрессиям, выступая в Катynie, после смоленской катастрофы. Как я уже упоминала, в мае он участвовал в открытии собора в Сретенском монастыре, где была очень короткая речь с фокусом на примирение и согласие. Однако говорить о «примирении и согласии» на открытии памятника жертвам политических репрессий, открываемого спустя четверть века после распада СССР, было бы верхом цинизма.

Закончить я хочу вот чем. Конечно, конфликт интерпретаций событий 2017 года сохраняется, и для «согласия и примирения» оснований мало. Однако общественный интерес к этой теме не столь высок. По опросам «Левада-центра», доля респондентов, которые выражают безразличное отношение к этим событиям или затрудняются их оценивать, неуклонно растет. Хотя пропорция тех, кто «за» или «против», остается почти неизменной. С учетом этого, возможно в не столь отдаленном будущем искомое «примирение и согласие» может быть достигнуто. Однако в этом году, как мне представляется, такого не случится.

МИЛЛЕР: Я буду говорить о тех пунктах, где я могу что-то добавить или с чем-то не согласиться. Пункт первый, где, мне кажется, можно внести существенные коррективы, — это интерпретация Владимира Мединского как мнемонического актора, олицетворяющего власть. Мне кажется, что здесь все сложнее. Потому что мы уже наблюдали несколько эпизодов, когда он высказывал со своими инициативами и «пролетал». Плюс мы наблюдаем эту вялотекущую, но совершенно портящую его репутацию историю с диссертацией. Мне представляется, что он, безусловно, является важным мнемоническим актором, но его деятельность в некотором смысле демонстрирует отсутствие единства во властных кругах.

Я приведу несколько примеров в развитие этого тезиса. Первая история — это история программы коммеморации жертв репрессий, потому что я участвовал в написании первого варианта, вернее, второго варианта, после того как первый вариант пришлось спасать после неудачного старта. Эту программу похоронил Мединский в 2014 году. И когда ее в 2015 году реанимировали в усеченном виде, ее вывели из-под Мединского. Ее перевели в Министерство юстиции. И там постоянно происходят какие-то метания и битвы... За этим, возможно, стоило бы последить. Потому что совершенно очевидно, что не Мединскому, а Российскому историческому обществу (РИО) отдали основную скрипку в деле организации научных конференций.

МАЛИНОВА: Вообще-то разработчиком программы коммеморации является Нарышкин...

МИЛЛЕР: Наличие институциональной конкуренции, которое было заложено изначально, когда параллельно и практически одновременно создавались РИО и РВИО, — это очень интересная вещь.

Вторая вещь. Мне кажется, что наши власти в отношении политики памяти неизменно демонстрируют одно очень положительное качество — оппортунизм. Когда они видят возможность, они пытаются эту возможность использовать, и в этом смысле мне кажется понятным, почему они с некоторым запозданием все-таки полезли в эту революционную тематику...

Фактически ведь сейчас официальный статус приобрела чубарьяновская формула «Великая российская революция». И вот эта «Великая» там появилась исходя из наших представлений — кстати, неверных, — что французы свою революцию величают Великой. Но суть понятна: власти в какой-то момент поняли, что революцию будут коммеморировать по полной программе во всем мире. И они будут выглядеть очень глупо. Вот если бы во всем мире эта коммеморация не происходила бы, то я вас уверяю, и в декабре 2016 года никто бы никакого постановления не принял. Когда они поняли, что это возвращает Россию в центр, фокус внимания, они решили этим воспользоваться.

И третий пункт. Мне кажется, что на самом деле у властей есть отчетливая идеологическая позиция, которую они бы могли артикулировать, но у них это толком не получается. И, кстати, позиция альтернативная, или оппонирующая, тоже очень отчетливо выражена, и все это имеет отношение к нашей сегодняшней действительности. Потому что в центре идеологического конфликта стоит вопрос о легитимности революции как инструмента исторического движения и его смены. Это тот случай, когда мое мнение и мнение Владимира Владимировича Путина совпадают, у нас позиция консервативная. То есть в отличие от либералов, от социалистов, от любых левых революция понимается, прежде всего, как потеря. Другое дело, что власти в силу своего общего уровня компетентности не способны развить полноценно этот консервативный концепт, хотя в принципе это можно было бы сделать.

Понятно, кто оппонирует властям. Оппонируют люди, которые хотят сказать, что «мы в такой заднице, что выход только через революцию». И тогда надо увидеть что-то положительное хотя бы в Феврале 1917-го. У нас есть либералы, которые обязательно скажут, что Февраль — это хорошо, таким образом, сформулировав четкую позицию, что революция легитимна. Но она должна быстренько остановиться, как только демократия будет установлена, и так далее...

И в этом смысле я уже из своей перспективы профессионального историка, который занимается этим вопросом, обращаю ваше внимание на несколько интересных вещей.

Рынок играет роль. Обратите внимание, что намного больше внимания и в печати, и на выставках уделено не Ленину, а Троцкому. Это потому, что его прежде не было. Есть эффект новизны. И заметьте, новый сериал о Троцком с Хабенским имеет очень хороший рынок за рубежом, а сериал о Ленине с Мироновым — нет. Это рынок.

Самый интересный научный вклад в осмысление революции в этом году — это книжка Бориса Колоницкого «Товарищ Керенский». Она посвящена тому,

как сразу после Февраля начинает формироваться культ Керенского. Это на самом деле очень важный тезис, поскольку в тот момент, когда рушатся монархия и начинается либерально-демократический февральский этап, первое, что начинает срабатывать, — это формирование культа личности вождя, который во все не Сталин придумал и даже не Ленин, а Керенский со товарищи. Это показывает, что претензии либералов на то, что возможно гладкое демократическое развитие, довольно наивны.

Далее, то, что мне очень близко, — это конференция, которую я сам делал в Питере в мае этого года... Она называлась «Россия между реформами и революцией. 1906–1916». На конференции было запрещено говорить про революцию. Хотя, естественно, все пытались. Смысл мероприятия состоял в том, чтобы обсудить с участием экономистов, социальных историков, политических историков и других специалистов, что же происходило со страной после революции 1905–1906 годов... Моя собственная гипотеза в отношении этого периода заключается в следующем. В России 1906–1914 годов происходило успешное развитие промышленности, с ростом более 6 % в год, происходила колоссальная положительная трансформация сельского хозяйства, связанная прежде всего с землеустройством и возможностью выхода из общины. Страна перед войной стояла на пороге введения всеобщего начального образования, в стране был накоплен колоссальный кадровый потенциал в науке, изобретательстве, инженерном деле, менеджменте. В стране были кризисные явления, но это был кризис роста. Вплоть до осени 1916 года страна справлялась с вызовами войны, наращивала военное производство, держала под контролем цены, единственная из воюющих держав не имела нужды вводить карточки на продовольствие. Революция, причем уже Февральская, лишила Россию единственного в ее истории шанса стать частью ядра, а не полупериферии мировой системы, если воспользоваться терминологией Валлерстайна. Если бы просто удалось стоять и держать армию в дисциплине, Россия была бы в числе победителей в Первой мировой... Но для власти сегодняшней это слишком сложная конструкция. Большевики украли у нас победу — вот и все, что со стороны власти сказано по этому поводу...

В том месте, где происходила конференция в мае, буквально через несколько дней 24–25–26 октября, с учетом того, что 25-е — это день революции, будет происходить конференция всех самых выдающихся «леваков», начиная со Славы Жижекa. Совершенно понятно, что есть мнемонические акторы, которые заинтересованы в артикуляции своих революционных смыслов... Все эти интерпретации просчитываются.

И я бы обратил внимание на артикуляцию позиции примирения, которая, в принципе, получила свое яркое выражение. Есть такая книжка, она, кажется, получила «Русского Букера», — «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, где эта проблема решается... Это рассказ о белом генерале Пепеляеве и красном командире-анархисте Стрoде, которые заслуживают этого рассказа потому, что оба

ведут себя в рамках того состояния общества и армии достойно. То есть не добивают пленных-раненых, не занимаются всякими пыточными делами и так далее, и тому подобное. Это попытка найти героев не потому, что они герои, решившие устраниваться... Таких героев мы знаем: это поэт Волошин, который заступает за красных перед белыми и наоборот. А таких героев, которые участвуют деятельно в войне, но при этом сохраняют некие человеческие нормы и конвенциональные ограничения, которые, как правило, у большинства в условиях гражданской войны снимаются, у нас пока нет. То, что эта книга получила премию, это важный момент.

Сам тезис примирения оказывается очень положительным. Но власти вместо работы по примирению сказали: главное — единство. Единство России.

Примирение означает, что есть артикуляция разных позиций, которые между собой взаимодействуют и примиряются. А им этого не понять...

ЕФРЕМЕНКО: Я очень признателен Алексею Ильичу. Коллеги, кто хотел бы высказаться и сформулировать вопросы?

ПИНЮГИНА: Хотелось бы внести небольшое пояснение по поводу Церкви как мнемонического актора, поскольку я этой субтемой в рамках рассматриваемой проблематики занималась, и в том числе вместе с Ольгой Юрьевной. Почему такая примиренческая политика у Церкви? Хотя вы справедливо заметили, она четко отличает нравственное зло от добра. Просто для Церкви 1917 год в этом вопросе очень неоднозначен. Тогда впервые были поставлены два очень важных для бытия Церкви вопроса, которые и сейчас, сто лет спустя, очень остры и очень актуальны. Первый был вопрос освобождения Церкви от государства. И в этом контексте 1917 год и Февральская революция большинством мыслящих церковных людей и клиром, интеллигентными мирянами были восприняты положительно, как шанс. И более того... Звучали весьма метафизические трактовки, что это Промысел Божий избавил Россию от монархии, и вновь появляется столь нужная Церкви, для ее канонического и обновленного возрожденческого этапа, форма патриаршего церковного правления. То есть это первый вопрос, который сто лет спустя на фоне большого сближения Церкви с властью не теряет своей остроты. Поэтому, собственно, и затушевывается тематика революции и приподнимается тематика трагедии, примирения и согласия. Второй вопрос тоже сейчас не менее актуален. Дело в том, что именно 1917 год, Февральская революция и подготовка Поместного собора позволили разным крыльям Церкви (а Церковь никогда не была однородна в этих вопросах) поднять темы демократизации внутрицерковной жизни. Например, было крыло, выступавшее за ликвидацию приоритета монашества, и тут патриаршество не воспринималось как единственно возможная новая форма управления освобожденной Церковью, и вопросы про роль общин и выборного начала в управлении церковными делами. Эта тема и сейчас достаточно остра, и ее поднимают некоторые представители церковной интеллигенции, которые потом куда-то загадочным образом исчезают или перестают ее поднимать. Вот

поэтому мне кажется, что аспект, в котором рассматривает Церковь 1917 год, тоже достаточно сглаженный и носит преимущественно нравственный характер. Память о жертвах, где это возможно. И ни в коем случае не обсуждение ключевых для Церкви в 1917 году вопросов, которые решались в течение революционного года. Еще раз подчеркну, несмотря на голод и беспорядки, Церковь готовила этот собор, потому что Николай II, как фараон Моисею, десять лет не давал положительного ответа на просьбы Церкви освободить ее от статуса государственного ведомства.

А еще есть вопрос. Как вы думаете, почему антисистемная оппозиция, которая аккумулирует оппозиционный ресурс, молодежь, ни разу не использовала это юбилейное празднование? Почему ни разу в выступлениях Навального, Гудкова не возникла эта мысль ни в каком контексте...

МАЛИНОВА: Мне кажется, что здесь еще очень многое зависит от личности лидеров и от того, насколько они в силу своих персональных компетенций и пристрастий готовы выступать в качестве мнемонических акторов. Я, кстати, достаточно внимательно смотрела у Навального какие-то признаки того, что он готов в этом качестве выступать... Но у него, просто уникальным образом, эта повестка отсутствует. Что, как мне кажется, связано с его личным темпераментом и, может быть, в какой-то степени с его личной компетенцией. Для него это неважно.

МИЛЛЕР: Мне вообще кажется, что все, что мы ассоциируем с Навальным... В тот момент, когда он оказывается лицом к лицу с камерой и должен импровизировать, он сдувается, как воздушный шарик. А все, что фокусирует общественное внимание на нем, это качественно сделанные фильмы. Но природа этих фильмов (Кто ему их делал? Кто слил информацию? Как это было сделано?) — это еще сюжет для большого интересного рассказа для будущих историков.

ПОНАМАРЕВА: Вопрос по количеству выделяемых мнемонических акторов: насколько целесообразно учитывать также спонтанные элементы социальной памяти? Или их вообще не будет, потому что прошло такое количество времени? Семейные рассказы, нарративы, некое подспудное «знание о»... Вот применительно к Великой Отечественной войне они, конечно, есть... У меня есть ощущение, что под 1917 год все вдруг вспомнили о прошлом... По крайней мере, я тут в недавней перепалке слышала: «Да мой дедушка еще в 1905 году “твоих” вешал...»

И второй момент... Мы же живем в глобализирующемся мире, соответственно, на нас оказывается большее давление, и, соответственно, есть еще внешняя повестка, где нам тоже что-то предлагают. Если рассмотреть это в рамках SWOT-анализа, насколько опасно, что «они» предложат нам интерпретировать события 1917 года как некую культурную травму? Пока мы переживаем это как травму коллективную. Но нам расскажут, что это ужасная трагедия, она определила вашу идентичность, и вообще... вы все должны разделиться в зависимости от отношения к этому событию? Насколько это опасно?

МАЛИНОВА: Я сознательно не стала вдаваться в тонкости теории и методологии, но здесь надо какие-то слова об этом сказать. Я не работаю с понятием «коллективная память», потому что в него пытаются включить слишком многое. Но для разных составляющих этого понятия нужны разные инструменты. Мы можем изучать нарративы, представленные в публичном пространстве, и общественное мнение, но по отдельности. У нас практически нет инструментов, которые позволяют эмпирически показать, что то, как говорили, повлияло на то, как думают. Каждый индивид — это уникальный ансамбль влияний и уникальный продукт социализации. Поэтому я в своей работе принципиально оперирую другими понятиями. Например, понятием «символическая политика» или «политическое использование прошлого» (которое не всегда тождественно «политике памяти», которое предполагает наличие некоей программы и стратегии). В частности, наша властвующая элита, которой, казалось бы, положено было такую программу иметь, очень часто действует *ad hoc*. Ее действия оказываются противоречивыми ввиду отсутствия явного курса. Композиция мнемонических акторов для разных тем может быть разной. Я смотрела позиции всех парламентских политических партий. Но не все они — активные мнемонические акторы в случае коммеморации столетия революции. Например, для «Единой России» и ЛДПР это совершенно неинтересный сюжет, и хотя, когда их журналисты спрашивают, они что-то по этому поводу думают и говорят, они делают это дежурным образом, и часто одно высказывание противоречит другому. В общем, они мнемонические уклонисты.

КОРГУНЮК: У ЛДПР позиция четкая.

МАЛИНОВА: Она очень противоречивая. Жириновский — антисоветчик и при этом имперец. Он в рамках одного выступления может говорить совершенно противоположные вещи. У ЛДПР еще летом не было программы коммеморации. Они заявили, что какие-то мероприятия в ноябре у них будут, но летом не были готовы их анонсировать.

Дело в том, что, конечно, налицо определенная конфигурация политических акторов. Ее довольно сложно описывать, потому что, с одной стороны, понятно, что это какие-то политические структуры, которые стационарно участвуют в политической борьбе и которым по статусу надлежит как-то соотноситься с этим прошлым. Но с другой стороны, у нас могут быть какие-то игроки, для которых важно именно это событие, и их ресурс определяется именно тем, что им есть что сказать... У них есть некий пафос продвижения своей позиции, связанной именно с этим событием. Хотя вообще по другим поводам они может быть совсем не такие важные игроки.

МИЛЛЕР: В дополнение к твоему тезису, что на самом деле создается поле, где все (или многие) могут занять свою позицию, высказаться без каких-то последствий для себя. Обратите внимание, что происходит довольно жесткое цензурирование определенных взглядов. Причем взглядов как раз тех ребят, у которых есть что сказать и которые могут сказать от души. Я имею в виду, прежде

всего, тех, которые считают, что «масоны и жида погубили Россию в 1917 году». Таких много, у них есть своя позиция, позиция очень увлекательная, позиция, с которой не так просто полемизировать, потому что масоны на самом деле играли большую роль в этих событиях, как ни странно.

АВДОНИН: Зайдите в любой магазин, там огромный подвал с такими книгами...

МИЛЛЕР: Нет-нет-нет... На уровне публикации такие книжки не цензурятся совершенно спокойно... Но на уровне возможности оглашать в публичном пространстве все это — их очень четко купируют, очень жестко.

МАЛИНОВА: У нас сегментированное медиапотребление. Сколько человек смотрит телевизор?

МИЛЛЕР: На самом деле, это предмет для серьезного обсуждения. Действительно, какие сегменты Интернета, где эти позиции, о которых вы говорите, проявлены. Это существенно.

СМИРНОВ: Два сюжета, которые у меня возникли... По поводу примирения. У меня был такой социальный опыт: в конце 2014 года в здании Вышки, где мы работаем (это Славянская площадь, дом 4, стр. 2), возник вопрос об установке табличек по базе данных «Мемориала». Я связался с Сергеем Пархоменко и кинул клич по нашей корпоративной почте... Заплатить двенадцать тысяч за три таблички — не проблема. Люди стали откликаться, переводить деньги, но позиции были абсолютно разные. То есть кто-то горячо «за», а кто-то говорил: почему мы должны ставить памятники и доски этим людям, которые стояли у истоков Октябрьской революции? Слава богу, у нас не жил Шапошников... или какие-то другие репрессированные. У нас жили три абсолютно рядовых человека: два каких-то инженера и один действительно бывший белогвардеец. Позиции у ребят из Вышки, из числа моих фейсбучных друзей были абсолютно разные. Это вот оттуда, из 1917 года пошло сюда, и я так подозреваю, что позиции будут непримиримые. Это на годы вперед. И фразы из серии «дедушка вешал в 1905 году» — это память поколений, молодежь — преимущественно антисталинисты, а есть очень осторожные люди, которые боятся, что с них при определенных обстоятельствах спросят: «А были ли вы в этих списках вносивших деньги на таблички репрессированным?»

Второй сюжет, как мне кажется, очень важный, — про некий тупизм власти. Это ситуация, когда говорят «А», но не говорят «Б». Мне вспомнилась перестроечная песня Юлия Кима: «На двух стульях одной попкой ты попробуй усидеть». Здесь, с одной стороны, позиция президента, что Октябрьская революция прервала некое «нормальное» развитие страны. А с другой стороны, это его известное заявление, что распад СССР — это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. По моему убеждению, создание СССР — это глубочайшая геополитическая катастрофа, по крайней мере, на тех основах, на которых он был создан. Я имею в виду, в первую очередь, экономические основы, отношения собственности и всю эту порочную систему... И закончилось все в 1991 году.

МИЛЛЕР: А еще создание автономных республик...

СМИРНОВ: И последнее — очень маленький вопрос, про этих самых Давидов, иногда побеждающих Голиафов... Скажите, а Вольное историческое общество что-нибудь делает, они вообще озвучили свою позицию?

ЕФРЕМЕНКО: Ну, Алексей Ильич — активный участник Вольного исторического общества...

МИЛЛЕР: Я — основатель. И на самом деле я очень сильно разочарован Вольным историческим обществом, потому что при ближайшем рассмотрении оказалось, что энергии для формирования аутентичного живого организма там нет. Все пошло не так в тот момент, когда решался вопрос с взносами. Я настаивал на том, что взносы должны быть. И вопрос был не в том, сколько, а в наличии... Поскольку в результате общество отказалось от этой идеи и живет на деньги Кудрина, Комитета гражданских инициатив, то хорошо, что хватило сил не превратиться в машинку по изданию всяких воззваний протеста и так далее, но, к сожалению, ничего больше.

Я не вижу никакой цельной позиции. Есть люди, которые только иногда от имени Вольного исторического общества публикуют какие-то вещи, под которыми я бы никогда не подписался... Например, Рубцов и его доклад оскорбляет мое чувство прекрасного и чувство здравого смысла. То есть вся польза от Вольного исторического общества — заступиться за человека, если его пресуют. И какие-то программы, то, что они стали делать... какие-то лекционные вещи, в музее Сахарова, в «Мемориале»... Я всегда откликаюсь на такие вещи в качестве волонтера.

КОРГУНЮК: Разрешите я дам ответ на вопрос, почему Навальный и другие молодые политики не используют этот юбилей, эту коммеморацию. Можно по-разному относиться к импровизационным полемическим способностям Навального, но нужно признать одно: у него очень хороший нюх на то, что получит отклик у аудитории, а что не получит. То, что эти события не получают у него отклик, говорит о том, что он хорошо понимает свою аудиторию и вообще хорошо представляет, насколько актуальна та или иная проблема для нашего общества. Самое главное, что сама постановка вопроса о примирении и согласии сегодня с политической точки зрения абсолютно неактуальна. Примирения кого с кем? Потомков красных с потомками белых? Так белых у нас не осталось. Их всех репрессировали в первые десятилетия советской власти. Ну, кого оставили в живых? Писателей Катаева, Зощенко, Булгакова (они, по всей видимости, участвовали в Белой армии и потом всю жизнь скрывали этот факт)? Но они не показатель. Во-первых, таких людей было очень мало: многие убежали за границу и там ассимилировались с новой родиной, и если оставили какой-то след в дальнейшей истории России, то очень небольшой. Не надо также забывать, что 80 % российского населения не были ни белыми, ни красными. Они просто страдали от этой войны. А потом красными принудительно сделали всех. И в дальнейшем раскалывались именно красные или те, кто не был

ни красным, ни белым. И то, что Егор Гайдар — внук Аркадия Гайдара, — это очень символично.

Конфликт красных с белыми остался глубоко в истории. То, что происходит сейчас, — это уже совершенно другая история. Я приведу характерный пример. В свое время, в начале 1990-х годов, существовали Фронт национального спасения и блок «Российское единство» на Съезде народных депутатов СССР. У них была красная составляющая, во главе с Зюгановым, и белая — она была малочисленной, но она была. Один из лидеров ФНС Виктор Астафьев сказал на каком-то из конгрессов, что вот, мол, мы здесь с вами олицетворяем примирение белых и красных. И действительно, это было примирение белых и красных: и те и другие в существующих условиях выглядели совершеннейшими отморозками, осколками прошлого. Против кого они боролись? Против будущего. Против совершенно другой политической силы, которая сформировалась и действовала уже в совершенно новых политических условиях.

То, что Голиаф проигрывает Давиду, мне представляется следствием того, что никакого Голиафа, собственно, и нет. В этой битве участвует один Давид — ходит и размахивает повсюду своей пращой. А все остальные только молчат. Поскольку я мониторию все публичные высказывания наших партийных политиков, то могу засвидетельствовать, что только КПРФ и всякие маргинальные организации типа РКРП пытаются раскрутить тему «Великого Октября». Все остальные... Ну, если их спросят — ответят, по-разному могут ответить, разве что Жириновский всегда скажет, что любая революция — это зло. У него в партии даже никто спорить не будет об этом.

Вы сказали, что КПРФ придерживается советского нарратива по поводу революции. Но в советской концепции не присутствовало темы трагического либерального Февраля. Февраль был предшественником Октября, пунктом, из которого все закономерно развивалось. Я помню, что в советском учебнике истории послефевральская Россия характеризовалась как самое демократическое на какой-то момент государство не только в Европе, но и во всем мире. В принципе отношение советской историографии к Февралю было благожелательным, ну разве что с некоторыми поправками. А то, что появилось сейчас у КПРФ, они заимствовали у своего идеологического врага — Солженицына. Что Февраль — трагедия, которая привела к развалу государства, а большевики подобрали власть, которая валялась на земле (это сказал Солженицын; коммунисты в этом плане больше ленинцы). При этом надо учесть, что самого Солженицына они ненавидят. Они продолжают его проклинать чуть ли не каждый день, и фамилия Солженицын не вызывает у них никаких хороших коннотаций. Но эту часть концепции Солженицына они переняли и активно эксплуатируют.

И еще одна поправка насчет Севастополя как просоветского города. Я там не был и личных впечатлений не имею, но по итогам выборов просоветские симпатии не очень прослеживаются. И в 2014, и в 2016 годах КПРФ получила

там довольно скромный результат. Второе место каждый раз занимала ЛДПР. Причем в Севастополе выборы были, ну, скажем так... Это и не Северный Кавказ, и не Москва... Там была довольно-таки приличная явка, и, судя по всему, голосовали по-настоящему. И то, что за КПРФ проголосовало очень мало, говорит о том, что, скорее всего, Севастополь — не советский, а имперский город. КПРФ тоже негативно относится к этому памятнику, но такой активности не проявляет.

АВДОНИН: У меня и вопрос, и мнение. Мы сосредоточились на коммеморации революции 1917 года, но мы знаем, что такое явление всегда полезно смотреть в более широких рамках. Поэтому, если взять всю линейку праздников, которая сейчас изменилась, надо учесть, что главным праздником государства сейчас является День Победы, а революция... Мне часто приходилось слышать в дискуссиях, которые идут на разного рода шоу: «Ну что такое революция? Проигранная война». Начинают с проигранной войны... Нет ли здесь какой-то связи? Падение интереса общества, негативное отношение Путина к этому имеет подоплеку в смысле осознания этого события как «проигранной войны». Если мы говорим о революции как о результате проигранной войны, то вспоминаем о том, что война начиналась на очень хорошем патриотическом подъеме, и полной неожиданностью для общества оказалось то, насколько в действительности это страшное и тяжелое испытание. Сейчас, учитывая милитаристские настроения и телевизионную войну, которую нам преподносят, такая вот милитаризация, связанная с легким отношением к возможной войне, вполне возможно, является причиной падения интереса к этому событию. Это новый контекст политики, связанный с облегченным отношением к милитаризации и милитаризму.

ЕФРЕМЕНКО: Мы говорим вот уже почти два часа о политике памяти в России. Правда, Алексей Ильич совершенно справедливо обратил внимание, что коммеморация событий 1917 года является глобальной и международной. Это принципиально важно. Вот еще одна вещь, которую мы сейчас, конечно, не сможем проговорить в силу дефицита времени, но которую надо иметь в виду. Это события 1917 года в контексте политики памяти других государств постсоветского пространства. Я думаю, очень интересно и очень важно посмотреть, как все это будет освещаться на Украине, в Белоруссии, в государствах Южного Кавказа. Это очень важный сюжет. Если мы захотим в рамках того исследовательского проекта Российского научного фонда, который ведет Алексей Ильич, подвести итог 2017 года с ретроспективной проекцией на 1917 год, нам нужно понять, что делается сейчас в странах постсоветского пространства, как там расставляются акценты. И еще я хотел бы попросить Ольгу Юрьевну подвести, насколько возможно, некий промежуточный баланс приобретений и потерь для ключевых акторов российской политики памяти. Может быть даже спрогнозировать, — ведь еще месяц впереди, — что мы получим на выходе.

МАЛИНОВА: Конечно, прогнозировать и заманчиво, и ответственно... Тем более вы видите, что порою весьма слабое возмущение типа севастопольских активистов «Сути времени» может изменить сценарий, запланированный кремлевской администрацией. Но я бы сказала так: нет сомнений, что коммеморация пройдет спокойно. Я не предвижу никаких серьезных потрясений для России в 2017 году. Конечно, тема дискутируется в СМИ. В начале года эксперты горячо обсуждали, ждать ли России в 2017 году революционных потрясений... На мой взгляд, очевидно, что революции в 2017 году ждать не приходится и начало президентской избирательной кампании пойдет спокойно.

Вместе с тем я бы сказала, что и коммеморации, которые запланированы на 2017 год, могут в целом произойти в соответствии со стратегическими установками акторов. Напомню, установка властвующей элиты: «крайне неудобно, но не заметить нельзя», так что надо как-то это пережить. Рискну предположить, что переживать будут еще более тихо, чем это предполагалось по плану, принятому в конце января.

Но это не помешает всем политическим силам, которые заинтересованы в использовании коммеморации как некоего символического ресурса, этот ресурс использовать. Очевидно, что каждый извлечет свою толику символических выгод из этого события. Однако большого воодушевления по этому поводу не наблюдается.

Но есть еще один интересный момент. Станет ли столетие революции тем, что Александр Эткинд называет «событием памяти», то есть тем, что меняет культурные рамки памяти об историческом событии? Думается, даже если все будет мирно и гладко (и в этом смысле согласие и примирение восторжествуют), 2017 год и коммеморация 2017 года не станут событием памяти. По прошествии коммеморативных мероприятий все стороны останутся при своем, и события 1917 года останутся отправной точкой конфликтующих исторических нарративов.

ЕФРЕМЕНКО: То есть коллективный урок никто не извлечет?

МАЛИНОВА: Для каждой группы мнений это будут свои уроки. Для коллективного урока должна быть реализована та тактика, о которой говорил Алексей Ильич в связи с первоначальным замыслом Сергея Караганова. Нужна государственно патронируемая, но не государством одним реализуемая система мероприятий, площадок для дискуссии между реально оппонировавшими друг другу сторонами.

Здесь еще надо иметь в виду, что у нас традиционно публичная сфера еще с имперских времен устроена так, что полемика ведется внутри своего кружка. Мы с пафосом излагаем свою точку зрения, мы спорим с оппонентами, но делаем это в их отсутствие. Это как раз та коммуникативная практика, которая способствует разжиганию страстей, но не способствует примирению. Примирению способствует живой диалог, модерлируемый силой, которая побуждает сто-

ронников видеть общее пересечение точек зрения, а не настаивать с пеной у рта на своих разногласиях.

СМИРНОВ: У меня есть один вопрос. Его не было, но после вашего выступления он возник. Вы сказали «революции», во множественном числе. Но мы же прекрасно помним, что то, что произошло в Октябре, называлось «переворот». Большевики сами называли это переворотом. Так не имеет ли смысл прийти к пониманию, что да, первое событие — это революция, второе — государственный переворот? У историков тоже есть споры по этому поводу. Здесь действительно очень много узловых точек для споров, и понятно, что примирение и согласие, если бы они были возможны, были бы возможны не за счет того, что мы все друг с другом согласились, а за счет того, что мы бы наметили пункты, вызывающие разногласия, и наметили наши расхождения по этим пунктам. И вместе с тем зафиксировали какие-то точки, в которых мы совпадаем. Мне кажется, что именно этот путь мог бы позволить представить события 1917 года как Великую российскую революцию. В этой идее что-то есть. Потому что если говорить о парадигме политики памяти, направленной на формирование макрополитических сообществ, то в логике такой политики великие исторические события подобного масштаба, события, повлиявшие на историю всего мира, — это тот символический ресурс, которым нельзя разбрасываться. Можно в каких-то прагматических целях на время об этом забыть и не заниматься, но вообще стратегически надо было бы работать на переосмысление этого события и на его использование. Алексей [Миллер] показал, что власти спохватились, поняв, что это празднуется во всем мире. О России в связи с этим говорят, и говорят не негативно, но как минимум по-разному. В общем, это действительно капитал, которым нельзя разбрасываться. И надо делать фокус на нациестроительную политику, этим необходимо заниматься, если мы хотим, чтобы страна сохранилась. Недальновидно с этим ничего не делать.

ПОНАМАРЕВА: А была когда-нибудь концепция не примирения, а поминовения?

МАЛИНОВА: Была. В начале 1990-х годов было очень много спонтанных начинаний, которые потом не получили продолжения. В начале 1990-х какая-то часть демократической общественности пыталась перевести это в плоскость коммеморации, скорби о жертвах, скорби о потерях, которые Россия понесла в XX веке. И именно в этом контексте тогда зарождалась идея примирения и согласия. И если обратным отсчетом посмотреть, как можно было это политтехнологически выстраивать, чтобы интегрировать революцию в национальный нарратив и продолжать пользоваться этим символическим ресурсом, то, конечно, двигаться надо было по этому пути. В 1996 году, когда Чубайс с коллегами об этом вспомнил, было уже несколько поздно, но и тогда можно было что-то делать. Они же просто придумали, что надо переименовать, и этим ограничились.

ЕФРЕМЕНКО: Коллеги, дискуссия получилась. Несомненно, очень содержательная дискуссия. Я думаю, что если все-таки попытаться подвести

предварительный итог, то выход на концепцию Великой российской революции может стать очень ценным приобретением. А к явным потерям можно отнести то, о чем очень коротко сказал Алексей Ильич, — а именно, что в течение этого года и в контексте коммеморации революционных потрясений не удалось предложить по-настоящему умную и глубокую консервативную программу. Это было бы очень полезно и для общества, и для власти. Боюсь, что и предстоящие президентские выборы также не позволят сильно продвинуться в этом направлении. Наконец, один из самых важных итогов, который мы, скорее, всего зафиксируем к концу юбилейного года, состоит в том, что эти без преувеличения величайшие исторические события неуклонно смещаются на периферию общественного внимания, они выпадают из того круга тем, по которым действительно начинают разгораться сильные страсти. К лучшему или к худшему, но ни одна из знаковых фигур революций 1917 года — Ленин, Николай II, Колчак, Керенский и даже Троцкий (рост интереса к которому, скорее всего, является конъюнктурным) — уже не станет знаменем, подняв которое, та или иная политическая сила в современной России сможет претендовать на решение актуальных общенациональных задач.

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В РОССИИ, СТРАНАХ ЕС И ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ТИПОЛОГИЯ, КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ

Стенограмма дискуссии

1 марта 2018 года состоялось заседание Группы ситуационного анализа Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), посвященное теме «Политика памяти в России, странах ЕС и государствах постсоветского пространства: типология, конфликтный потенциал, динамика трансформации». С основным докладом выступил д. и. н., проф., вед. науч. сотр. ИНИОН РАН **А. И. Миллер**. В обсуждении доклада приняли участие д. полит. н. **Д. В. Ефременко**, д. фил. н., проф., вед. науч. сотр. ИНИОН РАН **О. Ю. Малинова**, д. полит. н. **Ю. Г. Коргунюк**, д. э. н. **С. Н. Смирнов**, к. соц. н. **А. М. Понамарева**, к. полит. н. **Е. В. Пинюгина**, к. полит. н. **И. А. Помигуев**, **Д. Ю. Безгина (факультет мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова)**, **А. А. Плеханов (Институт этнологии и антропологии РАН)**. Модератором дискуссии выступил заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, д. полит. н. **Д. В. Ефременко**.

Предлагаем вниманию читателей материалы заседания. Стенограмма публикуется с незначительными сокращениями.

Материалы дискуссии отражают результаты исследовательской работы в рамках проекта РНФ № 17-18-01589, осуществляемой в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

ЕФРЕМЕНКО: Уважаемые коллеги! Сегодняшнее обсуждение можно рассматривать как логическое продолжение нашей прошлогодней октябрьской дискуссии. Тогда, как вы помните, мы говорили о коммеморации российских революций 1917 года, о том, какие выводы позволяет нам сделать столетний юбилей революционных потрясений относительно политики памяти в современной России. Кстати, совпало очень удачно, поскольку стенограмма той дискуссии появилась на сайте Гефтер.ру именно в день 7 ноября. Но если тогда мы анализировали один конкретный, хотя и очень важный кейс, то сегодня мы попробуем обстоятельно обсудить вопросы теории и методологии политики памяти не только в России, но и в других странах постсоветского пространства, а также в странах Европейского союза.

С основным докладом у нас будет выступать Алексей Ильич Миллер, руководитель исследовательского проекта Российского научного фонда.

МИЛЛЕР: Сразу скажу, это то, что называется *work in progress*, то есть довольно разрозненные идеи. Не ждите какой-то целостной концепции. Отправная

точка для этих рассуждений — типичное ощущение неудовлетворенности и раздражения, которое испытывает историк, когда смотрит на политологов. Мы несколько раз на рабочих совещаниях участников проекта обсуждали политологические подходы к проблеме концептуализации, систематизации и сравнения разных аспектов политики памяти. Мы обсуждали QCA (Qualitative Comparative Analysis — качественный сравнительный анализ), а также читали книжку, где этот качественный анализ был использован для рассмотрения политики памяти. Это была книжка, посвященная тому, как коммеморировался 1989 год во всех странах, которые были затронуты теми событиями. И вот всегда, когда политолог встречается с историком, пространство непонимания или несогласия, прежде всего, сводится к двум вещам. Первое, это то, что фактор времени и глубины времени в политологии намного меньше значит. Например, эта история с книжкой Яна Кубика¹: они берут срез, как в 2009 году коммеморируется 1989 год, то есть у них вообще нет истории. В определенном смысле для них предыдущие 20 лет и не существуют вовсе. И второе, очень важное — это то, что все-таки политологи стремятся минимизировать количество рассматриваемых факторов, меняющихся величин и формализовать их. У историка такая практика неизменно вызывает протест и отвращение.

Я попробовал подойти к этим же проблемам, применяя метод, который мне хорошо служил в моих исторических исследованиях. Это то, что я называю ситуационным анализом. Я попробовал сформулировать какие-то ключевые параметры или темы, на которые нужно обратить внимание, когда речь идет о ситуационном подходе. Отправная точка ситуационного подхода — это то, что мы пытаемся реконструировать весь ландшафт, набор акторов, которые участвуют [в формировании политики памяти]. И тут сразу возникают два вопроса. Если мы анализируем состав акторов по поводу какого-то взаимодействия, то мы должны сначала определиться: **а про что** это взаимодействие? О чем идет речь? Потому что речь идет не о том, как мы коммеморируем то или иное событие, — это лишь один из маленьких эпизодов более общей картины. И второе: даже если мы составим какой-то перечень акторов, они для нас не должны быть равнозначными. Как мы оцениваем значимость этих акторов и их удельный вес?

Начнем с того, что можно обозначить лейтмотивом, ключевым конфликтом, ключевой интенцией. Мне представляется, что один из очень характерных, принципиальных вариантов такого лейтмотива — это тема идентичности. Мы как бы все знаем, что, когда мы говорим о прошлом, мы говорим об идентичности. Но понятно, что идентичность — это то, что нужно объяснить, а не то, что что-то объясняет, и поэтому надо разложить само понятие идентичности и то, как оно функционирует в политике памяти, ситуационно.

¹ Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration / Ed. by M. Bernhard, J. Kubik — Oxford, 2014.

У нас есть проблема неопределенности идентичности группы. Приведу два примера, хорошо вам знакомых. Первый пример — это Молдова. Есть молдаване, которые вроде как — не румыны и не русские. Есть какие-то группы активистов, которые пытаются доказать им, что они — румыны, с очень незначительным успехом. Одновременно есть какие-то группы, которые пытаются объяснить им, что они — часть русского мира, тоже успехи довольно ограничены. Но понятно, что это — некая неопределенность ориентации, неопределенность границ «мы — они», и неопределенность внешнеполитической ориентации. Это очень характерно для Молдовы. Схожая ситуация на Украине, где мы говорим о юго-восточных украинцах, либо русскоязычных украинцах, либо об украинцах-билингвах, как о группе с очень характерной проблемой невнятной идентичности. Потому что у нас есть русские на Украине — это совсем другая история. Есть украинцы-украинцы, это тоже совсем другая история... Нет внятности в вопросе о границе «свои — чужие», нет внятности во внешнеполитической ориентации, и в том случае, когда тема идентичности касается подобных вещей, то мы тогда получаем в динамике обострение, интенсификацию политики памяти после победы той или иной политической силы. Мы ведь привыкли к рассуждениям, что политика памяти — это символический ресурс, который используется в политической борьбе, когда нужно бороться за голоса и так далее. Нет. Вот в таких случаях как раз интенсификация происходит после победы, когда нужно ее закрепить. Мы видели, как такая интенсификация происходила в 2005–2006 годах на Украине, и как это происходит сейчас, после 2014 года. Это очень важная специфика такого рода ситуации, потому что другой вариант — это, когда нам нужно поддерживать жесткость идентификации и оппозиции в рамках собственной политики. В последнем случае речь идет о Прибалтийских государствах, в особенности о Латвии и Эстонии. Вот здесь как раз все происходит накануне выборов, актуализируется в рамках избирательной кампании. Что это за ситуация? Это когда собственно общий нарратив есть, очень четкая граница между «нами» и «не нами» есть, и она работает в течение длительного времени, и задача заключается в том, чтобы поддерживать жесткость этой границы, потому что в таких ситуациях одна из опасностей — это появление на стороне «нашей» нации людей, которые выступают за смягчение этой политики, за размывание установленных границ, за адаптацию и так дальше... Аргументы в пользу «смягчения» понятны: мы уже утвердились, мы — в НАТО, бельгийские летчики у нас уже базируются, так давайте преодолевать этот раскол. И политика памяти как раз и используется для того, чтобы задавить эту тенденцию, чтобы делегитимизировать такие попытки. Соответственно, и тут — идентичность, и там — идентичность, но истории очень разные.

Еще один аспект. Наднациональная идентичность как предмет политики памяти. Здесь мы имеем дело с очень длительной историей, где задействованы и исторические нарративы XIX века, и то, что потом было очень важно в связи с событиями 1970-х и 1980-х годов. Вообще — это тема Центральной Европы,

тема позиционирования страны в ее цивилизационной принадлежности. Можно сказать, что здесь имеет место низкая интенсивность политики памяти и низкая конфликтность, по сравнению с двумя первыми вариантами, но при этом последние всегда присутствуют. И иногда они актуализируются, как в украинском или молдавском случае. Ситуация с «Восточным партнерством», с проведением новых политических границ актуализировала данные нарративы, хотя обычно никто много сил не тратит на обсуждения вопросов наднациональной идентичности. При этом у нас есть Евросоюз как игрок. Если мы посмотрим на политику памяти ЕС, то обнаружим, какие значительные средства закачаны в проект по созданию маркировки и развитию идентичности, которая осмысливается, как европейская. В ЕС есть миллионные, даже исчисляемые десятками миллионов евро программы, в рамках которых ты должен собственное культурное наследие концептуализировать и представить, как европейское, и благодаря этому ты можешь получить европейские деньги на определенную трансформацию, консервацию, развитие и так далее. Это очень серьезные деньги. Это и для Западной Европы важные программы, но понятно, что для Восточной Европы, и для стран, которые находятся вне Европейского союза, они тоже очень важны. Это настолько большие деньги, что понятно, что тут очень высокие ставки.

Еще одна история — это партийная и групповая борьба. Партийная и групповая борьба актуализирует значимые темы политики памяти в практическом ключе. Пример, который, кстати, рассматривают и авторы, участвующие в книге Яна Кубика, это — отношение к коммунистическому прошлому. И вот здесь — очень интересная вещь. Политику памяти в странах Центральной и Восточной Европы часто интерпретировали как инструмент делегитимации и подавления тех политических сил, генеалогию которых можно возвести к коммунистам. Но дальше возникает недоумение: «Хорошо, коммунисты “кончились”, их “задавили”, почему же вдруг возникает новая активизация этой политико-памятной борьбы с коммунистическим прошлым?» И вот тут обращают на себя внимание два очень характерных примера, а именно Чехия и Польша. В Чехии уже очень давно нет никаких коммунистов, нет никаких левых партий, которые бы уходили корнями в коммунистическую партию. А вот то, что там есть, — это то, что «на местах» бывшие горкомовские и райкомовские секретари и «красные директора» оказались очень эффективными в плане собственного перебрендинга. Они прекрасно выигрывают местные выборы. И тут начинается такая вещь: политика памяти в формате «ужасов коммунизма» — это некий информационный фон, который должен использоваться противниками этих людей на местах для борьбы с ними.

Еще более интересный пример — Польша. Здесь новая волна беспощадности борьбы с коммунистическим прошлым связана с тем, что ее острие направлено не против коммунистов, а против той группы политиков, которые с коммунистами договаривались. То есть против некоммунистических участников «Круг-

лого стола». Сейчас это в Польше обострено настолько, что они взяли и уволили всех выпускников МГИМО из своего МИДа. Это стоило огромных денег, потому что нельзя было их просто выкинуть на улицу, выплачивались компенсации... Но братья Качиньские сумели сформулировать реальные переживания и фрустрации людей, представить их как «украденную правду». То есть не разобрались до конца с коммунизмом, посткоммунистические уклады продолжают оставаться актуальными, и в силу этого простой человек оказался жертвой посткоммунистических трансформаций. Это очень интересно, поскольку практическая политика Качиньских оказалась очень продуктивной. Они реально заботились о практических нуждах простого человека, и так же, как Виктор Орбан, они «вынесли» социалистов и неолибералов. И если у Орбана ключевой момент — это перевод в форинты ипотечных кредитов, который спас примерно 200 тысяч семей от банкротства в 2008 году, то здесь — это еще более простая и потрясающая своей простотой история, потому что Качиньские в течение всех лет, что они были в оппозиции, все время говорили «надо, чтобы государство давало 500 злотых на ребенка каждый месяц». И все либералы над ними смеялись, все время рассказывали эту историю про удочку и рыбу, которую мы тоже все слышали, и рассказывали, как это будет порождать иждивенческие настроения... И вот когда Качиньский — уже один братец остался — пришел к власти, он взял и сделал то, о чем говорил: она раздал эти 500 злотых в месяц всем на каждого ребенка. Это примерно чуть больше 100 евро. Но в условиях, когда на самом деле бюджеты семей рабочих и крестьян очень «плотные», лишние 300 евро в месяц оказались очень существенным фактором. Они это почувствовали сразу. И все, после этого неолибералы могут «отдыхать», на ближайшие 10–15 лет им ничего не светит. И в этих условиях политика памяти становится вопросом о том, как эти люди «продали правду» в рамках «Круглого стола». И кто эти люди? Валенса — «агент», Михник, пивший водку с Урбаном, который был спикером правительства [Ярузельского] во время военного положения, при том что они каждый день ругали друг друга в «своих» газетах, а вечером ходили пить водку... это известный факт. То есть утверждается необходимость возвращения к правдивой искренней политике, возвращения к правде. Это то, что действует после победы, потому что то, что используется в процессе борьбы, — это попытка дискредитации оппонента через привязку к негативным сторонам большого нарратива. Вот когда Лех Качиньский в первый раз выиграл президентские выборы, за неделю до выборов он сказал, что дедушка Туска служил в вермахте. Потом оказалось, что это не так, но кого это уже волновало? И сейчас мы имеем ситуацию, при которой Туск совершенно делегитимизирован и просто не может вернуться в страну. На него там уголовное дело завели.

Мы можем увидеть ситуацию, когда происходит совмещение темы идентичности и политической борьбы. В частности, на примере «ленинопада» на Украине... Потому что понятно, что это не партийная борьба, когда какие-то оставшиеся памятники Ленину скинули где-то в центре или на западе Украины, — это

просто подтверждение определенного нарратива. Но на востоке Украины это была партийная борьба, это еще и символическое утверждение конкретного нарратива и своего права этот нарратив диктовать.

Третья тема, которая у нас плохо исследована, собственно, она еще недостаточно артикулирована, но я думаю, что она будет очень активно развиваться сейчас... Она очень большая и разнообразная. Это конфликты по поводу собственности. Здесь можно увидеть как минимум три измерения. Измерение первое — геополитическое. Мы видим, что вопросы о национальной собственности на ту или иную территорию обостряются, причем это происходит и в рамках ЕС, и на тех окраинах, которые ЕС либо собирается включить, как Балканы, либо — так или иначе контролировать, как пространство «Восточного партнерства». Уже совершенно очевидно, что вся Украина становится пространством оспариваемых прав. Возьмем Закарпатье... Там очень любопытные вещи происходят. Если правда то, что я прочитал вчера, то это намного интереснее, чем художественный вымысел, потому что эта очень актуальная история поджогов зданий, где располагаются венгерские культурные институции в Закарпатье. Вроде бы нашли и арестовали людей, кто это делал. Оказалось, что это — поляки! Это польские радикалы, которые таким образом собирались мобилизовать Венгрию вместе с поляками в антиукраинский фронт. Никто из сидящих за этим столом даже придумать такого не смог бы.

Вопрос собственности существует в двух видах. Это вопрос индивидуальной собственности, но также — коллективной. Потому что вопрос реституции еврейской собственности не ушел. Вопрос реституции немецкой собственности ушел отчасти. Я забегу здесь немного вперед, поскольку отчасти ухожу и в следующую тему — обеспечение внешней политики.

Сейчас пересматривается вся система финансовых отношений внутри ЕС, потому что кончаются субсидии новым членам. В этих условиях будет обостряться риторика, в ответ на которую с новой остротой может быть поставлен вопрос о реституции немецкой собственности, потому что его немножко «замотали». В общем, есть индивидуальная немецкая собственность, есть еврейская индивидуальная собственность, но есть тема собственности на наследие... То есть — не индивидуальная собственность, а вопрос о контроле наследия, распоряжения им, придания ему тех или иных смыслов. Это уже вопрос «не про деньги», а про символический капитал. Вот пример — львовская Максимилиановская башня, которая была концептуализирована как габсбургское наследие. Раз так, будет очень «круто», если там сделают гостиницу и ты из этой башни будешь смотреть на город... Замечательно! В этом нарративе отсутствует то, что там был шталаг, там были военнопленные и откуда эти военнопленные... Понятно, что Россия никаких прав во Львове не имеет, но какие-то другие страны могут иметь. И сейчас выяснилось, что Россию можно игнорировать, а вот Израиль игнорировать очень трудно. Еще один пример — это Мирский замок. Вот он есть, как некий артефакт в Белоруссии, а так все заме-

чительно... А то, что там было гетто, и все эти люди были уничтожены прямо там? Как быть с этим?

И наконец, внешняя политика. Мы здесь имеем несколько примеров, которые тоже нуждаются в определенной концептуализации. У нас есть хороший анализ политики памяти в Прибалтике, как систематического и эффективного усилия по созданию инструментов для блокировки попыток (с точки зрения Прибалтики) соглашения с Москвой. Это было с самого начала. Это относится не только к прошлому, но и к современным событиям, когда даже такие вопросы как «Северный поток» — «не Северный поток» решаются с помощью такого нарратива. Он выстроен, институционализирован, у него есть свои агенты и носители в главных столицах и так далее... Это одна ситуация. И другая ситуация — это, если мы посмотрим внимательно на Грецию периода, когда они обанкротились. Да, это о том, как Греция выясняла отношения с Германией по поводу своего долга. О том, собственно, как Меркель заставляла Грецию спасать немецкие банки, притом, что эти люди, которые находились у власти в Афинах — [партия] «Сириза», они четко объяснили, почему этого нельзя делать... А потом они поговорили с Меркель, и оказалось, что делать нужно. Закономерной реакцией стало выдвижение новых, в том числе финансовых, претензий Германии со стороны греческих националистов. Ставился и вопрос о судьбе греческого золотого запаса, ставились вопросы о выплате различных компенсаций... Это был первый сигнал, и я считаю, что эта тенденция будет непременно развиваться. Совершенно неслучайно польское правительство официально сформулировало претензии, что из-за русских, которые продиктовали свою волю после войны, Польша не участвовала в получении репараций от Германии. И что теперь, когда Польша наконец освободилась, она может потребовать выплаты этих репараций. Понятно, как отреагировали немцы. Очень вежливо, но ответили «нет», причем очень отчетливо... И я думаю, это будет площадка для очень интересных войн памяти. Интенсификация подобных вещей в условиях нового торга по поводу распределения ресурсов ЕС, с моей точки зрения, совершенно неизбежна. Мы имеем дело с процессами, которые могут быть проходящими, а могут указывать на какую-то долгоиграющую тенденцию. Если вы запускаете такие нарративы, то вам очень трудно из них вылезти. Для меня показательно очень, как это произошло в России. До 2013–2014 годов у нас Германия была в числе трех наиболее положительно оцениваемых населением стран, то есть была проведена работа памяти, причем без показательных совместных акций, просто, условно говоря, русские немцев простили. К немцам, в общем, не было претензий... Это и есть политика памяти, когда у вас есть выбор между двумя образами немца: либо немец в сапогах и со «шмайсером», либо такой смешной немец в кафтане, в очках, аптекарь, ученый, академик и, может быть, какой-то мастер на современном заводе по сбору «фольксвагенов». Мы однозначно выбрали второй вариант. И на наших глазах произошла смена, причем произошла смена таким образом, что попытка какого-то уренгойского школьника

заявить нечто невнятное [о «сочувствии» пленным солдатам Вермахта], она была бы, может быть, пять лет назад оценена положительно или никак, могла сопровождаться каким-то шипением на окраинах дискурса, но не более того... А здесь — это взрыв в самом центре. Как атомный взрыв, который выжигает... Фактически, если вы посмотрите на дискуссию об уренгойском мальчике, то, что произошло? Сразу же была мобилизована вся память обо всем плохом. Вот весь набор, который существовал текстуально, но не существовал, как актуализированный для общественного сознания. Он моментально вылетел навстречу высказываниям этого уренгойского мальчика. То есть вы запускаете какие-то процессы, которые потом выходят на волю, и вы уже их не контролируете. Это то, чего немцы сами, кстати, очень боятся. Но то, каким образом вы это потом будете «убирать со стола», если вам это потребуется, совершенно непонятно. Подобные вещи обретают свою собственную динамику, очень мощную.

Таким образом, мы можем говорить, по крайней мере, о четырех типах конфликтов или лейтмотивов, связанных с исторической памятью.

Очень важный вопрос, который вновь обнажился, как ключевой вопрос политики памяти во всех странах, связан с пониманием самой сущности этой политики. Это вопрос об отношении к культуре памяти и политике памяти. У меня есть статья, где противопоставляется космополитическая память, которая культивировалась в ЕС, и то, что называется антагонистическим подходом к памяти, который предполагает, что политика памяти это, прежде всего борьба. Если космополитическая память — это о том, как мы должны поговорить про прошлое, чтобы примириться друг с другом, то антагонистическое представление об этом — это как мы должны поговорить о прошлом, чтобы «эти» свалили отсюда, а мы остались со своей правдой. Правда наша не может быть общей правдой. И мы видим, что во многих странах и отношениях между странами, сейчас эти бои арьергардные сторонников космополитической памяти и наступающих сторонников антагонистической политики памяти — они очень видны. В России, например, можно сказать, что Мединский / Мироненко — вот эта дискуссия — типичнейший, характернейший пример. Музей Второй мировой войны в Гданьске, который был изначально задуман и построен, как музей общеевропейской памяти о войне... Качиньский пришел, сказал: «Нет, ребята, так дело не пойдет». Выгнали директора, выгнали научный совет, и вот я наблюдал, как немцы спорили с поляками по этому поводу. Совершенно очевидно, что сторонники антагонистической политики памяти в Польше победили. И признанием этой победы со стороны прежних сторонников космополитического подхода является попытка предложить вместо антагонистического подхода агонистский, то есть такой подход, который признает, что политика памяти это пространство борьбы, но предлагает понимать это как взаимоуважительный спор оппонентов. Пока это явно выглядит как благое пожелание, а политика памяти развивается по сценарию войн памяти.

Обратите внимание, что мы можем проследить динамику, как все это происходило. Вспомните, как мы учились антагонистической политике памяти у наших соседей. Потому что мы все время, когда, например, в Эстонии, происходили какие-то демонтажи российских или советских памятников, обращались к эстонцам... А эстонцы демонстрировали абсолютное нежелание какого-либо диалога. Или вот история наших отношений с поляками, как мы выстраивали отношения по поводу Катюши, по поводу передачи документов, история создания с обеих сторон центров диалога и примирения, история группы по трудным вопросам, которая издает книжки... А приходит все к чему? Они хотят памятник [Леху] Качиньскому под Смоленском длиной 100 метров, а Мединский им в ответ говорит, что мы рассмотрим ваше предложение, но после того, как вы разрешите нам поставить памятник погибшим красноармейцам (так случилось, что они похоронены на главном польском мемориальном кладбище) размером 100 метров. А дальше будем потихонечку сужать наши мемориалы-стенки в процессе «диалога и примирения». То есть совершенно очевидно, что это уже троллинг, равно как и выступление польского министра иностранных дел, кандидата исторических наук про то, что Освенцим освобождали не русские, а украинцы, потому что это были «бойцы Первого Украинского фронта». Это был совершенно сознательный троллинг. Кстати, здесь опять возникает вопрос о контроле наследия, потому что они выкинули русских из комитета, который обсуждает Аушвиц, потом — из комитета по Собибору... То есть это была систематическая политика.

И последнее: пространство, которое можно в этом смысле обсуждать... Вот мы говорим — разные акторы — и мы научились уже более или менее этих акторов перечислять, списком. Вот у нас есть власть, у нас есть какие-то провластные НПО, какие-то формально властные институты, типа Института национальной памяти или *Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории* в ущерб интересам России, у нас есть какие-то непровластные НПО, какие-то экспертные круги... Можно учитывать роль внешних акторов, диаспоры, например. Но я понял, что во всех этих рассуждениях не хватает одной очень важной вещи — формализованного набора критериев оценки эффективности и значимости этих акторов. И вот тут очень важные вещи возникают.

Во-первых, у нас есть тема институциональной преемственности и устойчивости, очень важная тема. Так, когда мы говорим о власти, то должны сказать, что власть не демонстрирует большой устойчивости институциональной, потому что власть сменяется, меняется политика памяти и понимание стратегических задач. Возьмите Украину, возьмите Польшу.

А вот если, например, мы возьмем диаспору, то украинская диаспора, безусловно, обладает институциональной устойчивостью, больше того, еще один очень важный критерий — ресурсная база. Потому что, скажем, у молдаван тоже есть какая-то диаспора, но ресурсная база украинской диаспоры — совершенно несравнима. И дальше важная вещь: а какие задачи решает вот эта вот

мотивированность и устойчивость стратегических групп? Мы можем увидеть, что создание больших систем патрон-клиентских отношений — это очень серьезно. Есть ли в нашей стране какой-нибудь актер, который обладает институциональной устойчивостью, устойчивой ресурсной базой? Да. «Мемориал». Но с точки зрения политической мотивированности — это совсем не то. И, конечно же, масштаб ресурсной базы совсем не тот. Вопрос в том, каким образом мы сравниваем вещи, которые вроде бы одинаково называются? Мне кажется, что это очень важно.

Тут еще один значимый момент. Ты можешь быть актером сильным, но недостаточно мотивированным. Почему политика памяти всегда занимала центральное место в интересах украинской диаспоры? Две причины. Первая, потому что им надо «отмазывать» себя, как наследников ОУН. И это очень серьезно в плане имиджа. А вторая причина состоит в том, что для них нормальная Украина — это та Украина, которая, наконец, разорвала все связи и зависимости с Россией. Я помню, как в 1991 году они говорили, что Украина неправильно получила независимость, потому что войны с Россией не было. В 2014 году они нечто подобное получили...

Если мы обратимся к книжке Кубика, он там предлагает четыре варианта режимов памяти. Он, в частности, говорит о фрагментированном режиме памяти, когда по поводу какого-то события нет единства в обществе, нет единой оценки. У нас есть масса ситуаций с таким вот фрагментированным режимом памяти по поводу тех или иных событий, а принципиальный вопрос, на самом деле, с моей точки зрения, это — как актеры операционализируют эту ситуацию. Вспомним нашу дискуссию по поводу 1917 года и его коммеморации. И вот, где у нас с Ольгой Юрьевной [Малиновой] было несогласие. Для нее признаком провала власти было то, что власть не сумела занять какую-нибудь сильную позицию и предложить обществу некую единую программу, и что мы в результате этого года коммеморации не вышли на какое-то единое понимание событий 1917-го. С моей точки зрения, в данном конкретном случае мы имеем дело с исключительно успешным образцом политики памяти, когда фрагментированный режим памяти был оставлен функционировать в этом состоянии с занижением ставок (совершенно сознательным) для того, чтобы существующие противоречия не переводить в режим войны памяти или конфликта. Ну ты так считаешь, ну считай. А этот так считает, ну и пусть. Пospорьте об этом на научной конференции. Памятников никаких не ставим, потому что по этому поводу всегда можно устроить хороший скандал. Его можно взорвать, его можно облить краской и так дальше... Все занижается до предела. Отлично сработано, я считаю. Другой вариант такого конфронтационного, не обязательно фрагментированного режима памяти, это, конечно, Сталин. Но здесь опять же вопрос, как у нас разные актеры, иногда даже не актеры, а «говоруны», которые лишены актерских способностей, формулируют: «Если мы завтра Сталина не вырвем из своего сердца, нет у нас будущего, и мы никуда не пойдём». То есть вопрос о том,

что делать со Сталиным, определяет наше будущее. С моей точки зрения, это культ вуду, в лучшем случае. У меня, разумеется, есть свое мнение на этот счет.

А главный вопрос: какой у нас будет режим памяти? Как мы можем сформулировать его? Здесь, на самом деле, отправная точка для очень серьезного дальнейшего анализа. Вот такие очень разрозненные соображения... И я буду в высшей степени признателен, — и это не форма вежливости, — за любые критические замечания.

ПИНЮГИНА: У меня первый вопрос, изучали ли вы тему комбинации, то есть альянса игроков, которые возникают ситуативно, а потом распадаются?

МИЛЛЕР: Применительно к каким-нибудь собственным сюжетам, конечно, изучал. Понятно, что актеры вступают в коалиции. Понятно, что эти коалиции непостоянные. Они меняются, это нужно изучать, да, конечно, это актуальная вещь.

СМИРНОВ: Меня занимает вот такой сюжет... Сейчас Центр стратегического развития заинтересовался культурной политикой в РФ с подачи Кудрина, Высшая школа экономики какие-то сюжеты разрабатывала. Скажите, пожалуйста, насколько эффективна в нынешних условиях и, в частности, в России, может быть политика государства применительно к регулированию деятельности акторов памяти, таких, например, как «Мемориал»? Имеет ли она вообще хоть какое-то значение?

МИЛЛЕР: Я считаю, что имеет, и очень большое. Я думаю, что есть один очень важный фактор. Важна **практика** законоприменения. Существенно для «Мемориала» его присутствие, как иностранного агента? Еще бы! Могли бы принять закон об иностранных агентах, как некую угрозу: повесить и забыть. Все равно бы это оказало воздействие, потому что все бы думали, а чем это нам светит? Разумеется, эти законодательные акты создают определенные возможности, в том числе, они вооружают определенных акторов некими возможностями, которых у них прежде не было... Ну кто такой Милонов? Что он может? Но за счет того, что он депутат, он может невероятно много. Особенно, если он эти свои полномочия знает, как использовать. А каким образом создается система запросов обеспокоенных граждан, на которые депутат обязательно должен отреагировать? Как он посылает запросы в прокуратуру, и там надзор один, надзор второй, надзор третий? Что потом происходит, даже если у этих органов нет заказа «мочить»? Они все равно должны прийти к вам с проверкой.

СМИРНОВ: В рамках действующего законодательства.

МИЛЛЕР: Вам уже устроили веселую жизнь по полной программе, даже если дальше не случилось никаких репрессий. Понятно, что институциональное оформление — оно невероятно важно. Например, «Закон Яровой»... Он странный и вроде бы «не про что», но его очень легко операционализировать при желании.

МИЛЛЕР: Возвращаясь к началу дискуссии, как политологи, историки, социологи используют ситуационный анализ — это очень важный вопрос.

Я бы с удовольствием посидел с каким-нибудь социологом, даже в качестве соавтора, и попробовал бы формализовать с учетом его понимания дела все эти вещи. Но я говорил сознательно, и все время подчеркивал, что говорю, как историк. Для меня важны все те вещи, о которых я сейчас сказал.

ПОНАМАРЕВА: Когда вы стали перечислять акторов памяти, то в качестве примера предложили диаспору, которая может быть сильным актором памяти. Возник вопрос, как раз потому, что примером была украинская диаспора, нужно ли учитывать внутреннее расслоение диаспоры? Как минимум четыре волны миграции было... И те, кто отъехал в последний момент, они совпадут во внешней оценке? Все будут против России?

МИЛЛЕР: Это очень хороший вопрос, и на него есть ответ. Если у нас фрагментированная диаспора, без жестких структур, контролирующих ресурсы, то у вас, может быть, люди в разные стороны думающие, говорящие, более-менее безнаказанно. В случае с Украиной практика показывает, что попытка выломаться за пределы так называемой утвержденной линии партии там в иммиграции жесточайшим образом наказывается. У нас есть кейс Джона-Пола Химки, которого просто выкинули с работы в нормальном канадском университете, где он был full professor, именно потому, что он противопоставил себя диаспоре по двум ключевым вопросам: оценка деятельности УПА (прежде всего, в связи с холокостом) и оценка масштабов и характера голода 1932–33 годов. Вот по этим вопросам он встал на другую, научную позицию, и ему «прилетело». Моментально. Если у вас диаспора — мощный актор, у вас не получится многоголосицы. Те, кто контролирует реально деньги... Вы же должны понимать, что, когда мы говорим о деньгах украинской диаспоры, мы говорим не о десятках миллионов, даже не о сотнях миллионов... Кто такой Петро Яцик, какие сейчас программы... Я видел этих людей и сидел с ними за одним столом.

ПОНАМАРЕВА: Если вернуться к 2013–14 годам. ...Я правильно поняла, что, «наезд» на мальчика из Нового Уренгоя был связан с элитарным конструктивистским проектом, тем, что наши власти начали «память о немце» как-то по-другому оформлять? Или это было стихийное возмущение, потому что мы не выдержали того, как нам до этого пытались преподнести историю Второй мировой?

МИЛЛЕР: История Второй мировой, как ее пересказывают и пересматривают, это уже давно было проблемой. Но выбор между немцем со «шмайсером» и немцем с аптекарскими весами делался в пользу немца с весами, вплоть до того момента, пока мы считали, что Германия наш главный на Западе партнер, который выстраивает с нами отношения по принципу «партнерство ради модернизации». Когда выяснилось, что Германия приносит наши интересы в жертву внутриевропейской политике, в том числе, восточной политике... Когда выяснилось, что немцы отдали контроль над восточной политикой Стокгольму и Варшаве... В принципе, это можно оценить как глупость. Они недооценили масштабов ущерба, который им грозил. Но когда выяснилось, что им нужно совершать

серьезный выбор... Немцы до последнего пытались что-то сделать и спасти ситуацию. Из трех министров иностранных дел, которые подписывали с Януковичем пакт в начале 2014 года, 21 февраля протестовал против изгнания Януковича только Штайнмайер. Француз промолчал, а Сикорский кричал: «*Vive la révolution*». И когда выяснилось, что Германия все равно встает в единый фронт санкционной политики, то тогда включился этот нарратив, потому что Германия оказалась неразрывной частью Запада.

ПОНАМАРЕВА: То есть триггер — Украина.

МИЛЛЕР: Да, триггер Украина.

ЕФРЕМЕНКО: Получается абсолютно инструментальная вещь...

МИЛЛЕР: Не столько инструментальная, потому что мы ничего не выигрывали от обострения отношений с Германией. Я думаю, что это — *collateral damage*, тема возникла «на полях», потому что никто специально не «мочил» немцев. Это была концептуализация, переосмысление отношений с Западом.

У меня есть такой пример. Я участвовал в одном публичном мероприятии, весьма любопытном... Почему они меня туда позвали, мне до сих пор непонятно. В «Иностранке» (это было летом 2013 года), было организовано мероприятие, где выступали польский посол, немецкий посол, и вот они решили, что с российской стороны они меня позовут выступать. Незнание ситуации было совершенно тотальное. Польский и немецкий послы говорили о том, как мы (Польша и Германия) достигли исторического примирения, и как мы готовы вас, русских, научить, как это делать. Можно себе представить, что я последний человек, о котором можно было бы сказать, что он сохранит самообладание в подобной ситуации. Ну я их «понес». Я сказал, что придет Качиньский к власти и мы посмотрим, что останется от вашего «исторического примирения»; дальше объяснил, что не надо нас учить «историческому примирению», мы с немцами и так примирились, только это все скоро кончится... Это было до того, как все кончилось. Но я их предупредил. Надо сказать, что сейчас там очень интересные вещи происходят. И я не очень понимаю, где граница немецкого терпения. Потому что осенью прошлого года я был приглашен на публичную дискуссию в Гамбург, и там поляк был, немец, я, и мы что-то обсуждали, и это было довольно напряженно, но прилично... И потом встал некто и сказал, что вообще-то немцы и русские должны вместе покаяться перед народами Европы. Человек принял глубоко к сердцу этот балтийский нарратив. Он поговорил минуты три-четыре, и за это время я успел вскипеть до нужной стадии. Я сказал ему, что я даже знаю место, где мы можем начать эти церемонии по совместному покаянию, потому что там и русские были... Это Аушвиц. На этом дискуссия была закончена. Самое забавное, что они продолжают меня звать после этого.

ЕФРЕМЕНКО: Я хотел задать вопрос по поводу ЕСовских программ осмысления национального исторического прошлого как культурного наследия. Если смотреть ретроспективно, то, начиная с 1990-х годов, с Маастрихтского договора, дискуссии о европейской идентичности достаточно активно шли вот

в каком направлении: можно ли сформировать европейскую идентичность исключительно на базе политических принципов или же совсем обойтись без истории нельзя? Если второе, то дальше начинаются конфликты национальных исторических памятней. Получается, единственный сюжет, который мог консолидировать всех, — это чувство коллективной вины и ответственности, связанных с холокостом. Сейчас, очевидно, происходит качественный переход. Судя по всему, финансирующие структуры Евросоюза, допускают возможность некоей манипуляции с историческим прошлым и его препарирования.

МИЛЛЕР: Эта история нуждается в таком дополнении... В 2007 году я участвовал в одном опросе, который проводил журнал «Transit», и анкета была о том, может ли история стать главным клеем нового расширенного Европейского союза. Я был единственным из всех отвечавших на эту анкету, которую они потом опубликовали, кто сказал, что историческая память не только не может быть клеем, но будет кислотой, разъедающей единство ЕС. Один был! При этом, если бы всем этим людям задать вопрос — «а как она может быть клеем?» — никто бы толком ответить на него не смог. Это было состояние «открытых возможностей»... А давайте посмотрим, как можно использовать историю в качестве объединяющей? И у нас есть такая версия, что все подписываются под покаянием по поводу холокоста... И в самом деле, казалось, что она работает, до 2004 года, когда те, кто рвался в ЕС, были готовы все подписать. Но как только они вступили, у них сразу пошли особые мнения на этот счет. И чем дальше, тем больше. Обнаружилось, что это не работает просто потому, что «у нас нет для вас других героев». Эти «герои» начали свой «доблестный» путь с убийства евреев, потом застрелили еще какого-нибудь красноармейца или комиссара перед тем, как их застрелил НКВДшник... Куда мы будем это все девать? Они у нас преступники или героически погибли за родину? Все. Full stop. Значит, не работает... Тогда началось «наследие тоталитаризма, авторитаризма» и так далее. И в 2009 году очень хорошо стало видно, что произошло, потому что в течение буквально нескольких месяцев в Европейском парламенте принимается закон об осуждении авторитарного и тоталитарного прошлого. Авторитарного и тоталитарного. И потом они переезжают в Вильнюс (там была какая-то сессия ОБСЕ) и принимают уже решение о дне 23 августа, как коммеморации... и уже там «упал» авторитаризм, там его нет. Остался только тоталитаризм. Дальше следуют очень интересные вещи: 2009–2010 годы — это пик европейского финансирования всяких организаций по политике памяти. А затем все неуклонно пошло вниз... Они поняли, что это не работает, и стали перенаправлять деньги в те вещи, которые немножко менее политизированы. Например, европейское наследие, где можно заниматься не такими спорными сюжетами. При том что даже в рамках программ поддержки европейского наследия, они в Западной Европе делают музей холокоста в Антверпене или музей принудительных рабочих в немецких фортах. То есть они адресуются к этой памяти, но там, где сохраняется космополитическая память прежняя. Это очень любопытная история,

которая продолжает развиваться. Последнее, что случилось просто на наших глазах, и как всегда, то, что происходит в украинском исполнении, — происходит на уровне оперетты: где-то недели полторы назад украинская часть Alumni Института Кеннана написала в головной офис письмо с протестом против усиливающихся прокремлевских тенденций в политике организации, потому что они выгнали одну даму с поста директора киевского представительства института... Это была Екатерина Смаглий, активно занимавшаяся политикой памяти и всегда очень старавшаяся выглядеть, как типичный американский функционер от демократической партии. На ее место назначили Михаила Минакова, а это как раз человек критически мыслящий. То есть мы видим бунты клиентов, когда крупные патроны начинают усложнять свою ориентацию. Вспомним, это письмо Обамы знаменитое в прибалтийские столицы по поводу того, что, ребята, у нас «перезагрузка» с Москвой, чуть-чуть сбавьте давление. Что они ему ответили? Не твое дело. То есть мы видим большой конгломерат акторов.

КОРГУНЮК: Я обозначу некоторые моменты, которые меня смущают, включая сам термин «политика памяти». Сразу ассоциации производит чего-то разработанного. Есть такая концепция, есть правила, которых надо придерживаться. А может, ее вообще никакой не существует, это всего лишь псевдополитика.

МИЛЛЕР: Что вы имеете в виду, говоря о «псевдополитике»?

МАЛИНОВА: Policy или politics?

КОРГУНЮК: Нет, я сейчас объясню... Policy, а именно — ее отсутствие. Вопрос о том, где вы разошлись, насчет коммеморации Октября. Ольга Юрьевна [Малинова] сказала, что — это провал, вы сказали, наоборот, — успешно. А вот, с моей точки зрения, вы оба и правы, и неправы одновременно. Потому что вообще-то если бы власть какую-то политику проводила, то она бы ее точно проводила. Если бы пыталась сформулировать свою линию. Вот тут точно был бы треск. А она просто ничего не делала. Ей было очень легко сделать все, как надо, потому что ей вообще даром все было не нужно. Не ее событие, не ее праздник, не ее трагедия. Они просто не использовали этот повод.

МИЛЛЕР: Казалось бы, логично то, что вы сейчас сказали, но мои возражения следующие. Первое, если вы решаете, что вы ничего не делаете, или делаете по минимуму или чего-то специально не делаете, то это вовсе не значит, что у вас нет политики. Это, наоборот, значит, что вы подумали и решили вот такую политику делать. Это политика. Это первое. Второе, если власть проводит какую-то политику, то она ее якобы точно провалит и так дальше... Нам этот дискурс знаком. Мы знаем, что наша власть не очень эффективная. Между тем я рискну вам вот что сказать: в области политики памяти наша власть оказалась невероятно эффективной. И она «вынесла» этих людей, которые демонстрируют свою оппозиционность, пока не становятся директорами Центрального банка «в одну калитку», потому что сперва эти ребята сделали «Ельцин-центр» и думали, что они победили. А власть научилась у них, как такие штуки делаются, и сделала 30 подобных центров...

КОРГУНЮК: Вы имеете в виду эту известную историю с мультимедийными выставками по истории России?

МИЛЛЕР: Ну да, и эта история оказалась намного более эффективна, мультиплицируема... Как Вольное историческое общество пыталось протестовать? ВИО написало неумное, с моей точки зрения, заявление. Я пытался повлиять на язык, но, как всегда, не хватило времени, куда-то все очень торопились, и смысл заявления был такой: мы требуем научной экспертизы этих выставок и так дальше... И им в ответ прилетело и с одной стороны, и с другой стороны. С правой руки прилетело, что экспертиза-то была проведена, вот вам список экспертного совета, только это не «ваши» историки. А с другой стороны, вдогонку: а ну-ка, расскажите нам, какую экспертизу историческую делали, когда возникли протесты по поводу «Ельцин-центра»? Где у вас эта бумажка? Кто у вас делал эту экспертизу? У вас партийная политика, у нас — партийная политика. У вас один центр в Екатеринбурге, а у нас — 30 по всей стране. Вот и посмотрим, чья возьмет. И в этом смысле, я вас уверяю, политика памяти — очень эффективная. Хотя, с моей точки зрения, отвратительная.

КОРГУНЮК: Как Ольга Юрьевна [Малинова] правильно подсказала, надо видеть разницу между *policy* и *politics*. По части *politics* рука, пожалуй, набита. По части *policy* идут постоянные колебания. Мне так кажется, что политика памяти текущей политике очень подчинена, и поэтому общий поворот крымско-украинский 2014 год сместил власть в сторону другой повестки. Это была не их повестка. «Вернуть Крым!» — это всегда был Жириновский и КПРФ. А власть всегда долгое время держалась в центре, над схваткой. Могла проявить государственность, но в рамках приличий. А после Крыма это уже невозможно.

МИЛЛЕР: Первый ответ, я согласен, что какой-то энергичной и целенаправленной *policy* нет. Другое дело, а откуда вы ее возьмете? В связи с двумя вещами... Во-первых, для того, чтобы иметь образ прошлого, вам нужно иметь образ будущего. Образа будущего нет, значит, и консенсуса вокруг образа прошлого не будет, поэтому какие претензии к политике памяти? Второе, *policy* не может быть такой систематической и «прямой» по той простой причине, что время и обстоятельства меняются. У меня были обсуждения с людьми, которые с этим работают. Они говорят, что нет никакого стратегического плана, Путин его не артикулирует. Мне вообще сказали: а ты понимаешь, что он считает, что стратегические планы вредны? И дальше ответ был очень разумный, в определенном смысле... Этот человек мне сказал: «Смотри, он считает, что ситуация меняется настолько непредсказуемо и настолько часто, что если у тебя есть какой-то стратегический план, которому ты пытаешься следовать, то он ограничивает твои возможности улавливать изменения ситуации и быстро реагировать». Поэтому надо концентрироваться на тактике, а стратегия простая — выжить, и все... И наконец, третье мое соображение... Момент, когда я, действительно, сильно перепугался, это когда в речи по поводу присоединения Крыма пошло даже не восстановление СССР (потому что это — не продать),

а пошел русский ирредентизм. Это очень опасно. Это потенциально самая главная угроза, и под это много чего в политике памяти можно сделать. И, слава богу, потом похоронили...

МЕЛЕШКИНА: Я хочу попробовать отреагировать на то, что я услышала в докладе. Мне очень понравились некоторые идеи, например, мне очень симпатична идея, что мы можем анализировать политику памяти, выделять некоторые типы политики памяти в зависимости от степени конкуренции различных идентичностей, которые существуют в обществе (например, Украина или страны Балтии). И ряд других идей, которые связаны с этим, в частности, по поводу того, что необходимо при формализации типов политики памяти учитывать ландшафт и набор акторов. Я хотела бы некоторые идеи попробовать развить.

Мне представляется, что основная проблема заключается в том, что нам нужно определиться, о чем мы говорим. В докладе звучали разные понятия, и, на мой взгляд, они не совсем идентичны друг другу. Первое понятие, которое звучало, — это политика памяти и типы этой политики. Второе понятие было взято из книжки Кубика сотоварищи — это режимы политики памяти. На мой взгляд, это два понятия, которые не являются идентичными. Так вот в связи с этим, когда мы говорим о формализации, когда мы говорим о типологии, надо все-таки определиться.

МИЛЛЕР: Я все время говорил о политике памяти.

МЕЛЕШКИНА: Ежели это все же политика памяти, и мы хотим формализовать это понятие, то здесь возникает вопрос: какова наша цель? Что мы хотим узнать? Мне кажется, это очень важно, с той точки зрения, что, когда мы себе зададим такой вопрос и поймем, что мы хотим узнать, нам будет ясно — хотим ли мы исследовать политику памяти и выделить какие-то типы политики памяти, основываясь на их содержании, идеях, контекстах, либо мы хотим посмотреть на механизмы. И это очень сложно совместить, как мне представляется. Это две большие, но отдельные задачи. Они, конечно, могут совместиться когда-нибудь, если специальный институт создать — «Политика памяти», — но в принципе, это большие и отдельные идеи. И если пробовать формализовать политику памяти в одном виде и в другом виде, то это будет разная конфигурация показателей.

МИЛЛЕР: Вот сейчас мы вернулись ровно в ту точку, с которой я начинал. Вот я слышу политолога. Мне кажется как раз, что эти вещи очень трудно разделить.

МАЛИНОВА: Только аналитически можно то-то сделать с этим, в жизни, конечно, они связаны.

МЕЛЕШКИНА: Но мы-то — исследователи.

МИЛЛЕР: Но разве наша задача как исследователей препарировать тему таким образом, чтобы какие-то в жизни связанные вещи оказались разделены?

МАЛИНОВА: Здесь обнаруживает себя разница между humanities и social science. Способ познания social science связан с тем, что мы выделяем структуры

и функции. Если мы в пространстве humanities, то мы вчувствуемся и пытаемся выразить то, во что вчувствуемся, — это просто разная методология.

МЕЛЕШКИНА: На самом деле, эти подходы могут совмещаться... Но мы же не ставим себе задачи вчувствоваться в политику памяти российской.

МИЛЛЕР: Почему?

МЕЛЕШКИНА: Ну, мы в нее уже «вчувствовались»... Вопрос в другом. Вопрос в том, что перед нами стоит такая интеллектуальная задача: если мы хотим типологизировать что-то, надо попробовать что-то сравнить. Разные казусы. Очевидно, что у нас есть набор неких казусов. Если мы просто вчувствуемся, то сравнивать мы не можем по определению. Сравнивать мы можем, когда есть некий эталон. Это не обязательно цифра. Но это — что-то формальное. Критерий. Эталон — это условность. Какой-то инструмент, с помощью которого мы можем сравнивать.

МИЛЛЕР: Я предлагаю в дальнейшем обстоятельно обсудить в формате семинара это различие в подходах. Если историка спрашиваешь — «какую задачу решает comparative history, то есть сравнение?» — то ответ, который сегодня считается передовым и методологически интересным — это сравнение, как способ постановки вопроса. Сравнение дает тебе возможность сформулировать вопрос.

МАЛИНОВА: На который ты будешь отвечать, изучая один кейс.

МИЛЛЕР: По крайней мере, ты применительно к этому одному кейсу можно задать какой-то вопрос. В том числе, почему здесь случилось так, когда там — случилось по-другому. Ведь это не только агрессивные антиполитологические позиции Миллера, но еще и Остерхаммель, значение которого как методолога исторической науки никто не будет оспаривать. Он говорит, что сравнение — это способ сформулировать главные исследовательские вопросы; а у вас сравнение — это способ получить ответы.

МАЛИНОВА: Это замена эксперимента.

ПОНАМАРЕВА: А разве механизмы не одинаковые все время, везде... Содержательно разные политики, но дальше сами механизмы используются вариативно: один — чаще, другой — реже. Политика памяти служит нам для мирения с сегодняшним днем, для адаптации к сегодняшнему дню и для представления о себе в сегодняшнем дне.

МИЛЛЕР: Это вы так думаете? Потому что кто-то думает иначе.

ПОНАМАРЕВА: Ну, я думаю как социолог. Потому что, если взять типологию того же Додда — четырех стратегий социокультурной адаптации, то вы же их сейчас фактически все описали: Fight, Flight, Filter, Flex. Вот, что мы делаем... Либо мы боремся, противопоставляем, отрицаем; либо мы частично интегрируем; либо вовсе выбрали недеяние, сбежали куда-то... И это тоже политика. Получается, что все эти механизмы уже найдены в рамках других дисциплин и проблематик, и их можно просто позаимствовать.

МАЛИНОВА: Поправочка... То, что наработано в рамках других проблематик, — это подсказка. Для того чтобы установить, действительно ли мы имеем

дело с такого рода механизмами, как они конкретно выглядят, мы можем использовать в качестве гипотетических моделей эти типологии. Гипотетические модели должны проходить апробацию. Но они не обязательно должны складываться подобным образом. Мы можем их и умозрительно складывать, и отталкиваясь от нашего собственного исследовательского опыта. Но процедура поиска все равно будет одна и та же. Вы будете накладывать то, что у вас есть в качестве гипотетической модели на реальность, и смотреть, так это работает или нет. Правда есть свои «узкие» места: можете чего-то не заметить.

ПОНАМАРЕВА: Или подогнать реальность...

МАЛИНОВА: Ну, это, по сути, одно и то же: то, чего у вас нет в модели, вы можете просто не увидеть.

МЕЛЕШКИНА: Мне представляется, если говорить о механизме... Я сейчас обойду содержательную часть и остановлюсь на типологии механизмов политики памяти. Мне кажется, здесь в основу могут быть положены разные типы конкуренции разных идентичностей. И соответственно, механизмы этой конкуренции. Это важный аспект, который позволяет нам понять, как же формируется официальный курс в области политики памяти. Он формируется во многом на основе того, какой тип конкуренции разных политик памяти в отношении разных идентичностей существует в той или иной стране. И сам по себе анализ механизмов конкуренции именно в этой сфере может быть положен в основу типологии механизмов политики памяти. Как можно сравнивать? Мы, предположим, выделили какие-то характеристики механизмов конкуренции, например, соотношение акторов. Мы придумали, как это соотношение акторов можно проанализировать... Наличие или отсутствие ресурсов, политический режим и тому подобное. Также мы можем обратить внимание на то, в каком контексте действует тот или иной механизм конкуренции и как этот контекст влияет. И здесь тоже могут быть выделены какие-то характеристики, которые для нас могут оказаться значимыми. Например, изменение международной среды, появление новой повестки дня и так далее.

МИЛЛЕР: У меня в первых работах есть разграничение между демократическим политическим полем и авторитарным режимом...

МЕЛЕШКИНА: Мне представляется, что просто сказать, что где-то есть авторитарное поле, а где-то демократический режим — это не совсем правильно, потому что ситуация гораздо сильнее варьируется. И здесь не всегда подходит простое деление на типы политических режимов — авторитарный, демократический, тоталитарный — нам может больше сказать об истинном положении дел изучение механизмов конкуренции между различными носителями соответствующей идентичности по поводу политики памяти. Потому что здесь конфигурация гораздо более сложная.

МИЛЛЕР: У меня есть возражения на сказанное, но это повод для отдельного обсуждения. Так будет продуктивнее.

МАЛИНОВА: Я реагирую, скорее, не на доклад, а на методологический сюжет... Понятно, что поле, которое мы называем *memory*, *social memory*,

представляет собой огромное количество совершенно разнородных явлений, которые имеют под собой то общее, что это все практики социального потребления, социального воспроизводства, социального использования прошлого. Общий знаменатель — все это имеет отношение к прошлому. Но при этом и акторы этих процессов очень разные, и практики очень разные, и цели очень разные. Я сейчас говорила о memoгу. Если мы сокращаем данное поле, сводим его до политики памяти, дело становится немножко проще, но не сильно. Потому что если мы политику памяти рассматриваем, как politics, то тогда это взаимодействие разных мнемонических акторов. И, в принципе, кто может быть этими мнемоническими акторами — легко решаемый вопрос. Это могут быть социальные группы и даже отдельно взятые индивиды, у которых есть ресурсы для продвижения своей точки зрения... Не обязательно деньги — это могут быть интеллектуальные способности. В век Интернета все не обязательно сводится к проблеме материальных ресурсов, хотя материальные ресурсы никогда никому не мешали. Но это должна быть группа, которая имеет какую-то картину, какую-то интерпретацию прошлого. Нарратив, большой ли, маленький ли, какое-то отдельное событие или фигура, которую они пытаются продвигать в публичном поле. Соответственно, мы видим довольно пеструю канву этих мнемонических акторов. Какие-то из них могут проводить достаточно связную политику памяти, имея связную концепцию, которую они пытаются навязать другим. Какие-то акторы имеют повестку по отдельно взятым пунктам, и, соответственно, все остальное им не очень важно. По профессиональному принципу мы можем вычлениить, кто является такими людьми. Я провела такое упражнение: брала десяток текстов, где эти перечисления идут, сравнивала их друг с другом, и больших разночтений нет.

Гораздо сложнее ситуация становится, если пытаемся посмотреть на это с точки зрения policy, а не politics. Теоретически политика памяти, как policy, может быть у институциональных акторов, у государства, у Церкви, у политической партии, если она достаточно последовательно проводит определенную линию. Но это теоретически, на практике это необязательно так. Это не обязательно так даже применительно к государству по той простой причине, что сложность с институциональными акторами заключается в том, что у нас всегда остается не вполне ясным вопрос, кто говорит от имени института? Вот условно, Путин говорит от имени государства — это всем понятно, а вот депутат Милонов, который, конечно, имеет ресурс, но, когда говорит, от имени ли государства? Или даже министр Мединский? Он как бы министр, но мы, когда обсуждали политику коммеморации Октябрьской революции, как раз говорили о том, что внутри государства у разных министров разное представление о том, как надо устраивать коммеморацию, и мы по косвенным признакам видим, что между ними происходит некая борьба. Другими словами, за выработку этой policy тоже конкурируют разные акторы, причем они не всегда делают это публично. Большая часть этой борьбы происходит как раз непублично, потому

что, когда мы пытаемся говорить о policy, у нас возникает масса вопросов. Далеко не всегда можно понять, кто говорит от имени государства и задает этот официальный дискурс, какая институция помимо главы государства это выражает. И даже когда Путин выступает с посланием — это одна песня, когда он общается с журналистами и спонтанно отвечает на вопрос — другая. В последнем случае не всегда понятно, чья это точка зрения, государства или лично Путина?

Еще больше вопросов у нас возникает, когда мы пытаемся выстроить все это в какую-то последовательную линию. И здесь, на мой взгляд, методологическая трудность возникает. Когда государство, как при большевиках, имеет государственную идеологию, то историческая политика строится вокруг государственной идеологии. И она оказывается последовательной в силу того, что внутри нее находится стержень метанарратива. А когда внятной линии доктринальной нет, то мы имеем дело с ситуацией, когда разные совершенно мнемонические акторы внутри государственного аппарата пытаются петь разные песни. Более того, для людей, которые внутри государства и от имени государства пытаются заниматься политикой памяти, эта политика памяти далеко не всегда оказывается приоритетной. Довольно часто какие-то вещи делаются ad hoc, исходя из совершенно других приоритетов... Я пыталась памятные речи анализировать, и там очень виден компонент лоббизма. Условно говоря, Министерство культуры — это слабый лоббист, а «Газпром» — это сильный лоббист. Или силовые структуры... У них президент регулярно будет на всех памятных мероприятиях говорить речи. Другими словами, здесь очень много таких прагматических соображений возникает. Поэтому, когда мы начинаем рассматривать политику памяти как policy, как что-то связанное, мы часто впадаем в методологическую ошибку... Ты нечто интерпретируешь как выражение некоей политики, которая меняется, а это в действительности может быть просто конъюнктурным взаимодействием разных акторов.

МИЛЛЕР: Вот как раз по этому поводу историки имеют кое-что сказать. Ты отметила, что у большевиков все более понятно... Это не вполне так. Есть у меня аспирант, который пишет о том, как разные институты и люди боролись за выстраивание нарратива революции в 1920-е годы. А еще есть книжка, которая на английском уже вышла, а на русском скоро выйдет. Дэвид Бранденбергер написал книжку о том, как Сталин редактировал «Краткий курс истории ВКП(б)». Там еще есть одна важная вещь... Вот Сталин в какой-то момент решил, что мы убираем значимость национального вопроса, двигаем вперед класс, и так дальше... И потом ты начинаешь понимать, что там происходит то же самое, что и с писателями. Сталин же руководил и писателями, и кинематографистами... И он всегда очень ценил людей, которые умели правильно угадать. Не выполнить то, что им сказали, а угадать. И поэтому — Фадеев. Это и взаимодействие, и власть оставляет пространство для «угадки», и еще оставляет пространство для всякого разного рода контактов. Мой любимый пример, как подчиненные Суркову

структуры финансировали параллельно Данилова и Зубова, когда они писали свои учебники. Один писал учебник монархический, антикоммунистический, а другой писал — просталинистский учебник. Они просто из одного и того же окошка деньги получали. Вот это очень интересно. И почему потом один был выбран, а другой — нет?

МАЛИНОВА: На самом деле, это — вопрос взаимодействий. Мне кажется, что, когда мы оперируем такими понятиями, как политика памяти, не следует слишком эссенциализировать подобные вещи.

МИЛЛЕР: Так у меня отправная точка — ситуационный анализ, там все — про взаимодействие.

МАЛИНОВА: По поводу типологизации взаимодействия. Концепция Бернхарда и Кубика как раз об этом. Режим памяти — это конфигурация акторов и их взаимодействие. Есть эта типологизация, но есть и одна проблема. Это удастся сделать, только «зафиксировав» ситуацию во времени и применительно к конкретному предмету. Такой режим памяти — это режим памяти фактически в формате коммеморации. То есть у тебя происходит коммеморация какого-то события, и при этой коммеморации ты можешь выстроить режим памяти. Моя попытка применить этот подход к нашим реалиям показала, что если действительно это работает, то это работает в децентрализованном контексте. Потому что в российском варианте на основе строгого анализа мы должны ожидать наличия конфронтационного, конфликтного режима памяти, но видели мы эту конфликтность — на деле ничего подобного. Возникает вопрос, а как это объяснить? А очень просто. Потому что не является исчерпывающим то объяснение, которое приходит из этой концепции. Также имеет значение наличие ресурсов, которыми могут распоряжаться те или иные мнемонические акторы. Большое значение имеет то, каким образом они взаимодействуют между собой **за рамками** политики памяти. Это как в случае с коммунистами в отношении коммеморации Октября. Здесь у них позиция по отношению к власти, скорее, оппозиционная. Но видели мы эту оппозиционность в обыденной жизни? Нет, потому что это системная партия, она в выборах участвует, она прислушивается к советам со Старой площади... Они действуют в том диапазоне, в каком договорено. Возникает вопрос, это такая специфика нашего режима управляемой демократии? Я не уверена. Если смотреть применительно к восточноевропейским режимам, которые Бернхардт и Кубик исследовали и которые видятся как демократические, на самом деле, эта кажущаяся демократичность может определяться конкретным раскладом. Здесь очень много факторов, которые приходится учитывать. Трудно формализовать эту модель, потому что в ней очень много измерений, и далеко не все измерения связаны с политикой памяти.

МЕЛЕШКИНА: Поэтому мне кажется очень важным разделять политику памяти и механизмы, которые относятся к политике памяти, и контекст, в котором это все существует и который тоже можно представить в виде некоего на-

бора характеристик. В жизни это все смешано, а аналитически такое разделение было бы хорошо провести.

ЕФРЕМЕНКО: Можно еще один сюжет, очень короткий. Неизгладимое впечатление произвела история про польских националистов, устраивающих диверсии в Закарпатье...

МИЛЛЕР: Если такие случаи происходят, то тогда выходит на поверхность вся тематика фейковых новостей и эмоций, то, каким образом мы начинаем манипулировать такими вещами... Вот у нас прошла какая-то новость, которая работает на некий нарратив. И первое, что ты должен сделать, это проверить, с какого сайта ее взяли. При этом граница между «надежными» и «ненадежными» сайтами все время размывается.

ЕФРЕМЕНКО: Представим себе, что это не фейк, и тогда надо поставить вопрос о транснациональных коалициях акторов разных политик памяти, участвующих в геополитических баталиях.

МИЛЛЕР: Безусловно.

ЕФРЕМЕНКО: Значит, политика памяти, это уже не инструмент, или такой инструмент, который может сыграть роль *game changer*, который способен существенно изменить контекст и структуру казавшихся устоявшимися геополитических разделений. На эти вещи тоже надо посмотреть повнимательнее.

МИЛЛЕР: Будет хорошо, если мы на данном этапе сумеем эту палитру вернуть и как можно больше каких-то вещей проговорить, пусть даже и не сложив их в какую-то целостную систему. Важно хотя бы назвать эти вещи, поскольку все время открываются какие-то новые сюжеты. Сейчас Воронович написал статью... Она вот о чем. Мы привыкли, что политика идентичности — это про национальные, постнациональные идентичности, или идентичности классов, этнических групп. Воронович проанализировал политику памяти в Приднестровье и ДНР и пришел к выводу, что, на самом деле, это образец того, как выстраивается интернационалистская идентичность. То есть не русская, не молдавская, не украинская, не сугубо региональная, а интернационалистская... И это очень важный вопрос, как ты выстраиваешь идентичность, если выбор между какими-то вариантами национальной идентичности для тебя невозможен или политически неконструктивен?

СМИРНОВ: Подумалось о некоей трансформации государственных институтов, о которых говорили, при управлении политикой памяти. Давайте посмотрим на наши советские институты. Например, лозунг «пяtilетка в четыре года»... Если мы посмотрим на это в условиях нашей современной открытой статистики, то увидим, что никакой пяtilетки выполнено никогда не было. Тогда государство было монополистом в формировании исторической памяти. Все боковые ответвления, все эти вещи уходили в сторону, расчищалось пространство для правильной исторической памяти в области экономики. Что трансформировалось в современной России? На самом деле, государство не играет роль какого-нибудь монополиста в формировании экономической истории,

но оно никоим образом не обращается к прошлому. Кто помнит сейчас про приоритетные национальные проекты? Только профессионалы отчасти помнят. Было это сделано исключительно для «поднятия» Дмитрия Анатольевича [Медведева]. Или давайте вспомним другое постановление, согласно которому у нас к 2017 году не должно было быть «лампочек Ильича». Это уже Паркинсон называется...

МИЛЛЕР: Вот почему Владимир Владимирович Путин говорит о том, что незачем строить стратегии...

СМИРНОВ: Это к вопросу об оптимизме. Сегодня прозвучала стратегия: в полтора раза мы должны увеличить ВВП в ближайшие 6–10 лет. Я говорю, ребята, а вы вспомните предвыборные обещание «Единой России» в 2012 году, кто этим занимается, кроме пользователей Фейсбука и других социальных сетей? Кто поднимает эти вещи и пытается сделать какие-то компаративные таблички? Дальше, когда Росстат предоставляет абсолютно нормальные данные, относящиеся к недавней нашей истории, следует окрик из Министерства экономики: «Вы недоучили вот это». У вас повысились доходы пенсионеров в прошлом году, а в этом году они снизились. Почему? Пятитысячная выплата февраля или января прошлого года. Наша задача, как профессионалов, как граждан этой страны, расширять круг тех людей, которые не будут кричать про национальную идентичность, про русский мир и так далее, а будут пытаться на основе той же исторической памяти попробовать разобраться. Иначе это будет очень грустно.

МИЛЛЕР: Я скажу вам, что мы видим, что со всеми этими нарративами экономической истории случилось то же самое, что и с нарративами про другие вещи. Они оказались очень партийными и политическими, потому что то, как врет власть, мы все знаем. И то, как врут либералы, которые якобы оппонируют власти, мы тоже знаем. И в результате у нас не оказывается ни одного человека, который может сказать правду. Кроме Леонида Григорьева. Все невероятно партийные, и все невероятно врут. Все, что вы понимаете, что вас каким-то образом дурят. У нас же нет людей с репутацией. У нас института репутации человека, который грамотно, ответственно рассуждает об экономике, нет. И это вопрос, почему его нет с властного фланга... Но почему его нет на либеральной стороне? А его нет.

Теперь о другом.

Я зацепился за очень продуктивный посыл Ольги [Малиновой], которая сказала о различных подходах *social sciences* и *humanities*. Мне показалось, что надо проговорить какие-то вещи с этим связанные. Но хочу я начать не с этого, а с еще одной темы, которую затронула Ольга, говоря о политике памяти как *policy* и о том, в частности, что не всегда понятно, кто имеет полномочия высказываться по этим вопросам от имени институциональных акторов. Давайте задержимся на этом. Многие из вас знакомы со статьей Кэтрин Вердери «Whither 'Nation' and 'Nationalism'», где есть одна очень важная вещь, которую можно попробовать раскрутить. Вердери говорит о том, что нация — это символ, сим-

волический ресурс (или прошлое можно поставить на место нации), по поводу которого происходит борьба разных политических акторов. А за что борются? Вот это принципиальный вопрос. Можно сказать, что борются за правильные (в их представлении) понимание и трактовку нации и национальных интересов, прошлого и так далее. А может быть, все не так? Может быть, то, что мы рассматриваем, как средство, на самом деле является целью? То есть борются за контроль.

МАЛИНОВА: Одно другому не противоречит.

МИЛЛЕР: Противоречит. Сейчас объясню почему. Если боремся за контроль, то тогда ценность не в том, чтобы утвердить правильную линию, а ценность в том, чтобы контролировать дискурсивное поле. И если в центре этого поля РИО и РВИО борются друг против друга (два наших «нанайских мальчишка»), то мы уже решили нашу проблему. Вот в этой логике становится понятно, каким образом из одного кармана в одно и то же время финансируется Данилов с его учебником, а из другого кармана в это же самое время — Зубов со своим учебником. То есть идея заключается не в том, чтобы продвинуть какое-то единственно правильное понимание, а в том, чтобы контролировать поле и задавать повестку дня, и держать это под контролем. И в этом случае оказывается, что такая внутренняя институциональная сложность акторов — важный, полезный ресурс.

Мы недавно обсуждали, кто как играл по поводу Октябрьской революции, и все признавали, что Церковь отыграла чуть ли не лучше всех. И тогда вопрос, а почему? Ответ заключается в том, что у нее были очень разные голоса. И она одним голосом обращалась с осуждением революции, а другим голосом и для других совершенно людей обращалась по поводу мироточащих икон Николая II и чего-то подобного... В общем, смысл понятен: у нас есть воцерковленные квазилибералы, которым надо сказать, как мы осуждаем большевистскую революцию, и у нас есть голоса в Церкви, которые это делают. У нас есть голоса в Церкви, которые делают это последовательно, осуждают сталинский террор и всякие такие вещи. У нас есть одновременно голоса в Церкви, которые говорят, что всякая власть от Бога. И это все — Церковь. И то, что у нас есть [митрополит Тихон] Шевкунов, с одной стороны, и [митрополит] Иларион, с другой стороны, и что они по-разному говорят — это сила Церкви, а не ее слабость. И тогда получается, что наше понимание *policy* не в том, чтобы утвердить непротиворечивый единый нарратив, а в том, чтобы играть этими нарративами, контролируя поле, присутствуя в этом поле и влияя на разные группы. И это в моем представлении сильно меняет дихотомию *politics / policy*, которую мы привыкли обсуждать. Размывается немножко эта граница.

МАЛИНОВА: То, что ты объяснил, вполне правдоподобное предположение о том, как все устроено. Проблема заключается в том, что у нас нет возможности эмпирически это проверить. Я бы сказала, что, с одной стороны, твое предположение не менее правдоподобно, чем мое. Я напомню, что исхожу из посылки о том, что для тех, кто играет от имени института, далеко не всегда политика

памяти является приоритетом. Поэтому тезис про контроль принимаю, но контроль — это не факт, а игра за контроль. В этом смысле политика памяти оказывается одним из ресурсов наряду с другими. Мне кажется, что очень неправильно представлять это поле, исходя из того, что Церковь, как институт, многоголосо; государство, как институт, многоголосо; или акторы, которые играют за этот институт всецело сосредоточены на том, чтобы контролировать это поле политики памяти. Они сосредоточены на том, чтобы контролировать *вообще* символическое поле. Политика памяти оказывается одним из инструментов, а само символическое поле оказывается очень тесно связано с другими ресурсами, каковыми являются власть, деньги и прочее, прочее. Я с тобой полностью согласна, твоя «картинка» нисколько не противоречит моей, в которой краеугольным углом является посыл о том, что на самом деле мы будем плохо понимать политику памяти, если будем думать, что те, кто говорят об этом, только на ней и «повернуты». В отличие от историков. Для историков политика памяти — это очень важная тема. Для политиков и, соответственно, общественных акторов — в большинстве случаев нет, хотя из этого тоже могут быть исключения.

Вторая вещь, которую я тоже хотела бы обговорить. Мне представляется, что предположение о наличии некоего гипотетического «суркова», который просчитывает в этой игре все ходы наперед и обустроивает поле так, чтобы на нем можно было играть, тоже является допущением, которое не стоит слишком сильно обобщать. В какие-то моменты времени у нас могут быть какие-то стратегии, подобные тому же Суркову, но мне кажется, что более точным будет наш анализ, если мы будем исходить из того, что суммирующая получается по результатам взаимодействия разных акторов, причем не только тех, которые находятся внутри соответствующего института. Иными словами, речь идет о поле взаимодействия. Некоторые акторы пытаются действовать стратегически, я с этим не спорю. Но стратегия не в том, чтобы навязать определенную концепцию, а в том, чтобы контролировать поле.

МИЛЛЕР: На самом деле, я вообще не вижу здесь противоречия. Первое, все что ты говоришь, можно заключить в большую рамку — ситуационный анализ.

МАЛИНОВА: Я плохо понимаю, что такое «рамка ситуационного анализа».

МИЛЛЕР: Это вопросы: «кто взаимодействует?», «по поводу чего взаимодействует?»

МАЛИНОВА: Я только не понимаю, почему это ситуационный — анализ. Ситуационный анализ — это ситуация, то, что имеем на данный момент. Ситуацию можно анализировать с помощью разных аналитических инструментов. Для меня формулировка «ситуационный анализ» сама по себе является бессмысленной. Она для тебя наполняется смыслом в связи с тем, что ты ее наполняешь конкретными измерениями анализа. Какими?

МИЛЛЕР: История моего общения с понятием «ситуационный анализ» может быть прослежена по моим статьям. Я его предложил в конце 1990-х годов,

не в том смысле, что я его изобрел, а в том, что предложил использовать этот подход.

ЕФРЕМЕНКО: Анализ или подход?

ПОНАМАРЕВА: Если «анализ», то мы просчитываем силу, слабость, возможности, угрозы, и это — «четырёхчленка» (SWOT), от которой никуда не денешься.

МИЛЛЕР: Это у вас, у социологов. А вот применительно к историкам, которые занимались эмпирией, тезис «нам нужен ситуационный подход» означал: «ребята, перестаньте рассматривать ваши истории, как истории борьбы украинского народа против “злой” империи». Смотрим конкретную ситуацию: кто в ней участвует. Украинский народ распадается, распадается империя, помимо украинского народа «героического» появляются поляки и еще кто-то...

МАЛИНОВА: Я поняла. Применительно к истории — это призыв уйти от больших нарративов и смотреть в конкретном измерении.

МИЛЛЕР: И второе, применительно к нашей ситуации, когда ты говоришь «взаимодействие разных акторов», возникает какая-то результирующая. Так об этом же и речь. Давайте всех этих акторов будем учитывать и их взаимодействие. Но у нас понятие «контроль» начинает функционировать на двух уровнях. Я говорил о контроле дискурсивного поля, а ты говорила (причем я считаю эти концепции абсолютно дополняющими друг друга) о контроле ресурсов. Это контроль властного ресурса, в том числе. Если мы посмотрим на ситуацию 2011 года, когда у нас есть Медведев, который пытается профилировать себя как самостоятельную единицу через некоторый уклонизм в политике памяти. Но ему эта политика памяти как таковая безразлична. В тот момент, когда он «вылетел», он забыл про эту память. Но тогда это использовалось для борьбы за политический контроль.

МАЛИНОВА: Я только единственное хочу добавить, чтобы нас понимали люди, которые за нашим столом не сидят. Мне кажется, что термин «ситуационный», он в твоей перспективе (вот историкам сказали, не надо думать, что нарративом все задано, давайте смотреть в конкретную точку) имеет смысл, а применительно к более широкой социальной перспективе ситуационный анализ имеет немножко другое значение. Мы, собственно говоря, не ограничиваем наш анализ очень конкретной ситуацией. Ну применительно к коммеморации какого-нибудь конкретного события можно анализировать позиции всех ведущих акторов, как они сходятся в этой точке времени. Мы немножко другое собираемся делать. Я бы это назвала акторно-ориентированным подходом.

МЕЛЕШКИНА: Я хочу вернуться к базовым вопросам, а именно к тому, какова наша конечная цель. Насколько я помню, цель, заявленная в нашем проекте — создать некую типологию политики памяти. Она должна быть основана на неких содержательных критериях (основной посыл политики памяти), или она должна быть основана на критериях, связанных с механизмом принятия решений? Это другой аспект. И вряд ли в одной типологии они могут вместе

сочетаться, просто по одной причине — это достаточно сложная и объемная работа. А мы хотим сделать эту типологию эмпирической, то есть основанной на анализе каких-то реальных казусов.

МИЛЛЕР: Дайте мне десять минут...

ЕФРЕМЕНКО: Десять, но не более.

МИЛЛЕР: Согласен. Я закончу свои рассуждения, потому что у меня есть, что сказать. Когда Ольга кинула эти два понятия *social sciences* и *humanities*, я понял, что надо через них сформулировать то, что не всегда хотелось каким-нибудь образом высказать. Суть вот такая: мы привыкли говорить об этих исследованиях политики памяти, как о междисциплинарном поле. Что там сотрудничают, взаимодействуют... люди...

МАЛИНОВА: Я бы сказала — сосуществуют...

МИЛЛЕР: Вот! Вот! Мне сейчас дали черновик обзора «History & Memory» за шесть лет. За шесть лет в журнале не опубликовано ни одной методологической статьи. Ни одной! И это — не случайно. Все говорят про методологический кризис, все говорят, что ресурс в каком-то преодолении этого деления дисциплинарного, и ни у кого ничего не получается. Значит, мой революционный, как мне кажется, тезис заключается в том, чтобы понять, что это — «разные животные».

МАЛИНОВА: Абсолютно.

МИЛЛЕР: Что попытка заставить их совокупляться с целью производства каких-то деточек — дохлая затея. Если что-то получится, то получится уродец. Вместо этого мы должны понять, что *social sciences* и *humanities* работают по разному принципу, используя совершенно разные методы. Вот ты говорила, что сравнение — это замена эксперименту, а я стал рассказывать, что значит сравнение для историков. Иначе говоря, это можно сформулировать и для *social sciences*, и для *humanities*. И это совершенно разные задачи. А дальше ты начинаешь рассуждать, как мы будем строить типологию... А мы не будем строить общую типологию! Не потому, что это очень сложно, а потому, что это невозможно. И мы сформулируем, почему это — невозможно. И мы вместо этого скажем, что есть разные подходы к типологизации и сравнению. У нас есть институциональное измерение, измерение борьбы, измерение истории идей и измерение искусства, образа и так далее. И все это относится к политике памяти. Есть целый ряд вещей, которые не схватываются методами политических наук.

МАЛИНОВА: Меня восхищает тот энтузиазм, с которым ты стремишься в открытую дверь.

МИЛЛЕР: Где эта открытая дверь?! Где проговорено, что в *memory studies* надо перестать искать междисциплинарный подход?

МАЛИНОВА: Интердисциплинарный. Я в Копенгагене была на конференции *Memory Studies Association (MSA)*... Не хочу сказать, что все было про это, но на каждой второй сессии такая мысль звучала в обсуждении...

МИЛЛЕР: Но для себя я «открыл Америку».

МАЛИНОВА: Сами по себе это достаточно общие вещи. Само деление на *social sciences* и *humanities* основано на принципе разного инструментария и — самое главное — разного подхода. Подход социальных наук — это ориентация на обобщение, типологизацию, поиск общих закономерностей. Понятно, что в *social sciences* могут быть разные подходы, могут быть дедуктивные, индуктивные, у них тоже есть свои особенности, но общая установка — на выявление социально-типического. Подход *humanities* — на изучение индивидуального случая, на поиск связи внутреннего, на поиск смыслов. Само по себе снятие установки на обобщение кейса развязывает тебе руки в плане его интерпретации.

МИЛЛЕР: Отчасти я со всем этим могу согласиться. Но это далеко не исчерпывает тему. Потому что у *political sciences* и *social sciences* разная хронологическая глубина.

МАЛИНОВА: Да, а может быть одинаковая.

МИЛЛЕР: И все равно очень маленькая.

МАЛИНОВА: На самом деле, есть исследования в *political sciences*, которые на глубину веков уходят... Но вот в чем я с тобой согласна: там, где идет много разговоров про междисциплинарность, чаще всего имеет место недодисциплинарность. То есть если ты стремишься к междисциплинарному подходу, ты должен очень хорошо понимать профиль своей дисциплины в этом поле. И междисциплинарность должна образовываться за счет того, что ты заимствуешь у других дисциплин не все сразу.

МИЛЛЕР: Сосуществование.

МАЛИНОВА: Я бы сказала, что это сосуществование может быть стихийным и хаотическим, а мы стремимся к тому, чтобы добиться осмысленного сосуществования. В этом наша задача.

МЕЛЕШКИНА: Я бы сказала: сотрудничество, где это возможно.

ЕФРЕМЕНКО: Коллеги, у нашей дискуссии, которая сама по себе оказалась очень содержательной и многоплановой, получилась эффектная кода. Причем эта кода не только воспроизводит основные темы всей дискуссии, но и выводит нас на их новую комбинацию, и, следовательно, закладывает основу для новых обсуждений. Разумеется, не все сюжеты мы смогли охватить или раскрыть. Конечно же, нуждается в дальнейшем развитии проблематика типологизации. Или, допустим, роль историков и историографии в политике памяти, еще шире — роль экспертного сообщества. Можно продолжать и продолжать. В конце концов, достижение единого мнения — не всегда лучший результат. В ряде случаев намного полезнее максимально прояснить разногласия, чтобы понять, а достигим ли консенсус вообще и нужно ли к нему стремиться. И что мне еще очень понравилось в нашей дискуссии — это то, что теоретические и методологические вопросы так тесно переплетены со «злойбой дня». Нам еще точно есть, что сказать.

А. М. Понамарева

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ НА СТРАНИЦАХ
ЖУРНАЛА FOREIGN AFFAIRS:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

*Аналитический обзор*¹

Подтверждением наблюдаемого сегодня «выхода дискуссии о памяти далеко за пределы академического сообщества на широкие просторы общественной жизни, внутренней и внешней политики», может, в числе прочего, служить тот факт, что авторитетнейший американский журнал по проблематике международных отношений — *Foreign Affairs (FA)* — «открыл» 2018 г. тематической подборкой, полностью посвященной политическим практикам преодоления тяжелого прошлого, применяемым в разных странах [Васильев 2012].

Вот уже более 80 лет организация-издатель данного журнала — *Council on Foreign Relations (CFR)* — объединяя руководителей СМИ, первых лиц финансовых и промышленных компаний, военных и политиков, государственных служащих и ученых, является одним из наиболее значимых акторов, формулирующих видение стратегического развития США. Само появление *CFR* стало возможным после того, как замкнувшую Америку в Западном полушарии «доктрину Монро» сменила ориентированная на установление американского стратегического контроля и распространение американских ценностей по всему миру «доктрина Вильсона». Принципиально значимо в данном случае то, что основу идеологической платформы *CFR* (и соответственно, изданий Совета) составляет представление об *универсальности и всеобщности* ценностей, отстаиваемых США. Таким образом, вторгаясь в пространство исследований памяти, *FA* несет на себе родовую печать агрессивного нормативного либерализма *Council on Foreign Relations*.

Историю XX в. в целом можно представить как череду драматических событий. Как отметил редактор журнала *Foreign Affairs* Гидеон Роуз в предисловии к первому выпуску 2018 г. «Восставшее прошлое. Как нации противостоят злу истории»: «Слишком много преступлений было совершено в слишком многих местах, но шесть “кейсов” выделяются особо — два эпизода геноцида; два — массового политического убийства, и два — ставшие следствием устойчивого расового угнетения». Статьи Аннет Гордон-Рид, Ричарда Эванса, Никиты Петрова, Орвилла Хикока Шелла III, Сисонке Мсиманг и Фила Кларка позволяют проследить, как отдельные государства выстраивают отвечающую сегодняшней политической конъюнктуре линию интерпретации реальных исторических

¹ Исследование проводится в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589.

событий. При этом данная подборка наглядно иллюстрирует тот факт, что любая «линия интерпретации» может вызывать критику как за пределами сообщества, так и внутри него, в особенности при обращении к проблемным, темным или даже позорным эпизодам истории того или иного народа [Гигаури 2015].

Автором эссе «Первородный грех Америки» является историк, юрист и профессор Гарвардского университета Аннет Гордон-Рид — первая афроамериканка, получившая Национальную книжную премию США в категории «Документальная литература» за исследование «Хемингсы из Монтичелло: Американская семья» о трех поколениях рабов, живших в имении Томаса Джефферсона. В своей работе она размышляет об избирательности исторической памяти и глубинных истоках современного бытового расизма [Gordon-Reed 2018: 2–7].

А. Гордон-Рид обращает внимание читателя на то, что два лежащих в основе государственности США документа — Декларация независимости и Конституция — репрезентируют проблему, с которой американцы имеют дело с момента официального разрыва с метрополией: «Как совместить ценности, выраженные в этих текстах, с первородным грехом рабства, пороком, омрачившим начало становления страны, исказившим ее надежды и в конечном итоге погрузившим ее в пучину гражданской войны» [Gordon-Reed 2018: 2].

Декларация независимости создавалась с целью провозгласить освобождение 13 североамериканских колоний от господства британской короны. Однако в своем идейном пафосе она оказалась поистине революционной и стала ключевым элементом «гражданской религии» современной Америки. Вводные тезисы ее преамбулы: «все люди созданы равными» и наделены «неотъемлемыми правами», включая «право на жизнь, на свободу, на стремление к счастью», — поместили понятия свободы и равенства в самое сердце «американского эксперимента». При этом один из авторов Декларации, родоначальник демократической идейно-политической традиции в США Томас Джефферсон отлично ладил с крупными плантаторами-рабовладельцами, к которым и сам принадлежал.

Неоднозначной представляется также история создания Конституции 1787 г. На тот момент перед авторами документа стояла задача выработать общие правила игры для развивающегося по капиталистическому пути промышленного Севера и сохранявшего феодальные отношения сельскохозяйственного рабовладельческого Юга. Таким образом, во избежание разрушения экономики южных штатов, в первоначальный текст были интегрированы такие положения, как: разрешение на ввоз рабов, запрет на оказание им помощи при побеге, а также обязанность их возврата даже из тех штатов, где рабство было отменено. После того как было принято решение, что количество конгрессменов штата будет зависеть от его населения, Юг захотел включить в этот учёт рабов, а Север воспротивился этой идее. Достигнутый сторонами компромисс поражает цинизмом: при определении численности населения каждого штата учитывалось только три пятых от общего количества рабов в каждом штате. Все

вышесказанное дает основания автору считать, что Конституция 1787 г. «напрямую защищала рабство» [Gordon-Reed 2018: 2].

Соответственно, «любой порыв отпраздновать зарождение государства неминуемо наталкивается на трагические моменты былого. Желаящие без стеснения и с гордостью за свою страну наслаждаться празднованием ощущают неуместность своих чувств из-за тех, кто клеймит позором гнет и насилие, составлявшие суть времени отцов-основателей... Прийти к обеспечению правильного баланса в памяти о прошлом оказалось одной из наиболее сложных проблем американского общества» [Gordon-Reed 2018: 3].

Специфической особенностью американского рабства стало то, что оно основывалось на признаке расы. В отличие от кабальной зависимости, в которую попадали белые выходцы из Европы, приезжавшие в Америку, рабское клеймо в среде чернокожих передавалось по наследству. И даже отпущенные на волю лица африканского происхождения оказывались несвободны в этом обществе [Gordon-Reed 2018: 3].

Ссылаясь на американского историка Эдмунда Моргана, автор пишет, что именно рабство, основанное на расовых признаках, подарило WASP-м свободу. Система, где низшие ступени социальной лестницы были безальтернативно закреплены за чернокожими, нивелировала классовые противоречия белого населения. Статус раба приобретался по физиологическим характеристикам — цвету кожи, чертам лица, — что позволяло с легкостью выявить тех, кому на роду было предписано оставаться рабом, и подчинить их жесткой системе социального контроля. Тринадцатая поправка к Конституции США (1865), официально обозначившая отмену рабства, не могла в одночасье разрушить эту столь длительно выстраивавшуюся систему «белого доминирования» [Gordon-Reed 2018: 4].

Нынешнее поколение, сетует А. Гордон-Рид, попавшее под обаяние «легенды Юга» — нарратива о благородных джентльменах, живших в патриархальной простоте среди живописных плантаций и боровшихся за сохранение своих ценностей и образа жизни, поверженных в прах пушками северян, — отказывается признавать очевидное. «Черное рабство» рассматривалось конфедератами в качестве одного из краеугольных камней государства, которое они планировали создать после победы в гражданской войне.

После того как в 2015 г. расист Дилан Рус застрелил девять чернокожих прихожан в церкви Чарльстона в Южной Каролине, в стране поднялась волна протестов. Начались массовые сносы памятников конфедератам. Если ранее их рассматривали преимущественно как свидетельство особой идентичности южных штатов, определенной фронды по отношению к расположенным на севере федеральным властям, или просто как часть городской истории, то инциденты, подобные описанному выше, заставили часть общества увидеть в этих мемориалах монументально закрепленные символы «белого доминирования» [Gordon-Reed 2018: 5].

Тема рабства, обозначает автор, до сих пор является чувствительной для обсуждения. При этом А. Гордон-Рид позитивно отзывается об усилиях старейших университетов Америки: Гарварда, Принстона, Йеля, Брауна и т. д., по созданию специальных комиссий, курсов, площадок открытого диалога при кампусах для большего понимания прошлого и определения дальнейшего пути развития страны [Gordon-Reed 2018: 6]. Благодаря развитию правозащитных движений и активному участию в них как белого, так и чернокожего населения, со второй половины XX в. ситуация стала меняться. Афроамериканцы смогли улучшить свое социально-экономическое положение и стать полноценными субъектами политического поля.

Однако все еще сохраняющиеся полицейская жесткость и расиализация² в деятельности правоохранительных органов доказывают, что Четвертая поправка к Конституции США на практике распространяется не на всех. А полицейские расправы над чернокожими, носящими с собой оружие, в штатах, где такое ношение разрешено, ставят под вопрос право «цветных» пользоваться Второй поправкой к Конституции. Однако, для того, чтобы разобраться с этой проблемой, мало изучить рабство само по себе, нужно проанализировать его прочное и порочное наследие — превосходство белой расы, подчеркивает в заключении автор [Gordon-Reed 2018: 7].

В своей статье «От нацизма к “никогда больше”. Как Германия смогла примириться со своим прошлым» британский исследователь Ричард Эванс (профессор Грешем-колледжа, Лондон; автор книги «Третий рейх в истории и памяти») анализирует специфику формирования послевоенного немецкого исторического самосознания, а также трансформацию подходов к освещению темы «коллективной вины» на разных этапах нацистроительства после Второй мировой войны [Evans 2018: 8–17].

Он обращает внимание на то, что если в странах, подвергшихся немецкой оккупации (несмотря на стремление захватчиков сформировать марионеточные правительства из коллаборационистских элементов) возникали очаги и даже движения сопротивления нацистам, то население побежденной Германии не оказало никакого противодействия силам антигитлеровской коалиции. С переходом территории Германии под контроль союзных держав немцы словно забыли свою готовность умереть за «фюрера и фатерланд», безмолвным свидетельством чему остались только надписи на могильных плитах солдат, не увидевших крушения Третьего рейха. В свою очередь, стремясь свести к минимуму угрозу возрождения подобного рода античеловеческих режимов, державы-победительницы запустили т. н. программу денацификации, включившую в себя масштабную

² Термин «расиализация» используется в тех случаях, когда социальные взаимоотношения между людьми описываются с помощью такого акцентирования человеческих биологических характеристик, которое призвано определять и конструировать социальные общности.

кампанию по перевоспитанию немцев. Символическим оформлением ускоренного *переизобретения* немецкой политической культуры явилось принятое в 1947 г. Союзническим контрольным советом (СКС) решение о формальной ликвидации Пруссии, которая, как сообщалось в соответствующем документе «с первых дней своего существования была проводником милитаризма и реакции в Германии» [Evans 2018: 8].

Немцы в большинстве своем стремились предать забвению нацистское прошлое и переключиться на решение амбициозной задачи национального восстановления. 1945 г. многими из них расценен как «нулевой час» — время начать все заново. Заново, но не с чистого листа: впасть в коллективную амнезию и забыть о годах Третьего рейха населению послевоенной Германии никто бы не позволил.

Отсутствие среди стран-победительниц единого мнения относительно послевоенного устройства государства привело к разделению Германии на западноориентированную, капиталистическую ФРГ и советскообразную, социалистическую ГДР. С образованием двух немецких государств работа коллективной памяти многократно усложнилась. Тем не менее автор признает, что современная, объединенная с окончанием холодной войны Германия является страной «коллективного принятия моральной ответственности за чудовищные преступления своего недавнего прошлого» [Evans 2018: 9]. Материальным выражением этого «принятия» стали сохранение вещественных доказательств деятельности нацистов и установка новых памятников жертвам Третьего рейха. «Эти памятники, — отмечает автор, — выполняют больше, чем просто символическую функцию: перед лицом обретающих все большее влияние крайне правых групп и партий, которые отрицают современные немецкие нормы толерантности, стремятся положить конец тому, что полагают «заклеймением» Германии и поддерживают пагубные формы исторического ревизионизма, эти памятники прошлому работают как постоянные, неизбежные и беспощадные напоминания о правде» [Evans 2018: 10].

Сразу после окончания войны союзники постарались стереть с лица земли основные объекты, служившие символами национального величия и расового превосходства в гитлеровской Германии, во избежание превращения их в места паломничества не утративших симпатий к нацизму. Так были уничтожены здание имперской канцелярии и бункер Гитлера, откуда осуществлялось управление гарнизоном Берлина.

Однако если устранение из публичного пространства свастики и гербовых орлов не было связано с какими-либо значительными затруднениями, то совершенно иначе обстояло дело с такими пропагандистскими объектами, как «спортивное поле Рейха» — комплекс сооружений, предназначенных для проведения Олимпийских игр 1936 г., или же берлинский аэропорт Темпельхоф, названный архитектором Норманом Фостером «матерью всех аэропортов», поскольку примененные при его строительстве конструктивные решения в даль-

нейшем легли в основу аналогичных проектов³. После окончания Второй мировой войны и разделения Германии, в Темпельхофе обосновались американские войска, которые использовали его как «ворота жизни» для отрезанной от мира советскими войсками части Берлина. В то время самолеты взлетали и садились каждые 90 секунд — для крупного современного аэропорта это не удивительно, но для конца 1940-х гг. это был очередной мировой рекорд, побить который до расцвета пассажирской авиации никто даже и не пытался. Затем аэропорт закрывался и вновь открывался (только для малой авиации). В 2008 г. его официально закрыли для регулярного сообщения. Здание было законсервировано и переоформлено в культурный, медийный и творческий центр «Темпельхоф Форум ТНФ». А на летном поле был разбит парк площадью 300 гектаров с лужайками для пикников и шашлыков.

В первые послевоенные годы даже концентрационные лагеря Третьего рейха использовались как места интернирования нацистских офицеров и их пособников.

Анализируя специфические особенности преодоления прошлого в послевоенной Германии на разных исторических этапах, автор отмечает, что все же существовал некий предел готовности немцев расписываться в своей коллективной вине. Западные немцы «страдали от общей исторической и моральной амнезии в послевоенные годы: в редких случаях они упоминали нацистскую диктатуру, обычно все сводилось к утверждению о том, что они ничего не знали о соответствующих злодеяниях, и жалобам на несправедливые виктимизацию и унижение, следующие из программ денацификации и “правосудия победителей” при рассмотрении военных преступлений» [Evans 2018: 10]. В контексте рассуждений о Второй мировой войне многие с негодованием вспоминали ковровые бомбардировки германских городов союзниками, а также последовавшую за капитуляцией Германии депортацию около 11 млн немцев из Венгрии, Румынии, Польши и других восточноевропейских стран. Опрос общественного мнения, проведенный в Западной Германии в 1949 г., показал, что около 50 % населения оценивали нацизм как «хорошую, но плохо реализованную идею».

В свою очередь, лидеры Восточной Германии стремились к выстраиванию общественной солидарности на базе памяти о немецком движении коммунистического сопротивления нацизму, масштабы которого намеренно преувеличивались. Результатом такой политики стало отстранение жителей ГДР от разделения ответственности за преступления гитлеровского режима.

По мнению автора, ситуация в области политики памяти стала меняться в 1960-е гг. «Экономическое чудо ФРГ» позволило первому послевоенному поколению немцев полнее ощутить свою принадлежность к западному

³ Принципиально новая система, примененная проектировщиками, сегодня является золотым стандартом для любого аэропорта — отдельные уровни для зон прибытия и вылета, разделение грузовых и пассажирских перелетов, добавление конгресс-центров, ресторанов, офисных помещений и магазинов.

демократическому лагерю, и с этой позиции морального превосходства потребовать правды о периоде Третьего рейха от своих подчинившихся антидемократическому режиму отцов и дедов. К осмыслению нацистского прошлого активно приступил Институт новейшей истории Мюнхена. Ознаменованием поворота к критической оценке позиций немцев в эпоху Третьего рейха стал процесс по делу охранников концлагеря Освенцим во Франкфурте-на-Майне в 1963–1965 гг. Внимание всего мира приковал к себе суд над бывшим начальником отдела гестапо IV-B-4, «архитектором холокоста» Адольфом Эйхманом, прошедший в Иерусалиме в 1961 г. «Студенческое восстание» 1968 г. и приход к власти Социал-демократической партии (СДПГ) во главе с Вилли Брандтом создали условия для еще более открытой борьбы с призраком нацизма.

Возникшая в 1964 г. как антитеза этому движению Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) смогла добиться определенного успеха в конце 1960-х гг, собрав голоса на выборах в местные органы власти, однако, так никогда и преодолела пятипроцентный рубеж на федеральных выборах, позволяющий направить делегатов в немецкий парламент.

С переменами на внутривнутриполитическом фронте вопрос адекватного и морально приемлемого использования «реликтов» Третьего рейха вновь встал ребром. Р. Эванс детально описывает этапы общественной дискуссии, развернувшейся вокруг проблемы использования территории съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в Нюрнберге, которая только в конце первого десятилетия XXI в. все же была превращена в музей под открытым небом.

Те немногочисленные музеи, которые появлялись на месте бывших концентрационных лагерей Западной Германии, практически ничего не сообщали о чудовищных механизмах функционирования «фабрик смерти», подменяя честное и открытое обсуждение условий, которые сделали возможным Бухенвальд, Дахау и Аушвиц, выражением уважения к памяти жертв, увековеченной в отдельных композициях. Только под давлением инициативных групп, сформированных бывшими узниками концлагерей, власти ФРГ согласились открыть мемориальные комплексы в Дахау (1955), Берген-Бельзене (1966) и Нойенгамме (1981). Однако музейные экспозиции в пространстве бывших концлагерей соответствовали духу холодной войны и отражали западное представление об истинных ценностях: осуждались все тоталитарные режимы и затемнялся тот факт, что многие узники стали таковыми за то, что были коммунистами.

Обратная картина наблюдалась в Восточной Германии. Там аналогичные мемориальные комплексы акцентировали внимание экскурсантов на сопротивлении заключенных коммунистов, с которыми, как предполагалось, и должны были отождествить себя посетители.

Очередная трансформация в политике памяти оказалась сопряжена с падением Берлинской стены, на протяжении 28 лет бывшей зримым воплощением «железного занавеса», и объединением двух Германий в 1989–1990-х гг.

Мемориальному буму способствовала смена поколений: достигнув пенсионного возраста, удалились от дел те специалисты, которые противились интенсивным «раскопкам» прошлого в силу того, что сами начинали свою карьеру в период Третьего рейха [Evans 2018: 12].

Новая волна мемориальной активности охватила Германию. В 1992 г. берлинский художник Гюнтер Демниг начал работу над проектом «Камни преткновения»⁴, мемориалом, призванным напоминать людям о судьбах жертв нацизма. На сегодняшний день более 56 тыс. *Stolpersteine* было установлено в городах 22 стран, но подавляющее большинство, конечно, в Германии.

При формировании экспозиций в мемориальных комплексах на месте бывших концентрационных лагерей стал использоваться более объективный, в сравнении с периодом блокового противостояния времен холодной войны, подход. В 2005 г. в центре Берлина между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии, открылся памятник жертвам холокоста⁵. Под мемориальным полем, на площади в 800 квадратных метров, расположен информационный центр, где собраны архивные материалы, рассказывающие посетителям о холокосте, его причинах и последствиях. Здесь, в частности, представлен список из израильского мемориального комплекса Яд Вашем, содержащий более трех миллионов имен погибших евреев.

Безусловно, констатирует автор, в Германии слышны голоса тех, кто настаивает на том, что немцы переборщили с покаянием, но они все еще представляют собой меньшинство. И эта точка зрения не находит воплощения в государственных мемориальных комплексах.

⁴ В память о 50-й годовщине депортации кельнских цыган в концентрационные лагеря рейха Г. Демниг заложил в брусчатку перед зданием Ратуши в Кёльне первый «камень преткновения» — бетонный кубик 10 × 10 сантиметров, обитый латунными пластинами, с коротким текстом на одной из граней. Как говорит сам Демниг, продолжать и развивать проект его побудил разговор с пожилой немкой, прожившей в Кёльне всю войну, но по сей день уверенной в том, что никаких цыган в городе не было, как и упомянутой депортации. Тогда у художника и появилась идея устанавливать «камни преткновения» с именами, датами жизни и местом смерти жертв нацизма перед домами, откуда их увозили в тюрьмы и лагеря.

⁵ На площади в 19 тыс. квадратных метров, сопоставимой с двумя футбольными полями, в шахматном порядке установлены 2711 бетонных «домино» различной высоты — от 0,2 до 4,7 метров. Человек, желающий осмотреть мемориал, окажется в каменном лабиринте, выход из которого нужно найти самостоятельно. Эффект потерянности — часть авторской концепции создателя мемориала, американского архитектора Питера Айзенмена. Споры о том, где, кем и как должен быть построен памятник европейским евреям, продолжались почти десять лет, пока немецкий Бундестаг не принял окончательное решение в 1999 г. Строительство мемориала началось осенью 2001 г. и продолжалось почти три года. Питер Айзенмен известен как изобретатель собственного «эзотерического» стиля, примыкающего к деконструктивизму. «Бессмысленность и безутешность не могут быть выражены средствами классической архитектуры», — сказал мастер на торжественном открытии мемориала, объясняя свою творческую позицию.

Продолжается дискуссия вокруг судьбы тех памятников, что достались Германии от Третьего рейха. В качестве примера подобного конфликтогенного сооружения Р. Эванс приводит находящийся в самом центре Гамбурга, неподалеку от вокзала Даммтор, памятник, непочтительно именуемый многими «Кригсклотц» — «военный чурбан». Он был создан он был в 1936 г. в честь солдат, погибших в Первой мировой войне. Некоторые считают, что украшающая его надпись — «Германия должна жить, даже если мы должны умереть» — порождение милитаристской пропаганды национал-социалистических времен. С тем, чтобы сгладить это впечатление власти Гамбурга поручили известному скульптору Альфреду Хрдличке создать в этом же месте «антимонумент» — напоминание о жертвах Второй мировой войны, в особенности о 40 тыс. жителей города, погибших в ходе бомбардировок Гамбурга силами союзников в 1943 г. Незавершенный по финансовым причинам памятник авторства Хрдличке тем не менее сводит на нет милитаристский пафос мемориала 1936 г., напоминая, что война — это не славное и героическое приключение.

Не вызывает удивления, что понимание непомерной цены войн пронизывает всю современную политическую культуру Германии. «С 1945 г. ни одна европейская страна не демонстрировала большего пацифизма или большего неприятия вооруженных интервенций за пределы государства. Ни одна страна не придавала большего веса стабильности и преемственности — предпочтение, наиболее четко выраженное в знаменитом выборном слогане Аденауэра 1950-х гг. — «Никаких экспериментов!» И никакая другая европейская страна не была столь благосклонна к иммигрантам и лицам, ищущим убежища...», утверждает автор [Evans 2018: 14]. В сегодняшних условиях миграционного бума, спровоцированного событиями на Ближнем Востоке, эти столь дорого обошедшиеся Германии ценности подвергаются крайне жесткой проверке. Выражением кризисных тенденций в немецком обществе стало появление на общественно-политической арене правопопулистского движения «Европейцы-патриоты против исламизации Старого Света» («ПЕГИДА»), а также недавний успех консервативной и евроскептической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), ставшей по итогам выборов 2017 г. третьей по численности партий в Бундестаге. Причем, как отмечает автор, эти проекты пользуются большей поддержкой именно в Восточной Германии, что свидетельствует о провале программы идеологизации населения, осуществлявшейся прокоммунистическим руководством ГДР. Тем не менее ПЕГИДА и АдГ не сумели разрушить национальный консенсус относительно нацистского прошлого.

«Очевидно, что угроза правого популизма в Германии значительно слабее, чем в ряде других европейских стран», — утверждает автор. Попытки заигрывания с темой нацизма, провокационные высказывания некоторых деятелей партии, типа хвалебных слов в адрес солдат вермахта, раскалывают даже праворадикальные партии. Так, одна из лидеров АдГ Фрауке Петри заявила, что покинет партию, а в Бундестаге, в который она избралась по одномандатному

округу, будет независимым депутатом. Такое же решение принял ее муж Маркус Претцель, также один из старейших членов АдГ. Политики объяснили свои действия разногласиями с более радикальным крылом партии. Так что хотя АдГ заявила, что хочет покончить с немецким чувством вины за Третий рейх, с учетом насыщенности публичного пространства страны массой мемориальных комплексов, посвященных жертвам нацизма, не вполне понятно, как это может произойти. «Когда дело касается признания грехов прошлого, у Германии в конечном итоге, — резюмирует автор, — нет альтернативы» [Evans 2018: 15].

В статье заместителя председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никиты Петрова «Память, молчи! Как Россия репрессировала свое прошлое», российская власть обвиняется в намеренном сокрытии постыдных страниц истории страны сталинского периода, предпринимаемом с целью максимально снизить нетерпимость общества к современным авторитарным тенденциям в отечественной политике [Petrov 2018: 16–21].

В качестве маркера «нового поворота в политике памяти» приводится прозвучавшее из уст В. В. Путина во время его первой инаугурации в 2000 г. утверждение, что «в нашей истории были и трагические, и светлые страницы».

В статье критикуется декларативность предложенной правительством в 2015 г. «Программы увековечения памяти жертв политических репрессий». Отмечая важность состоявшегося в рамках реализации этой программы открытия «Стены скорби», мемориала жертвам советского тоталитаризма, автор одновременно поддерживает тех правозащитников, которые выражают скептицизм относительно способности российского правительства признать прошлое. Он указывает на «растущее количество случаев нарушения прав человека и на то, что архивы, в которых содержатся документы о преступлениях спецслужб, закрыты по сей день» [Petrov 2018: 17]. По его мнению, возможность посчитаться с преступлениями советской власти была упущена, когда Конституционный суд, позволив Ельцину ликвидировать КПСС, «не поставил перед собой задачу определить, нарушала ли КПСС какие-либо законы, а потому не дал никакой оценки преступлениям, совершенным партией или ее лидерами» [Petrov 2018: 18]. Попытки российского правительства вмешаться в ход судебных процессов, подобных тем, что проводятся в Эстонии и Латвии над бывшими советскими военнослужащими, обвиняемыми в геноциде и военных преступлениях, автор полагает недопустимыми.

«Официальное признание преступных деяний как самого Сталина, так и системы, которой он руководил, играет важную роль, — заявляет Н. Петров, — поскольку оно помогло бы не допустить возвращения государства к политике, которая сделала возможным возникновение сталинского режима. В современной России, с ее глубоко укоренившейся традицией авторитаризма, опасность возвращения к дурным привычкам вполне реальна» [Petrov 2018: 18].

Правительство РФ упрекается в том, что оно рассматривает историю, как «инструмент продвижения идеологии государства» [Petrov 2018: 19]. Пространством, где проявляется архаичность идей российских лидеров, становится, по мнению автора, внешняя политика. Посредством своей пропаганды Кремль провозгласил «исключительную природу русского народа и его истории, а также особую значимость объединения всех русскоязычных людей независимо от места их проживания. Все это служит оправданием российского экспансионизма за рубежом и внутри страны» [Petrov 2018: 20–21].

Впрочем, для автора, утверждающего, что «рабский менталитет глубоко укоренился в русских умах наряду с латентным монархизмом и патернализмом» [Petrov 2018: 21], право современной России на «историческое заблуждение» для сплочения нации и на отстаивание собственной позиции на международной арене явно представляется не бесспорным. «Пока Россия отказывается официально признавать темные моменты своего прошлого, ее будут преследовать идеи, которым давно пора кануть в Лету», — предостерегает Н. Петров [Petrov 2018: 21].

О цензуровании научных исследований и воспоминаний участников и очевидцев неоднозначных в моральном плане событий общенационального масштаба в своей статье «Китайская дымовая завеса. Когда коммунисты переписывают историю» рассказывает Орвилл Хикок Шелл III — гражданский активист, писатель, а также директор центра американо-китайских отношений в «Обществе Азии» в Нью-Йорке [Schell 2018: 22–27].

1 октября 1949 г. в Пекине на площади Тяньаньмэнь Мао Цзэдун провозгласил «Новый Китай». Четыре десятилетия спустя это поистине священное для китайской государственности место в сознании международного сообщества оказалось накрепко связано с жестоким подавлением студенческих протестов армией «народной республики». Однако «перекосы», допущенные властями в процессе строительства социализма, так и не стали предметом открытого обсуждения в экспертном сообществе современного Китая.

В инициированной Коммунистической партией Китая (КПК) охоте на «внутренних врагов» от преследования сторонников побежденного Гоминьдана власти достаточно быстро перешли к разоблачению «предателей» внутри самой компартии. Кампания «Большого скачка», заключавшаяся в проведении индустриализации городов за счет крестьянства, обернулась периодом ужасающего голода, который в официальной китайской историографии осторожно именуется «тремя горькими годами». Мао вернулся к реальной власти только несколько лет спустя, устроив «Великую пролетарскую культурную революцию», целью которой было провозглашено тотальное избавление от «четырёх пережитков»: отживших традиций, культуры, порядков, идей. На практике это привело к серьезным социально-экономическим потрясениям, вылившимся в масштабный террор, зримым символом которого стали физические истязания «контрреволюционеров» во время публичных самосудов. Точное число жертв «культурной революции» до сих пор неизвестно.

Сегодня Китай наслаждается периодом относительной стабильности. КПК пропагандирует идею «гармоничного общества», а не классовую борьбу, и прославляет благополучие, достигнутое через насилие. Не специалист по истории страны может подумать, что Китай расплатился по долгам прошлого, нашел способ излечить раны истории и двигаться дальше. Но это далеко не так [Schell 2018: 22].

Несмотря на все причиненные ей страдания, КПК так и не выпустила ни одного официального заявления с признанием вины, не говоря уже о том, чтобы допустить мемориализацию собственных жертв. И в силу того, что любое действие в формате «*mea culpa*» несет с собой риск подрыва легитимности правящей политической партии, ничего подобного не произойдет до тех пор, пока последняя остается у власти [Schell 2018: 23].

При нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине впервые со времен Дэн Сяопина стала невозможна критика Мао Цзэдуна. Лидер китайской нации утверждает, что нападки на тоталитарный Китай Мао контрпродуктивны, ведь без этого периода не были бы возможны реформы открытости.

Жесткая цензура со стороны Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая в отношении СМИ и сети учреждений культуры оборачивается устранением из пространства публичного обсуждения наиболее противоречивых и драматических эпизодов недавнего прошлого страны. «Поддержание “правильной” версии истории не только требует тоталитарного контроля, но и лишает китайских граждан возможности увидеть, проговорить, осознать и принять моральные последствия совершенного в их отношении, а также того, что они были вынуждены сделать сами себе и один — другому», — предупреждает О. Х. Шелл [Schell 2018: 23].

Масштабы ведущейся КПК работы по переписыванию прошлого высветило недавнее исследование специалиста по Китаю из Университета Мичигана Глена Тифферта. Он выяснил, что два цифровых архива — Китайская национальная инфраструктура знаний (The China National Knowledge Infrastructure, CNKI) связанная с Университетом Цинхуа, и Национальная база данных по социальным наукам, финансируемая китайским правительством, — «потеряли» один и тот же блок из 63 статей, опубликованных в период с 1956 по 1958 г. двумя китайскоязычными научными журналами. Пострадали преимущественно статьи, авторы которых отклонились от канонической партийной линии «умолчания» в трактовке прошлого. Таким образом, эти работы остались только в библиотеках отдельных заграничных институтов, где еще хранятся подборки соответствующих журналов, однако обычному среднестатистическому гражданину КНР данные «спорные» материалы недоступны [Schell 2018: 23–24].

В статье цитируется высказывание астрофизика и диссидента Фан Личжи об осуществляемых под руководством государства «изъятиях»: «Цель этой политики заключается в том, чтобы заставить все общество забыть свою историю, и в особенности истинную историю самой КПК... В попытке удерживать всех

граждан в состоянии перманентного забвения, политика требует, чтобы никакой эпизод истории, не отвечающий интересам КПК, не был выражен ни в одном выступлении, книге, документе или каким-либо иным способом». Эти слова Фан Личжи произнес после «бойни» на площади Тяньаньмэнь, а десять лет спустя китайский художник и политический активист, выступающий с острой критикой правящей партии Ай Вэйвэй повторил фактически то же самое, но в еще более жесткой форме: «Поскольку нет никакого обсуждения этих событий, китайские граждане все еще имеют мало представления об их последствиях. Цензура в конечном итоге стерилизовала общество, превратив его в поврежденного, иррационального, лишенного цели кадавра» [Schell 2018: 24].

Автор находит справедливым заключение бывшего корреспондента ВВС в Пекине Луизы Лим, назвавшей КНР «Народной республикой амнезии». Этот «диагноз» она вынесла в заголовок своей опубликованной в 2014 г. книги⁶, посвященной 25-летней годовщине трагических событий в Пекине. В ней она опрашивает родственников убитых на площади, впервые в истории берет интервью у главы китайской благотворительной организации «Матери Тяньаньмэнь», а также рассказывает о судьбе партийных функционеров, дети которых были застрелены 4 июня. Отдельная часть книги — интервью с молодыми китайскими националистами, которые, как выяснилось, не имеют ни малейшего представления о студенческих волнениях 25-летней давности.

Но действительно ли обществу идет на пользу коллективное припоминание драм собственного прошлого? Не откроет ли подобная ретроспекция старые раны и не приведет ли к возобновлению старых противостояний? Такими вопросами задается О. Х. Шелл, соотнося их с идеями, высказанными Дэвидом Риффом в книге «Хвала забвению», в которой тот ставит под сомнение современную интерпретацию известного высказывания Джорджа Сантаяны: «Забывающий прошлое обречен на его повторение». Представления о моральности памяти и аморальности забвения придерживаются все организации по защите прав человека, ООН, ЕС и т. п. Однако Д. Рифф видит свою задачу в том, чтобы напомнить о важности такого процесса, как *переосмысление* памяти. Он утверждает, что воспоминания о прошлом не всегда исцеляюще воздействуют на социум, и необходимо в каждом отдельном случае принимать решение о целесообразности или вреде памяти. Фактически основной пафос книги Д. Риффа сводится к утверждению независимости друг от друга таких категорий, как мир и справедливость. Коммунистическая партия Китая, по мнению О. Х. Шелла, хотела бы, чтобы народ, которым она управляет, — а также остальная часть мирового сообщества — приняли эту «риффовскую» логику и сочли уклонение от встречи с жестокой правдой относительно прошлого лучшей стратегией нациестроительства. То есть на практике КПК реализует чисто инструментальный подход к прошлому, где важную роль играет

⁶ Lim L. The People's Republic of Amnesia. Tiananmen revisited. — New York, 2014.

осознанное и целенаправленное сокрытие ряда эпизодов истории. Ученые, «принижающие роль партии и ее героев», называются «историческими нигилистами»⁷. Под это определение попадают критики марксизма и социализма, а также истории компартии. Нападками на наследие Мао Цзэдуна коммунисты считают аналитические статьи о «Голодоморе» 1958–1962 гг. или об издержках «Культурной революции» 1960–1970 гг. В 2017 г. китайский парламент дополнил Гражданский кодекс статьёй о наказании граждан за распространение сведений, «порочащих героев и мучеников» революции Мао Цзэдуна, а также за «искажение истории партийных подвигов». «Оскорбление имени, образа, репутации или чести героев и мучеников идет во вред общественным интересам и должно наказываться в рамках гражданского кодекса», — говорится в новой статье, которая должна вступить в силу вместе с Гражданским кодексом к 2020 г.⁸ [Schell 2018: 24–26].

Цитируя Г. Тифферта, автор отмечает, что «китайское правительство эффективно использует технологии, экспортируя свои цензурные ограничения за границу... манипулируя тем, как эксперты повсеместно осмыслиют прошлое, настоящее и будущее [КНР]» [Schell 2018: 26]. Летом 2017 г. Пекин вынудил издательство *Cambridge University Press* удалить из своего цифрового архива англоязычного журнала *The China Quarterly* 300 статей, вызвавших неодобрение со стороны КПК. В ноябре 2017 г. *Springer Nature*, издающий такие журналы, как *Nature* и *Scientific American*, удалил с регионального сайта своих изданий в общей сложности около 100 статей, содержащих «политически некорректные» высказывания. В основе такого разворачивающегося даже в международных масштабах утаивания прошлого, по мнению О. Х. Шелла, лежит представление КПК об отсутствии на практике т. н. универсальных ценностей, которые альтернативно ассоциируются у всех с демократией и правами человека и которые партийное руководство воспринимает как нечто навязанное Китаю Западом с единственной целью подорвать сложившуюся в государстве систему власти. Однако если бы универсальных и понятных каждому ценностей действительно не существовало, у Пекина не было бы оснований опасаться честного

⁷ Лидер КНР Си Цзиньпин еще в 2016 г. подчеркивал необходимость для компартии сохранения собственной интерпретации истории. Он обозначал, что история распада СССР должна стать для КПК предупреждением о последствиях осуждения вождей революции.

⁸ Новый закон вступает в противоречие с более ранним заявлением компартии Китая, которая уже официально признала, что «Культурная революция» Мао Цзэдуна была ошибочной как в теории, так и на практике. Об этом говорилось в большой статье «Жэньмин жибао», опубликованной в 2016 г. сразу после того, как во всем мире отметили 50-е со дня начала драматических событий «Культурной революции». В 1981 г. КПК официально провозгласила «Культурную революцию» катастрофической ошибкой. Однако эта тема, как и «Голодомор», остается чувствительной для компартии Китая, а власти запрещают СМИ проводить любые расследования по этим вопросам.

разговора о своем прошлом, заявляет автор. Но поскольку КПК доходит до предела в своих попытках вытравливания из коллективной памяти «черных» эпизодов собственной истории — возникает противоречие: руководство партии испытывает если не чувство вины, то, по крайней мере, ощущение стыда при мысли о возможном раскрытии содеянного ранее. Возможно, в будущем китайский режим будет вынужден встать на путь признания и даже осуждения того, что КПК осуществила в КНР. Но на среднесрочную перспективу подобное развитие событий представляется автору маловероятным. «Даже если когда-либо подобная практика будет поддержана лидерами КНР, ее эффект окажется не особо драматичным, поскольку на протяжении такого большого периода времени соответствующие попытки подавлялись и сдерживались». Приводя цитату Лю Сяобо — единственного китайского лауреата Нобелевской премии мира — О. Х. Шелл резюмирует: «Глаза, слишком долго смотревшие в темноту, нелегко привыкают к спящему солнечному свету, неожиданно врывающемуся в окна» [Schell 2018: 27].

Известная южноафриканская писательница и общественный деятель Сисонке Мсиманг в критическом эссе «Все не прощено. Южная Африка и шрамы апартеида» обращает внимание на структурные недостатки столь «широко разрекламированного» процесса национального примирения и поиска правды (truth-and-reconciliation process), последовавшего за официальным отказом руководства ЮАР от политики расовой сегрегации [Msimang 2018: 28–34].

Несмотря на все усилия пришедшего к власти в 1994 г. Африканского национального конгресса (АНК) — партии, основанной еще в 1912 г. и представляющей интересы черного населения Южной Африки, — по формированию пространства открытого обсуждения нарушений прав человека институциональные аспекты наследия апартеида все еще остаются без должного внимания. «Сегодня, — отмечает С. Мсиманг — многие ретроспективно оценивают этот процесс [национального примирения и поиска правды] как тщательно срежиссированную постановку — спектакль, имеющий отношение преимущественно к внешней стороне установления истины, а не содержательному наполнению этой истины» [Msimang 2018: 28].

Кратко описывая историю становления, развития и обстоятельства падения режима апартеида, провозглашенного правящей Национальной партией в 1948 г. и просуществовавшего фактически до избрания первого черного президента, лидера АНК Нельсона Манделы, автор отмечает, что в современной ЮАР «оформление справедливости всегда значило намного больше самой справедливости» [Msimang 2018: 29–30].

Отдав предпочтение дипломатическим методам решения конфликта, Нельсон Мандела и его единомышленники предотвратили гражданскую войну и сумели избавить белое население страны от преследования. «Взносом» белых в эту сделку должна была стать их готовность принять на себя полную моральную ответственность за преступления, совершенные в отношении чернокожих

жителей государства в годы апартеида. С целью юридического закрепления этого решения правительством была создана Комиссия правды и примирения (Truth and Reconciliation Commission), в задачи которой входили обличение преступлений апартеида, наказание виновных и компенсация потерпевшим. Тем же законом, по которому создавалась Комиссия, были определены условия амнистии, для замешанных в преступлениях апартеида. Прежде всего, произошел отказ от «амнистии списком», т. е. амнистии всеобщей и безусловной. Также не шло речи о персональной амнистии: никогда не амнистировался индивид, но амнистировалось действие. Было обозначено два условия амнистии за действия: 1) это было действие, бездействие или преступное поведение, «связанное с достижением политических целей (associated with a political objective) в ходе прошлых конфликтов» в период между 1 марта 1960 г. и «окончательным сроком разрыва» (firm cut-off date) 10 мая 1994 г.; 2) «кандидат на амнистию полностью признался во всех фактах своей деятельности». Тем, кто добровольно рассказывал о своем участии в преступлениях апартеида и мог мотивированно объяснить собственные поступки давлением существовавшего на тот момент политического режима, Комиссия предоставляла своего рода «карту амнистии».

В основе работы Комиссии лежала идея о том, что правда представляет собой первый необходимый шаг к исцелению. Впервые за всю историю ЮАР белым пришлось выслушать черных. Жертвам предоставили право лично опрашивать своих преследователей, которые, в свою очередь, были обязаны рассказывать все, не утаивая ни малейшей детали, «в интересах национального сплочения и примирения». Таким образом, по словам Сисонке Мсиманг, для многих черных людей, чьи жизни на протяжении десятилетий были подчинены прихотям стоящих на вершине социальной лестницы белых, «Комиссия предложила больше, чем просто правду, она предоставила шанс восстановить свое достоинство» [Msimang 2018: 31].

В работе Комиссии был ярко выражен элемент исповедальности: «грешники» приходили на слушания в поисках отпущения грехов, а их жертвы — в стремлении отпустить свою боль через прощение. Некоторые участники рассматривали эти публичные слушания как своеобразное религиозное действие. Соответствующий общественный настрой активно поддерживал председатель Комиссии, англиканский архиепископ Десмонд Туту, рассуждавший в своих интервью о «чуде» раскаяния и прощения, свидетелем которого ему довелось стать. «Неоднократно, — заявил он в одном из своих выступлений 1997 г. — я чувствовал, что мы должны снять обувь нашу с ног наших, ибо место, где мы стоим, есть земля святая». Давний друг и соратник Манделы, он даже написал книгу с говорящим названием «Нет будущего без прощения». На протяжении всего времени периода работы Комиссии ЮАР воспринималась международным сообществом и позиционировалась на мировой арене, как страна, где «правда восторжествовала над трагедией» [Msimang 2018: 32].

«Но, фетишизируя индивидуальные случаи нарушения прав человека, — уточняет Сисонке Мсиманг, — [Комиссия] отступила перед структурными последствиями апартеида» [Msimang 2018: 32]. Обращаясь к работам профессора Махмуда Мамдани, бывшего главы Совета по развитию экономических и социальных исследований в Африке (CODESRIA) (1999–2002), автор указывает, что Комиссия оставила без внимания проблему постепенного обнищания чернокожего населения, которая в действительности является прямым следствием дискриминационной политики белых властей ЮАР. Как утверждает Мамдани, неготовность южноафриканских властей расширить полномочия Комиссии до изучения широкого спектра политически обусловленных форм дискриминации (ограничение на передвижение; запрет на прохождение в районы проживания белого населения без специального разрешения; запрет смешанных браков; запрет на участие в выборах; раздельный и неравный доступ к услугам здравоохранения и образования) привела к «к отказу от рассмотрения апартеида как чего-то испытанного широкими массами населения ЮАР» [Msimang 2018: 32].

Вместо того чтобы изменить способы взаимодействия на всех уровнях социальной структуры через реальную трансформацию конфликта, «прощение сделали национальной мантрой, а примирение — официальной идеологией, — констатирует автор. — Критерием прогресса в области нациестроительства стала степень продвижения по пути “отпущения грехов”. Чтобы стать “хорошим” юаровцем, Вам следовало оставить гнев и ярость в прошлом. Новые власти были так обеспокоены тем, что страна утонет в горечи, что не оставили достаточного пространства для обсуждения несправедливостей, сохраняющихся по сей день» [Msimang 2018: 32–33]. Сегодня, продолжает автор, белые юаровцы кажутся охваченными «коллективной амнезией». Этот растущий цинизм она связывает с «чувством, что для белых падение режима апартеида не стало сигналом конца их привилегированного положения, точно так же как это не стало знаком прекращения страданий для большей части чернокожего населения» [Msimang 2018: 33].

Дисбаланс в доходах, уровне доступа к системе социального обеспечения, который определял расовые отношения периода апартеида продолжает сохраняться. Согласно национальному опросу общественного мнения, проведенному в 2015 г., 60 % белых респондентов указали, что располагают финансовыми ресурсами, позволяющими им достигать поставленных целей; при этом только 43 % черных и 26 % цветных также ответили на этот вопрос [Msimang 2018: 33].

По прошествии десятилетий стало очевидно, что не может быть никакого значимого улучшения в расовых отношениях без ликвидации закрепившейся системы экономического неравенства. В то время как экономика ЮАР за период правления Джейкоба Зумы оказалась в состоянии стагнации, нерешенный вопрос примирения разъедает общество точно ржавчина. Если доля безработ-

ных среди черных составляет около 31 % и 23 % — среди цветных, то для белых данный показатель не превышает 7 %. И это всего лишь вопрос времени, предупреждает автор, когда накапливающееся раздражение сплетением экономического и расового неравенств, подкрепленной тяжелой исторической памятью, вырвется наружу. В силу этих причин, резюмирует С. Мсиманг, власти страны уже сейчас должны задуматься о внесении фундаментальных изменений в структуру собственности и контроля над экономикой в пользу автохтонного населения ЮАР и не ставить при этом «страхи меньшинства выше потребностей большей части населения» [Msimang 2018: 34].

По прошествии более чем двадцати лет со времени геноцида в Руанде Фил Кларк (Школа восточных и африканских исследований при Лондонском университете) в статье «Восстановление Руанды. Когда воспоминание становится официальной политикой» оценивает проводимую властями страны политику памяти с точки зрения ее соответствия декларируемой задаче достижения общенационального примирения [Clark 2018: 35–41]. При этом автор пытается выйти за границы традиционных рапортов об успехах и обозначить те неочевидные риски, которые несут в себе предписанные коммеморативные практики поминовения жертв этой страшной трагедии. Несмотря на большое количество музеев и мемориалов внутри страны, история чудовищного по масштабу жертв и примененного насилия⁹ конфликта между общинами тутси и хуту все еще остается «рассказанной не до конца».

Кровавые события в этой небольшой республике Восточной Африки начались 7 апреля 1994 г. после того, как днем ранее неизвестными был сбит самолет президента — представителя общины хуту Жювенала Хабиаримана. Пришедшее к власти временное правительство, состоящее из представителей народности хуту, обвинило в произошедшем тутси, меньшинство населения Руанды. Отряды ополчения и обычные граждане хуту взялись за мачете и начали массовое истребление тех, к кому десятилетиями испытывали зависть как к занимавшим более привилегированное положение в системе социальной стратификации. Всего за сто дней, по данным ООН, были убиты более 800 тысяч человек. А уже 4 июля 1994 г. силы Руандийского патриотического фронта (РПФ), созданного убежавшими в соседнюю Уганду тутси, под командованием Поля Кагаме взяли город Кигали. Они положили конец трагическим событиям, а их лидер стал президентом страны [Clark 2018: 35].

Сегодняшняя Руанда представляет собой удивительное пространство: три четверти тех, кто сразу после прихода к власти РПФ, был арестован за участие в преступлениях геноцида, полностью реинтегрировались в национальное сообщество. Ни в одном другом государстве мира нет такого количества

⁹ По оценке французского историка Жерара Прюнье, повседневная интенсивность геноцида в Руанде «по меньшей мере, в пять раз» превосходила темпы уничтожения жертв в немецких лагерях смерти (Prunier G. *The Rwanda Crisis: History of a Genocide*. — New York, 1995. — P. 261).

лиц — участников массовых зверств, которые бы проживали бок о бок со своими жертвами. Казалось бы, это вынужденное и крайне тесное соседство несет в себе угрозу возобновления насилия, однако подавляющее большинство граждан сделало осознанный выбор в пользу отказа от мести и преодоления прошлого.

Создание новой общности *руандийцев*, а не представителей хуту или тутси, стало ключевым элементом процесса социальной реконструкции страны после геноцида, а также залогом национального единства и примирения ранее враждовавших групп. Активная вовлеченность государства в постконфликтное урегулирование, выражающаяся, в числе прочего, в работе с коллективной исторической памятью, обусловила относительно спокойный, в сравнении с соседними Бурунди, Конго и Угандой, переход народа к примирению. Однако, с точки зрения автора, такое агрессивное вмешательство властей в личную жизнь граждан и жесткий отбор допустимых при осмыслении произошедшей трагедии эмоций подчас даже препятствуют искреннему принятию прошлого [Clark 2018: 36].

В 2000-х гг. правительство Руанды разработало четырехэтапную стратегию «излечения» страны, включавшую в себя такие стадии, как коммеморация, воспитание в духе гражданственности, социально-экономическое развитие и примирение через установление справедливости. За прошедшие 15 лет автор провела более 1000 интервью с обычными руандийцами, в том числе панельное обследование 20 респондентов разного этнического происхождения, которые повторно опрашивались каждые 18 месяцев с тем, чтобы выяснить, как со временем меняется отношение людей к проводимой государством политике памяти. Подавляющее большинство респондентов оценило государственную стратегию преодоления социального раскола как успешную, но при этом выявилось, что многие руандийцы чувствуют себя перегруженными шквалом правительственных постгеноцидных программ. Люди жаловались на усталость и говорили, что предпочли бы оказаться предоставленными самим себе, чтобы иметь возможность обратиться к прошлому в более личной манере [Clark 2018: 36].

Для выстраивания новой системы правосудия Комиссия по национальному единству и примирению (КНЕП) успешно формализовала традиционные социальные институты Руанды, в частности, «ингандо» — собрание членов общин для обмена мнениями по вопросам войны и мира. В доколониальный период посредством ингандо король мобилизовывал население при наступлении различных бедствий. Сегодня на расширенных сессиях ингандо обсуждаются истинные причины геноцида, роль иностранных держав в случившемся и значение национального гражданского единства для успешного будущего новой Руанды.

Эти же темы были интегрированы в учебную программу средней школы Руанды. Соответствующее решение было принято только в 2008 г., поскольку до это-

го в силу аберрации близости эксперты не могли выработать пригодного для целей государственного строительства нарратива о случившемся. До сих пор учителя жалуются, что при обсуждении геноцида им приходится обходить такие противоречивые вопросы, как: можно ли считать произошедшее примером реверсивного насилия, и должно ли нести за него ответственность все сообщество хуту или же только военные и политики. Отдельного рассмотрения требует тема жертв среди самих хуту.

Признав социально-экономическое неравенство основным драйвером геноцида, правительство сделало все для уменьшения неравенства этнических групп. С 2000 по 2015 г. Руанда почти вдвое снизила смертность новорожденных, совершив по признанию специалистов ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) «одно из самых больших достижений в истории человечества».

На атмосфере в обществе положительно сказалась внедренная новым правительством практика создания совместных, объединяющих туту и хуту, производственных кооперативов. Как отметил председатель одного из таких предприятий: «Легко произнести слова примирения. Действия, вот, что действительно имеет значение. Долгие часы совместной работы расскажут вам все, что таится в сердцах людей» [Clark 2018: 40].

Хуту, как утверждает автор, видят, что власти помогают им не в меньшей мере, чем тутси, что, безусловно, способствует устранению из социальных отношений обид и зависти, которые раскалывали руандийскую нацию на протяжении десятилетий [Clark 2018: 38].

В 2001 г. для решения проблемы, связанной с наличием тысяч обвиняемых, ожидающих суда в рамках национальной судебной системы, правительством Руанды была восстановлена традиционная система местных общинных судов под названием «гачача». Санкции, которые могли наложить эти народные трибуналы, были минимальны по сравнению с наказанием, которое выносилось в рамках обычной юридической системы. Несмотря на изначальные опасения таких правозащитных организаций, как *Human Rights Watch* и *Amnesty International*, что подобная формализация автохтонных практик обернется стихийными коллективными расправам и всплесками «правосудия толпы», слушания в системе судов «гачача» способствовали примирению путем предоставления возможности жертвам узнать правду о смерти членов их семей и родственников. Они также давали возможность виновным признаться в своих преступлениях, выразить раскаяние и попросить прощения у своей общины. Суды «гачача» завершили свою миссию в 2012 г. При этом, как отмечает автор, наиболее распространенной реакцией как подозреваемых, так и выживших жертв на прекращение работы «гачача» стало чувство облегчения. Многие жаловались, что интенсивность и частота правительственных программ коммеморации, в частности, необходимость выделять один день в неделю на участие в общинных судах, мешали им заняться восстановлением собственной жизни и отвлекали от повседневных, но не менее важных обязанностей [Clark 2018: 39].

Постепенно произошло смещение акцентов в политической повестке дня: от обсуждения тяжелого наследия геноцида власти перешли к выстраиванию перспектив на будущее. В фокусе внимания оказались задачи модернизации экономики, региональной интеграции и уменьшения зависимости от иностранной помощи. Это нашло отражение даже в изменении сюжетных линий самого популярного в Руанде мелодраматического радиосериала *Musekeweya*, что в переводе означает «Заря нового дня», повествующего о двух вымышленных африканских деревнях, между жителями которых разворачиваются поистине шекспировские страсти. Количество эпизодов, вдохновленных трибуналами «гачача», уменьшилось, и стали подниматься более общие вопросы любви, доверия, травмы и социальных условий конфликта [Clark 2018: 39–40].

Признавая заслуги правительства Кагаме, автор констатирует, что, несмотря на отдельные все еще сохраняющиеся противоречия и горькую память, никто в Руанде не допускает возможности повторения трагедии 1994 г. Этому способствовали деятельность судов «гачача», давших выход людской ярости и страданиям, а также уменьшение социально-экономического неравенства между двумя основными этническими группами страны и последовавшее за этим резкое снижение напряженности в их отношениях.

Однако со ссылкой на работы руандийского исследователя Эммануэля Сарабве, Ф. Кларк отмечает, что Руанда столкнулась с широким распространением новых форм конфликтов, включая домашнее и сексуальное насилие, а также кровную месть. Многие из этих проблем уходят своими корнями в историю геноцида и объясняются психологической травматизацией руандийского общества.

Основной угрозой стабильному постконфликтному развитию Руанды, по мнению автора, является снижение темпов демократизации и наметившаяся тенденция к «закручиванию гаек» со стороны руководства республики.

В августе 2017 г. в Руанде прошли очередные президентские выборы. Результаты не были неожиданными — победил лидер страны П. Кагаме, получивший почти 99 % голосов избирателей. Выборам предшествовала длительная подготовка. Еще в 2015 г. был проведен референдум (инициированный серией петиций о предоставлении П. Кагаме права баллотироваться на третий срок), одобрявший поправки к Конституции. Одна из них позволила П. Кагаме в третий раз участвовать в выборах в качестве кандидата. Парламент единогласно утвердил результаты референдума. Таким образом, П. Кагаме останется у власти до 2024 г. А с 2024 г. меняется (по другой поправке) срок пребывания президента у власти — вместо 7 лет он составит 5. Так что П. Кагаме сможет еще два раза принимать участие в борьбе за президентское кресло и, гипотетически, находиться у власти до 2034 г. Такого рода политические манипуляции дают основания международным правозащитным организациям и оппозиции обвинять президента Руанды в авторитаризме. Регулярно звучат обвинения в ограничении гражданских свобод в республике, в репрессиях против политических конку-

рентов и инакомыслящих, в преследовании журналистов. Действительно, многие оппозиционные активисты, заявлявшие о создании П. Кагаме полицейского государства, сегодня находятся в заключении¹⁰.

Завершая статью, автор подчеркивает, что «впечатляющее восстановление Руанды после геноцида стало следствием не только хорошо скоординированных и в высшей степени организованных ответных мер со стороны государства, но и жизнестойкости и творческого духа местного населения. Для того чтобы обеспечить возможности процветания последнему, государство должно предоставить своим гражданам гораздо больше свободы с тем, чтобы они могли нарисовать собственное будущее» [Clark 2018: 41].

Детально проанализировав каждую из представленных в тематической подборке статей, попробуем ответить на сам собой (с учетом названия журнала) напрашивающийся вопрос: а что конкретно про использование политики памяти в международных отношениях мы узнали из первого номера *Foreign Affairs* за 2018 г.?

Несмотря на искушение определить в терминах кейс-стади предпринятую редколлегией попытку описания особенностей преодоления тяжелого прошлого, в данном случае говорить о применении этого метода в его классической трактовке, т. е. о «глубинном исследовании единичной ситуации с целью понимания более широкого класса (схожих) случаев», не представляется возможным [Gerring 2004: 342]. В отличие от обычного исторического исследования, стратегия кейс-стади всегда (явно или имплицитно) нацелена на выведение неких обобщений. Но попытки отнести рассматриваемые «кейсы» к какому-либо «классу событий» авторами статей не предпринимаются, а имеющаяся полустраструктурированная «редакционка» переход от сугубо контекстуальных знаний к общим закономерностям не обеспечивает. Заключение Г. Роуза о том, что: «Наихудшие практики [политики памяти. — А. П.] легко определить: это отрицание случившегося. Наилучшие же практики более нюансированы...» — ценно в качестве исходного тезиса для последующих рассуждений, но не в качестве вывода [Rose 2018: 2]. Отметим также, что в материалах тематической подборки раскрывается преимущественно внутривосточная специфика политики памяти. Только в трех статьях, посвященных Германии, России и КНР, в минимальной степени освещается международный аспект — то, на что, по идее, и должен был бы быть направлен основной фокус внимания редакции издания, специализирующегося на проблематике международных отношений.

Впрочем, редакторы-составители могут возразить, что не задавались целью «обнаруживать различия в схожем или общее в различном», оставив это читателям в качестве «задания для самостоятельной работы». Однако даже в этом

¹⁰ При этом режим президента Руанды П. Кагаме, наряду с традиционными для африканских диктатур идеями секьюритизма и патриотизма, ассоциирует себя с политикой модернизации, а также с панафриканизмом. Апелляцию к ценностям развития следует признать исключением среди постколониальных диктатур в Африке.

случае вызывает вопросы принцип отбора «кейсов», на основе которых эту работу следовало бы провести. В редакторском перечне «грехов XX в.» почему-то не нашлось места осуществленным в 1915 г. под руководством лидеров младотурков массовым убийствам и депортациям армян на подконтрольных Османской империи территориях, т. е. первому геноциду XX в.

Между тем в качестве неизжитой травмы геноцид армян 1915–1923 гг. оказывает принудительное воздействие на выбор геостратегического направления развития современной Армении, будучи не единственным, но крайне значимым фактором определения круга ближайших союзников и принципиальных противников. Как отмечает директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Р. А. Сафрастян, проблема признания геноцида армян «имеет серьезный внутривнутриполитический и общенациональный (в смысле функционирования целостной системы Родина — Диаспора), а также немаловажный внешнеполитический резонанс» [Сафрастян 2005]. Достижение международного признания и осуждения геноцида армян — это *единственное* направление внешнеполитической деятельности Республики Армения, имеющее выход на арену современной мировой политики. Показательно, что интенсивность буддирования темы геноцида на внешнеполитическом поле определяется самим руководством Армении, в отличие, например, от вопроса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, где инициатива в обсуждении принадлежит сопредседателям Минской группы. На фоне отсутствия у Армении весомых как в региональном, так и в международном масштабе финансовых и экономических ресурсов фактор геноцида превращается в эффективный инструмент символической политики страны, утверждающей себя в качестве значимого игрока в области международных отношений через позиционирование в роли государства, призывающего к осуждению тягчайшего преступления, пренебрежение которым со стороны мирового сообщества «вымостило дорогу» более масштабным античеловеческим деяниям национал-социализма в период Второй Мировой войны.

Однако, несмотря на то что именно на примере армянского нарратива о геноциде можно наилучшим образом продемонстрировать, каким мощным потенциалом по конструированию групповой идентичности обладает правильно преподнесенная память о трагедии прошлого и как переживание травмы приводит к появлению новых прецедентов юридической ответственности и моральных требований на международном уровне, этот «кейс» остается без внимания редакторов-составителей. Скорее всего, подобная избирательность обусловлена не столько опасениями задеть не признающую геноцид Анкару, сколько отсутствием подходящих экспертов по проблематике. Правда, в этом случае мы можем констатировать, что наблюдаем академическую версию общеизвестного анекдота про пьяницу, который ищет ключи под фонарем, — не где потерял, а где светло.

Следует отметить, что о политике памяти все авторы представленных в *Foreign Affairs* статей говорят с позиции менторской, учительской, разве что

квалификационные разряды этих «учителей» несколько различаются. Академически безупречная статья Р. Эванса соседствует с критическим эссе Н. Петрова, настолько вольно обращающегося со статистикой и отдельными фактами, что это приближает его работу к жанру политического памфлета. Показательным в плане определения системы морально-этических ориентиров последнего эксперта представляется тот факт, что он четко противопоставляет патриотизм и гражданское самосознание. «В теории образовательные исторические тексты должны быть направлены на развитие самостоятельного мышления, которое может стать основой гражданского сознания. Но на практике стремление пропагандировать патриотизм мешает честному анализу истории и выносит школьные учебники за пределы сферы образования», — пишет Н. Петров [Petrov 2018: 19].

Отметим все же, что каждый народ является в чем-то «исключительным», и пока это представление не подразумевает унижения других, оно вряд ли заслуживает такой яростной критики. Позволим себе в этом контексте процитировать 44-го президента США Барака Хуссейна Обаму, который во время визита в Европу в апреле 2009 г. на вопрос корреспондента газеты *Financial Times*, является ли он, подобно многим своим предшественникам, «приверженцем школы американской исключительности, которая считает, что Америка “уникальна и создана для того, чтобы руководить миром”, или у него имеются несколько отличные представления на этот счет», — ответил следующее: «Я верю в американскую исключительность, подобно тому, как, по-видимому, англичане верят в британскую исключительность, а греки — в греческую исключительность» [Obama 2012]. К сожалению, в дальнейших своих действиях он отошел от этой трактовки, что не отменяет ее справедливости.

Иллюстрацией некоторой ограниченности нормативно-либерального подхода *Foreign Affairs* служит тот факт, что история руандийского геноцида 1994 г. рассматривается вне всякой связи с международным контекстом. Из анализа политики памяти новой Руанды автор вычеркивает сюжет о драматической роли колониализма в изменении характера межэтнического, экономического и политического взаимодействия в стране. Между тем лидеры хуту, стоявшие у истоков руандийской независимости, позаимствовали отдельные особенности колониального правления, включая бельгийскую систему административного устройства и внесение информации об этнической принадлежности в удостоверения личности. Идентификационные карты в Руанде периода Первой Республики стали одним из механизмов предоставления преимущественного права доступа к ценным ресурсам «пролетарскому» большинству хуту и легли в основу системы квотирования. Социальная революция осуществлялась во имя западных демократических принципов, однако упоминание последних в контексте геноцида — не соответствует формату издания.

Можно заключить, что в случае *Foreign Affairs* кассиреровское «проклятье опосредованности» проявилось в том, что даже авторы, напрямую вовлеченные

в ситуацию (Н. Петров, С. Мсиманг), используют определенный, уже сложившийся набор символических средств для осознания и описания того, что они наблюдали лично. Объяснение же строится на экстраполяции уже сформировавшихся в либерально ориентированном экспертном сообществе интерпретативных схем истории вечной борьбы демократии против тоталитаризма на выбранные «кейсы». Но много ли в методологическом плане дает подобное ограничение оптики подхода исследователю политики памяти?

На сегодняшний день суть и динамика развития международных отношений во многом определяются растущим сближением и взаимодополнением двух конкурентных полюсов глобальности и локальности, происходящим в условиях уже свершившейся «медийной революции». В условиях фактического уплотнения и сжатия мирового пространства и времени обостряется чувствительность к вопросам национальной самоидентификации. Неуклонно возрастает значимость символической политики, одним из важнейших ресурсов которой становится национальное прошлое. Перенос межгосударственной конкуренции в пространство «soft power» вынуждает государственных управленцев диверсифицировать набор инструментов влияния, как применительно к внешней, так и к внутренней политике. И в данном контексте перспективным и пока еще в недостаточной степени изученным полем применения «мягкой силы» выступает историческая память народов.

Но политизация исторической памяти минимизирует роль профессионального исторического сообщества. Манипулятивный потенциал нарративов о прошлом представляется слишком очевидным, чтобы власти были заинтересованы в поддержании сообщества неангажированных историков, и последние в конечном итоге лишаются возможности проведения независимых исследований. В подобной ситуации научное значение истории как формы знания размывается, и она обретает черты «политической веры», трансформируясь в одну из составляющих механизма поддержания национальной идентичности [Kuchanoff 2017]. И в данном контексте первоочередной задачей исследователя становится избежать идеологической зашоренности и смешения понятий «как есть» и «как должно быть».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Васильев А. Г.* Memory studies: единство парадигмы — многообразие объектов // Новое литературное обозрение. — 2012. № 117. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/2640>
2. *Гигаури Д. И.* Политика памяти в практике социального конструирования политической идентичности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2015. № 10. (59–64). URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2015_10-1_13.pdf
3. *Сафрastian Р.* Проблема признания геноцида во внешней политике Армении: разноуровневый анализ // 21-й ВЕК. — 2005. № 1 (3–10).

4. *Clark Ph.* Rwanda's Recovery. When Remembrance Is Official Policy // *Foreign Affairs*. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 35–41.
5. *Evans R. J.* From Nazism to Never Again. How Germany Came to Terms with its Past // *Foreign Affairs*. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 8–17.
6. *Gerring J.* What Is a Case Study and What Is It Good for? // *American Political Science Review*. — Vol. 98. 2004. No. 2. Pp. 341–354.
7. *Gordon-Reed A.* America's Original Sin. Slavery and the Legacy of White Supremacy // *Foreign Affairs*. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 2–7.
8. *Kyrchanoff M.* Politics of Memory as Historical Politics in Georgia: From Desovietisation to the Invention of the Sovietness // *Кавказское сотрудничество*. — 2017. URL: http://georgiamonitor.org/upload/kyrchanoff_vsu_mgimo_2017_engl.pdf
9. *Msimang S.* All Is Not Forgiven. South Africa and the Scars of Apartheid // *Foreign Affairs*. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 28–34.
10. *Obama B.* The President's News Conference with President Felipe de Jesus Calderon Hinojosa of Mexico and Prime Minister Stephen Harper of Canada // *The American Presidency Project*. April 2, 2012. URL: presidency.ucsb.edu/ws/?pid=100451
11. *Petrov N.* Don't Speak, Memory. How Russia Represses its Past // *Foreign Affairs* — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 16–21.
12. *Prunier G.* *The Rwanda Crisis: History of a Genocide*. — New York, 1995.
13. *Rose G.* Editorial // *Foreign Affairs*. — Vol. 97. 2018. No. 1. P. 2.
14. *Schell O.* China's Cover-up. When Communists Rewrite History // *Foreign Affairs*. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 22–27.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Воронович Александр Александрович, кандидат наук (PhD, степень присуждена в Центральном-Европейском университете в Будапеште), научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики.

E-mail: alex.voronovici@gmail.com

Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.

E-mail: efdv2015@mail.ru

Малинова Ольга Юрьевна, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

E-mail: omalinova@mail.ru

Махотина Екатерина Ильинична, доктор философии, научный сотрудник Института истории Боннского университета (ФРГ).

E-mail: emakhoti@uni-bonn.de

Мелешкина Елена Юрьевна, доктор политических наук, профессор, заведующая Отделом политической науки Института научной информации по общественным наукам РАН.

E-mail: elenameleshkina@yandex.ru

Миллер Алексей Ильич, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра по изучению культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

E-mail: millera2006@yandex.ru

Понамарева Анастасия Михайловна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, доцент факультета мировой политики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

E-mail: amp1982@mail.ru

Сафронова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

E-mail: jsafronova@eu.spb.ru

Фелькер Анастасия Владимировна, кандидат наук (PhD) в области управления и развития культурного наследия (степень присуждена в ИМТ Школе фундаментальных исследований в г. Лукка в 2016 г.), независимый исследователь (Санкт-Петербург, Россия).

E-mail: anastasia.felcher@alumni.imtlucca.it

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ
Сборник научных трудов

*Текст настоящего издания
публикуется в авторской редакции*

Оригинал-макет О. В. Пугачёва
Дизайн обложки ?. ??????

Подписано в печать 00.00.2018
Формат 70×100/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 18,2
Тираж 300 экз. Заказ № 1454

Отпечатано в типографии
издательства «Нестор-История»
Тел. (812)235-15-86

По вопросам приобретения книг
издательства «Нестор-История»
звоните по тел. +7 965 048 04 28